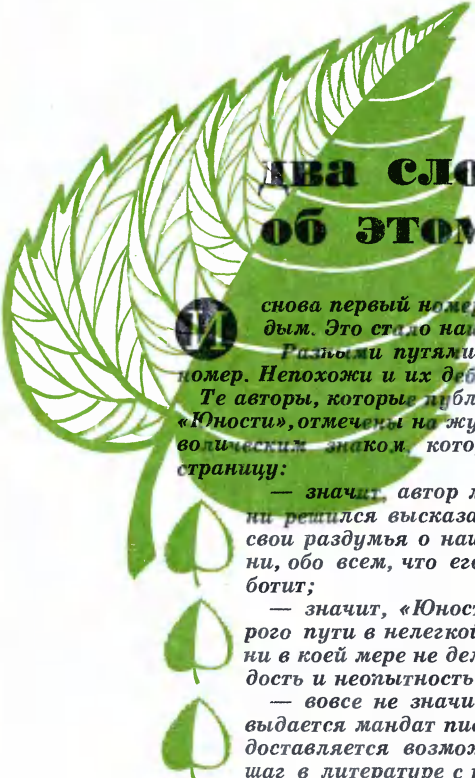




ЮНОСТЬ

1

1973



два слова об этом номере

И снова первый номер «Юности» отдан молодым. Это стало нашей традицией.

Разными путями пришли авторы в этот номер. Непохожи и их дебюты.

Те авторы, которые публикуются в первый раз в «Юности», отмечены на журнальных полосах символическим знаком, которым мы открыли эту страницу:

— значит, автор молод и впервые в жизни решил высказать читателям журнала свои раздумья о нашем героическом времени, обо всем, что его волнует, радует и заботит;

— значит, «Юность» желает автору доброго пути в нелегкой литературной работе, ни в коей мере не делая скидок на его молодость и неопытность;

— вовсе не значит, что молодому автору выдается мандат писателя. Просто ему предоставляется возможность сделать первый шаг в литературе с надеждой на его успех на этом пути.

Есть в номере и авторы, которые к своему литературному дебюту пришли уже в зрелом возрасте, поработав не один год на стройках, заводах, в поле, в лабораториях... И, как дебютанты, они полные участники номера.

Начав номером молодых новый 1973 год, «Юность» и дальше будет печатать произведения дебютантов. Когда вы, дорогие читатели, рядом с именем автора встретите наш символический знак в виде весеннего листика, знайте, что перед вами первая публикация начинающего автора — будь то прозаик, поэт, критик, публицист.

Пожелаем нашим дебютантам доброго пути!

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

ЮНОСТЬ



1 [212]
ЯНВАРЬ
1973

Журнал
основан
в
1955
году

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»
МОСКВА

Валерий Гуринович



Моя трудовая карьера —
хрипящий и стонущий «ЗИЛ».
Я глину возил из карьера,
верней, не возил, а грузил.
Возила ее пятитонка.
И с самого первого дня
веселая та работенка
отравой была для меня.
Меня, как дурного, качало,
учаиваю сперва.
В душе моей песня звучала,
прекрасные зрели слова!
А что наяву достается!!
Лопаты кривой черенок,
да кузов машины, да солнце —
расплавленной глины кусок!
Печально я в кузов гляжу
и в глину лопату вонзаю,
потом эту глину грузю,
а после на глину влезаю.
Вдоль крыш черепичных качу,
вдоль терпкого запаха вишен,
какие слова бормочу —
дай бог, чтоб никто не услышал!
А все же не слишком тужу,
себя я не чувствую слабым...
Машину трясет по ухабам,
в обнимку с землею лежу!

Баллада о снах

Собаке снится человек,
а человеку снится море,
а от Ньюры до Батагоя
идет, покачиваясь, снег,
идет, покачиваясь, свет,
настоянный на полумраке,
а шерсть дымится на собаке —
ей чудится медвежий след.
Застыл в патроннике патрон,
оно и тишь — не дрогнет ветка...
Собаке снится древний сон:
она спасает человека!
И — из последних сил — прыжок!
И лай, и хруст, и рев медвежий.
...А человека сон глубок,

и радостен, и безмятежен.
Идет, покачиваясь, снег
в тайге, над временным бараком,
где снится вещей сон собаке.
где спит спокойно человек.

Тундра

До звона промерзшая трасса
натянута, будто струна.
От серых камней Арагаса
до черной воды Будуна
хрипит снеговая погода,
природа упряма и зла,
и рыжий изгиб горизонта
лежит, как обломок весла.
Но только выдавшие виды
сквозь вьюгу идут напролом
олени, быстры, деловиты,
гружены насущным добром.
...Налево смотрю и направо,
гуляет поземка во тьме,
но память о листьях и травах,
как боль, оживает во мне.
И вот перепутаны даты,
и песню заводит каюр,
и мы из продрогшего марта
рываемся в месяц июль!

Виктор Коркия



Память

1.

Братские могилы —
Истины без слез.
Значит, были силы
Лечь в ногах берез.
Правда беспощадней
Вздохов площадей,
И мундир парадный
Не сидит на ней.
Плача не услышит
Тот, кто был убит,

А легенды выше,
Чем любой гранит.
С мыслью не о слове
Шли в последний бой,—
Мы с тех пор не вправе
Их равнять с собой,
Унижать бессмертье
До бесцветных слов
И до разноцветья
Купленных цветов.
Горе — это горе.
Простота травы.
Горка, над которой
Все слова мертвы.
...На ветру весеннем
Листья шепелят.
Это рвутся к семьям
Души тех солдат.
Ветер плачем вдовым
Кличет их домой,
Запахом сосновым
Бродит над землей.
Роковое рвенье
Тех, кто не придет.
Вечное терпенье
Тех, кто вечно ждет.
Тишина, и только
Шорохи берез.
Наша верность долгу
Глубже слов и слез.
Не иссякли силы,
И, как вечный свет,
Братские могилы —
Совесь наших лет.

2.

Все впереди... Конечно, впереди.
Если забыть про то, что за плечами.
Если забыть про то, о чем молчали,
и к высшему молчанию подойти.
Да, все еще пока что впереди.
И — близок час —
мы скоро выйдем в люди.
Мы молоды. Нам нет и тридцати.
А тем солдатам никогда не будет.



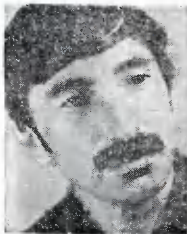
Не будь словами поражен.
Слова стареют, изменяют,
Как прежде, лезут на рожон
И ничего не изменяют.
Слаба их песенка, слаба,
А значит, скоро будет спета.
...Друг к другу подгоняют слова
Совсем не дело для поэта.



Что сбудется и что не сбудется,
гадать не стоит впопыхах,
пускай весенняя распутица
зияет лужами в ногах.
Пусть все минутное, случайное
дожди размоют, растворят,
оттаит мелкое отчаянье,
и люди окна отворят,
и жизнь уже переиначенной
предстанет медлющим глазам —
незавершенной, нерастроченной,
не размельченной по часам.

Сэм

Синяки



Степь

Нигде не спрятаться от некла:
как ты просторна и гола!
А скольких ты уже отпела
и скольким силы придала!
Во сне, как будто наяву,
куражились кривые сабли,
и женщины внезапно слабли,
и звезды падали в траву.
Как от прямого попадания,
взрывалась степь. Комбайны шли.
И пропадали все преданья
на взорванном краю земли.
И запах дерзкий, запах хлебный
мне ноздри чуткие дразнил.
И мир целинный, мир целебный
все снова виденья упразднил.
Он круглосуточной орбитой
и увлекал и угрожал.
А я, уставший и небритый,
я поднимал тот урожай.
...Живешь как будто как положено,
но обретаешь вдруг вдали,
на том, на противоположном,
повернутом краю Земли,
но обретаешь в окружении
колец трамвайных, площадей
степное головокружение
и ржанье рыжих лошадей.

Исцеление

Вот так лежу с травой в обнимку,
и отдыхаю от трудов,
и в человека-невидимку
вдруг превратиться я готов.
Заговори мне боль, как знахарь,
да исцели меня травой,
Пусть облака плывут, как сахар,
как белый сахар даровой.
Так вот какая ты, природа,
твой солнцекеп и твой ледник!
И умираешь ты от родов
и воскресаешь после них!

Я разделяю твою участь —
с тобой с утра и до утра —
вечнозеленую живучесть
падучих звезд, летучих трав.
Не исчезает все куда-то,
лишь изменяет вид, пока
над головой моей кудлатой
меняют форму облака.
Смотри, земля меня пражает
над стаей птиц, под стаей туч.
Смотри, природа превращает
зеленый куст в зеленый пуч.

Василий Рыков



Кузнецы

В совхозе на тракторном стане
Работают сын и отец.
Давно доказали цыгане,
Что значит природный кузнец.
Коней приведут — оживает,
Светлеет лицо старика.
И долго по гривам блуждает,
О чем-то припоминая, рука.
А младший, колдуя у прессы,
Совсем не глядит на коней.
Другие теперь интересы
У этих строптивых парней.
Горит чистою хрустальной
У новенькой «Явы» стекло.
И блещет цыганскою шалью
Обитое плюшем седло.

Высота

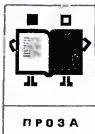
Заглох мотор, и обступили горы,
И подошла такая тишина,
Что бесконечность синего простора
Мне стала, словно музыка, слышна.
Внизу лежала тихая долина,
Исхоженная вдоль и поперек,
Где мне знакома каждая морщина,
Где мне известен каждый уголок,
Где я живу, где век мой мчится скорый.
Совсем не замечаю красоты.
Как важно иногда подняться в горы,
Как часто не хватает высоты!

Владимир Евпатов



Не сужу — какие есть заслуги,
о потерях ваших не сужу,
ветераны. Я скажу о друге,
я о друге нашем рассказу.
Он и слеп и стар. Но а мир ребячий
запросто, уже который год,
он приходит, а не всякий зрячий
к нам, бывает, вовремя придет.
Знает он, негромкий и спокойный,
о войне. И знает суть игры.
Оттого между собою войны
не ведут соседние дворы.
Каждый вечер Генки, Вовки, Верки,
обо всем на свете позабыв,
слушают, как наши канонеры
проходили Керченский пролив.
Говорит он просто, не пугая,
говорит он строго, без прикрас.
Нам близка такая речь. Другая
с давних пор не привилась у нас.
Часто к нам приходят капитаны,
плотники, монтеры, доктора.
Это он зовет их неустанно,
ожидает посреди двора.
Он преобразается, моложе
выглядит, суровым и прямым...
Вырастем. Такими станем тоже...
В самом главном бы сравняться с ним!..
Человеку не увидеть флага
и того, как далека земля.
Пусть он ходит в штатском. Но, однако,
он не будет списан с корабля.
Вместе с нами он выходит в море,
прыгнет в шлюпку, сядет на весло...
Догорает в человеке горе,
но от горя свет нам и тепло.

Коротко об авторах этих стихов.
В. ГУРИНОВИЧ — педагог, служил в Совет-
ской Армии, был электриком на заводе, по-
исковым рабочим, взрывником, лесорубом
на Севере. Студент-заочник Литинститута.
В. ЮРИЯ — 23 года, работает в НИИ, студ-
ент-вечерний авиационного института.
С. СИМКИН — диспетчер Калининградского
рыбного порта. Был матросом и рыбмате-
ром. Закончил вуз. В. РЫКОВ работал на
целинных землях инженером по комбай-
нам. Сейчас — главный инженер-механик
совхоза «Судан» в Крыму. В. ЕВПАТОВ —
слесарь, студент-заочник Литинститута.



ПОВЕСТЬ



**ЕВГЕНИЙ
БОРИСОВ**

Автор живет
и работает в г. Калинин.
Выступал
с рассказами
в журналах «Юность»,
«Москва» и других.
«Чудачка» —
первая его повесть.

ЧУДАЧКА

I

Прошлым летом под самый сенокос в селе Никольском умер фельдшер Лобнин Илья Савельевич, застенчивый, одинокий старик. Никто не помнил, когда он появился в этих краях. Говорили, что он из старых, земских, имел когда-то большую практику в здешних местах. Но когда все это было!

Тех, кто знал и помнил его таким, теперь не то что в Никольском — во всей округе не сыщешь. Самая древняя жительница села, бабка Агафониха, и та деду Илье, как его называли, в дочки годилась. Так что для всех ныне здравствующих своих односельчан он будто всю жизнь и был просто добрый, отзывчивый, обходительный старичок.

Учитель истории местной школы Юрий Тимофеевич прозвал Илью Савельевича «нашим Чеховым». Прозвал, вероятно, потому, что в комнате председателя колхоза рядом с портретами лучших тружеников висела старая фотография деда Ильи, наклеенная на жесткое паспарту, на котором был отпечатав адрес фотографа и значилось — Санкт-Петербург. И в самом деле, изображенный на ней молодой человек походил на Чехова: аккуратная борода, прядь волос, спадающая на лоб, старомодное пенсне на шнурочке, задумчивый, немного грустный взгляд.

Фельдшерское дело Илья Савельевич оставил давно, жил на пенсию, в одиночестве. Однако, пока хватало сил, ходил по селу «на вызовы». У кого зуб заболит, кто животом замается, в район не потащится, кличут его. Больше по старой памяти, по привычке.

Многое из того, что знал, Илья Савельевич давно призабыл, лечил по старинке — травмами и особым,

Рисунки
Ю. КРУГЛОВА,
А. ЛОЗЕНКО,
А. КОШКИНА,
Л. ПЕТРУШИНА —
Художественного
института
имени В. И. СУРГОВА

как говорили, ему одному известным словом. Последнее очень сомнительно, потому что никаких таких слов, кроме нездешних оборотов «извольте» да «не обесудьте», которыми он сопровождал всякий разговор, никто от него не слышал.

Обходительный был, это верно.

И умирал Илья Савельич по-своему, словно стеснялся немощи своей и близкой кончины, верно, видя в ней лишнюю и безрадостную обузу для однопольщиков, у которых и без того забот хаатает. Тот же сеносос.

А с сенососом и впрямь пришло. Травы на лугах заглузились, клонились цветом к земле, да и погода как на заказ выдерживалась без дождей. Больше ждять было нечего да и опасно — долго ли простоят такая благодать! И люди, конечно, времени не теряли. По давнему, еще прадедами заведенномуговору сколачивались годами и жаркой работой проверенные артели — двор со двором, сосед с соседом. Своя деланка у каждой, свой ательный уклад, свои кашевары...

А тут — такая забота!

Последние дни за дедом ходили по очереди: то Марья прибежит, то Александр... Тетя Дарья, соседка деда Ильи, чаще других наведывалась. Погреют молочка, чайку поднесут с малинкой, так придут посидеть, помолчать...

И наступила пора: повыстакивали обувь легкую, поносили с поветей кося-лытки да ошати. Наутро выезжать. Поколотили, поохали колхозницы возле фельдшерова дома и порешили: просить Варюху, тети-Дарьину дочку, дома остаться, приглядеть за стариком. Девчонка не из робких, на будущий год школу кончает, найдется, если что.

Позвали Варюху: так, мол, и так... А та ни в какую! «Пашли посидеть, пуськой вон Аграфониха сидит, ей все одно где, дома на печке или у фельдшера в избе. Вдвоем-то даже веселее».

— Чего ты мелешь, чего мелешь-то! — Это Дарья, Варюхина мать, вступилась. — Забыла, как, как он ты саму отсюда вызволил... Память-то у ты, дочка...

Дарья сказала это с таким огорчением, с такой обидой на дочку, что присутствующие при разговоре женщины переплутались. Кто-то сказал Дарье:

— Да полно, чего ты так... По молодости-то мы и все не больно памятливые.

— То-то и оно... вздохнув, сказала Дарья. Но вдруг, потеплев, склонилась к Варюхе лицом и, как подружку-ровесницу, приобняла за плечи. — А все же останься с дедом, дочк, побудь...

Пришлось смириться.

Но кто бы знал, чего ей стоило это смирение! Кто бы знал, как долго и нетерпеливо ждала она этих жарких июльских дней — той нелегкой, но безудержно вольной жизни на дальних деланках, среди ярких лугов и пахучих трав, под огромным небом, с поздним костром, с тайными разговорами и веселыми песнями, с неожиданной, странной грустью от чьего-то слова, от чьего-то взгляда и с короткими, беспамятными снами в шалаше под мерцающими в проеме, меж веток, недоглыми звездами и с новой радостью зарождающегося дня.

Все это было у нее не раз, и потом долгими зимними вечерами вспоминалось хорошо и сладко, и снова ждалось, как ждется праздник. Каким-то неясным, желанным обещанием манили ее нынче эти жаркие сенососные дни, дни последнего школьного лета. Но вот не привелось. И некого тут винить. Не дед же Илья виноват в этом!

Правда, в какой-то момент, споря на, с досады, она не удержалась, помлнула дед нелегким словом: мол, нехатаи угораздило его, ведь мог бы раньше или позже, а то ведь не...

Но стало совестно от этих мыслей.

В жизнь Варюхи дед Илья вошел в такой час, в какой обычно входил он к людям, когда ни в ком другом, а только в нем была нужда. Лет десять назад это было... Оттуда, с тех будто выплывавших из далекой туманности дней, когда она, больная, в глаубоком, беспамятном бреду металась на жаркой постели, с тех самых пор живет в ней тайное ощущение однажды привидевшегося волшебства, от которого, она верит, и пришло к ней тогда спасение. Были какие-то слова, далекие и невятные, а скорее просто голос, произносивший что-то, но главное было не в том — чья-то рука, маленькая, легкая, почти несомая, похожая на крыло голубиной птицы, все порхала и порхала над ее головой, касаясь волос, глаз, бровей... Ей казалось, что и она сама, став легкой, как крыло этой птицы, увлекаемая его свободными взмахами, все летела и летела куда-то, вырываясь из туманного небытия к мерцающему вдали свету...

Первое, что ощутила она, придя в сознание после трех беспамятных дней, — сухонькую, легкую ладонь деда Ильи на своем жарком лбу.

Потом она не раз спрашивала у матери, как и чем лечил ее тогда дед Илья. «Известно, чем, — убежденно говорила мать, — угвором. У него одно лекарство — доброе слово да угвор. Три дня и три ночи вот так недремом возле тебя и просидел, меня дак и то с ног валело».

Шел второй день сенососа. В селе пустынно, скучно. Утром Варюха наведалась к деду, тут спал. Дядька уху: дышит ли? Дед дышал еле слышно. Глаза его были закрыты. Варюха решила, что через час заглянет к нему еще и, если дед проснется, покормит его. Ей дед немного, как варюбей. Тети, забегая к нему, кормили его с ложки то манной, то рисовой кашей. Развалили ее пожике молоком и скормили прямо в рот. Варюха бы так сумела.

Самой ей в тот день ничего не пилось и не елось — а такую-то жару! В этот час, пока дед спал, она задумала сбегать на Волгу искупаться. В жаркую пору для никольских ребят купания были тем плохи, что до Волги от села километра два ходу. Бывало, купаются вволю, до синевы, кажется, на весь день, а пока обратно идут — хоть опять поворачивай.

Варюха взяла свой новый пестренный купальник и прижимком, отгородами, побегала к реке. Купаться одной было несомело, но все-таки веселее, чем дома сидеть, сторожить деда. Она даже стихи подомдающие вспомнила, из «Евгения Онегина»: «Но, бже мой, какая скука с больным сидеть и день, и ночь, не отходя ни шагу прочь...»

«Как точно написано, — рассуждала она обратной дорогой, — неужели и Пушкину приходилось вот так же?.. Правда, по ночам-то я хоть не сижу...»

Беды в тот день она не ждала. Шла по тропинке, ощущая на влажных плечах мокрую тяжесть своих длинных волос, ей жалко было расставаться с рекой и с этим недоглым, с каждым шагом уходящим ощущением свежести после купания. Но что-то, может быть, эта неожиданная мысль, пришедшая после припомнившихся стихов, мысль, что беда может случиться в любую минуту и не только ночью, но и теперь, среди бела дня, заставила ее прибавить шагу. Она пошла быстрее, а потом и вовсе побегала.

Дед Илья лежал и глядел в потолок. На стук двери он не повернул головы и не отвел от потолка взгляда. Он лежал недвижно, как обычно в эти последние дни. Худые, обессиленные руки покоились

вдоль тела на чистом пододеяльнике, который дня два назад вместе с чистой простыней и наволочкой постелила Варюхина мать. Казалось, ни одной, даже самой легкой ноши не осталось на свете, чтобы у этих рук хватило еще сил поднять ее. Это бессилие угадывалось и во всем теле старика — в той скрытой одеждой онемелой неподвижности, которая вдруг поразила Варюху.

Она шагнула к постели, заглянула в глаза его, в которых будто застыла какая-то просьба, и не веря еще страшной своей догадке, позвала негромко:

— Дед Илья, а дед...

Дед не ответил.

...Потом с делянок приехали люди — два мужика и две женщины, горазде в этих безрадостных делях... и схоронили фельдшера. Пришли те, кто был в селе: несколько доярков, оставшихся на ферме, старики — всего человек десять.

А поминки справили поздней, на сороковом дне. Собрались в складчину в Дарьином доме, кое-что сельсовет отпустил. Добрым, запоздалым словом помнятли покойного.

Варюха на время поминок ушла из дому, ходила где-то как чумная и все давилась слезами. Какой уж день выделось ей одно и то же: недвижная окаменелость дедова лица и застывшая в его угасших глазах просьба, которую не услышал никто...

О чем просил, что ждал он от людей, от нее, Варюхи, в последний свой час? Может, совсем немногого — глотка водицы, или света из окна, или вольного воздуха, чтоб вздохнуть напоследок... Варюхе думалось, что, оказавшись она тогда подле него, она нашла бы, что сделать. Может, слово какое сказала, а может, так же, как он ей когда-то, просто положила б свою ладонь на его сморщенный, маленький, будто усохший от старости лоб.

Уже ничто — ни лекарства, ни уговоры не помогли бы в тот одинокий час старому фельдшеру отсрочить свою кончину, но и тогда и теперь, понимая это, Варюха продолжала тревожить себя сознанием горькой, непоправимой вины перед тем человеком. Ей было ясно одно: он ждал ее, хотел попросить ее о чем-то, а она...

«Опоздала, опоздала, опоздала!...»

2

— **Н**у, девка, видать, везучая ты! — Проводница, женщина немолодая, с заспанным, примятым лицом, забко ежась от сырого, ворвавшегося в тамбур ветра, отступила от двери, пропускающей пассажирку. — Говорят, если в дождик куда приедешь, жди счастья. А ты глянь, глянь, как полыхнет! Будет тебе, девка, счастья — хоть залейся!

Скользнув рукой по мокрым поручням, Варюха сошла на мокрую дощатую платформу, приняла от проводницы свой чемодан.

— А може, ну его, счастья-то? — Проводница жалючи глядела на нее сверху, из двери вагона. — За дождем-то его что-то и не видать. Забирайся-ка, девка, назад в вагон, пока не поздно... Чаю согрело, с печеньем, крепкого... До конца доедем, в проводницы тебя хлопочу, помощничку.

— Ну, что вы, какая из меня проводница... Поезжайте, спасибо вам на добром слове!

Глядя, как зношет. А то жалеть будешь... Железная гуляка дрожь прошлась от вагона к вагону, состав содрогнулся раз-другой, и вот поплыли вагоны. И остался на мокром перроне, под

проливным дождем, пассажирка в плаще-болонье, блестящих резинявых сапожках, с чемоданом в руке.

Проводница верно сказала: за дождем, серой пеленой нависшим над станцией, и в самом деле ничего не было видно. А вообще смешная тетка, эта проводница. До последней минуты, пока, откинув гнутую тяжелую палец в тамбуре, не высунулась на дождь, все не верила, что никакого парня, который «приплутит как миленький» встречать ее, Варю, на станцию, нет и быть не может. И не в гости, не к женщине, не к свекрови на поминки — как подлагали, высказывая свои дурацкие догадки, два надоедливых пассажира-командировочных... не для этого приехала она сюда. Приехала, и все. Потому что так надо! Правильно, нет ли решила — теперь поздно об этом. Дело сделано. Точка. И пусть себе на здоровье эти нудные дядьки-приставали, пусть играют в дурака, режут тоненькими долками и жуят свою опеченую колбасу да бегают по очереди за пивом в вагон-ресторан и пусть не к ней, а к кому-нибудь другим пристают со своими шуточками.

И проводница, невыспавшаяся, ворчливая тетка, пусть и она едет своей дорогой до конечной остановки и там отоспится наконец хорошенько, а потом опять разносит по вагону чай в дребезжащих подстанках, раздаёт пассажирам белее для постелей, ворчит на неугомонных курилок.

А может, это не так уж плохо — быть проводницей? Ехать и ехать по земле — сначала в один конец, потом в другой. Туда и обратно. Тепло, уютно и не мочит. И в институт можно готовиться: сиди почтительно у окошка, а через год...

Сказал бы ей кто дня три назад, что с ней, Варей Столяровой, случится такое, что будет стоять она вот так, одна-одиношенька, под дождем, на незнакомой станции и, не признаваясь себе, потихоньку завидовать тетке-проводнице, она ни за что бы не поверила. Ей и теперь не верилось, казалось, что все это сон какой-то, наваждение, которое тут же исчезнет, как только она проснется.

Еще в дороге, пока лежала на средней полке, она все спрашивала себя: «Куда, ну куда меня понесло? Кому я нужна здесь? Кому и что собираюсь доказать?»

Но поезд шел и шел, и день сменялся вечером, и проходила ночь с расплывающимися за слезливыми вагонными окнами огнями незнакомых станций и придорожных деревень, а где-то там, за сотнями дождливых километров, оставалось, уносящая все дальше и дальше, ее родное село, родные и близкие люди, которых она любила и которые любили ее; уходило что-то радостное и светлое, чем еще совсем недавно жила она.

3

На выпускной вечер к ним в школу пришел председатель колхоза Федор Васильевич. Непривычный к долгим сидениям, он как мальчишка-семиклассник ерзал на стуле за столом президиума, за которым чинно, но без обычной строгости сидели учителя.

Выпускники, человек двадцать, принаряженные, стайками расселись в небольшой зале. Девчонки, стеснясь своих взрослых и новых нарядов, прятали смущенные, раскрасневшиеся лица в букеты сирени, будто нюхали, а парни потели от жары в своих пиджаках и тербели непривычные галстуки, некоторые и вовсе поносили их, попрыгали в карманы.

Стали вызывать на сцену, вручать аттестаты. Первым поднялся Вовка Абрамов, парень рослый, плечистый, с примеченным чубом, далеко не первый в классе по учению. Просто по алфавиту он был первым. Аттестат вручал Сергей Антонович, директор школы, а председатель выдавал права на вождение трактора. Получив аттестат, Вовка, не дожидаясь, когда Сергей Антонович протянет ему руку, взял и крепко, по-мужичьи пожал и встряхнул руку директора. В зале и в президиуме засмеялись, а Вовка, смущенный, попытался к ступенькам, скорее со сцены. Но тут его окликнули — Федор Васильевич протягивал ему права тракториста и, видно, собирался слово сказать.

Вовка задержался, подошел к председателю.

— Ты, Абрамов, — Федор Васильевич поднялся и вышел из-за стола, — ты вот и теперь спешишь куда-то. В зале опять засмеялись. — А ты погоди, придержи... Ты вот сообщи нам, куда тебя душа-то твоя торопливая манит? По-другому спрощу: где, собственно, думаешь силы свои богатейшие употребить для общего, так сказать, дела?

Не ожидая, видно, такого вопроса и думая, что все вопросы, какие жизни готовила ему, остались позади, на выпускных экзаменах, Вовка растерялся. С надеждой, будто ожидая подсказки, покосился на Сергея Антоновича, но тот развел руками: с меня, мол, теперь взятки гладки, выкручивайся сам.

В зале притихли. Ждали.

— А она меня никуда особо не манит, — признался Абрамов.

Кто-то из ребят, сидящих в задних рядах, высказался:

— Нас в армию манит.

Девочки в зале захихикали. А Федор Васильевич, не улавливая шуток, серьезно сказал:

— Армия от вас не уйдет. А что, до армии бакули бить будешь? Потом и загляд надо иметь. На кого из вас рассчитывает, вот что хочу знать. На тебя, скажем, можно?

Он с надеждой поглядывал на Абрамова.

— А чего ж нельзя, — великодушно сказал Абрамов. Он нащупал наконец почву под ногами, почувствовал, чего от него хотят. — Хоть сейчас на трактор сяду.

— Другой разговор. — Дядя Федор вынул платок из кармана и вытер пот с лица. — Это по-нашему, по-деловому...

В зале захопалпи.

Потом других к столу вызывали и у каждого кто-то спрашивали: интересовались лижненими планами. «Жизненные планы» — это Сергей Антоновича выражение, Варя оно понравивлось. Ей вообще нравилось, как Сергей Антонович говорил с ними последние дни. И во время экзаменов и так, когда беседовал — не как с несмышлениками какими-то, а как с вполне взрослыми, самостоятельными людьми, которым пора бы иметь свои жизненные планы.

Вот и у Вари такие планы есть. Правда, до этой минуты открывать их кому-то, а тем более вот так, при всем честном народе, она не намеревалась. Хотела просто зайти на днюх к Федору Васильевичу в правление и сказать: дядя Федор, так, мол, и так...

Но все так неожиданно повернулось...

Столярова Варвара... Андреевна.

Кто-то из сидящих рядом подтолкнул Варю в бок: тебе, мол, чего сидишь-то. И только потом, когда поднялась на сцену, догадалась, что Варвара Андреевна — это она и есть. Так, наверное, в аттестате у нее написано.

Сейчас ей вручат аттестат и кто-нибудь, может, Сергей Антонович, а может, дядя Федор, спросит у нее, как и у других спрашивали: куда, мол, душа манит. И она скажет им все. А там...

— Ну, а за ту красоту, — Федор Васильевич глядел на Варю и по-отечески, добро улыбаясь, — за нее моя душенька спокойна. Эта к Никольскому крепкой веревочкой привязана. На ферме ночью она себя во как показала, — председатель поднял большую палец, — так что к Столярову Варваре батьково у меня вопросов не имеется.

Конечно, никто в Никольском красавицей Варюху не считал. И у самой Варюхи на этот счет было определенное мнение: не красавица, это точно, но и не хуже других. Слава богу, не жердь огородная, как Микейка, и не толстуха, как Зойка, — Ананьша, у которой все платье в первый же день по швам ползут. Нормальная, в общем, и фигурой и лицом — жить можно. Возможно, конечно, что в новом светло-зеленом платье, купленном в районе в честь окончания школы, и в туфлях на модном, средней высоты каблучке да с человеческой прической — тоже в районе делала — она и в самом деле выглядит ничего. И все же в словах председателя, когда он назвал ее красавицей, Варя послышалась этакая небрежная усмешка. Да и насчет веревочки — тоже не лучшее. Что она, коза какая-нибудь непутевая, которая только и знает, что по чужим огородам шастать, или телка несмышлениная, что ей привязывать надо...

Варе хотелось обидеться и уйти поскорее со сцены, она даже приготовилась к обычным в подобных случаях усмешкам — кое-кто из девочек, небось, не упустит возможности похихикать по поводу «красавицы». Но никаких смехов она не услышала, а за столом в президиуме, она уловила, все молча и выжидающе глядели на нее.

— Дядя Федор... Федор Васильевич правильно сказал, — Варя даже не узнала своего голоса — так заволновалась она, — я, наверное, и в самом деле чем-то привязана... Она взглянула на Сергея Антоновича, как бы приглашая его в свидетели. — Но у меня, дядя Федор, совсем другие жизненные планы... Я врачом хочу стать, хочу лечить людей, всех. И вас, дядя Федор, и остальных, чтобы всем жило хорошо и долго, как... — Ей вдруг захотелось сказать про человека, которого она при этом держала в уме — про покойного фельдшера Илью Савельевича, сказать о том, как много прожил он на свете и как много сделал людям хорошего. — В общем, в институт хочу поступать, — закончила она, — в медицинский, в городе Калинин.

Стало тихо в зале. И сквозя эту нежданную тишину, будто частый дождичек, просыпавшийся по сиреневым кустам за раскрытыми настеньж окнами, дошел до Вари легкий шепоток — девчонки-одноклассницы перешептывались.

Она боялась этой минуты. Боялась, что дядя Федор да и другие не так поймут ее, подумают, что просто в город Варюха захотела, а институт — лишь предлог. Такие случаи в Никольском были: другому мальчишке бы вырасти из села, оборвать эту самую веревочку, а там ищи ветра в поле.

— Ишь ты, — Федор Васильевич от неожиданности даже поднялся из-за стола, обвел сидящих в президиуме учителей удивленно-вопросительным взглядом, словно желал узнать, так ли он все это понял, как поняли они, учителя Варюхи Столяровой, которую он, моргнув глазом, поминутно в досье записал. Но хоть и дядя, и для них, Вариних учителей, ее признание было такое неожиданным — в сочинении-то своем она об этом не написала, — в замешательство или в недоумение оно никого не повергло. Учи-

лась Варюха всегда хорошо, и в аттестате у нее пятерок было больше, чем четверок, а троек вообще не было.— Ишь ты,— снова повторил председатель, но уже не с прежним откровенным удивлением, а с этой хитрецей, которой решил, видно, скрыть свою промашку,— куда махнула — из дюзора да в доктора. Я ее, понимаешь, к прыслу привязать неоровлюсь, а она, как говорится, в лес смотрит.— Тут он посерьезнел лицом, помолчал в задумчивости, с прищуром поглядел куда-то вдаль, в распахнутое окно.— Это, так сказать, в шутку. А ежели по делу да всерьез, то вот тебе, Варвара Андреевна (так и сказал: Варвара Андреевна), мое предостережение: поступишь в этот самый вуз, положишь от колхоза стипендию тебе и всякую прочую поддержку. Пусть знают наши. А врачи нам даже очень нужны. Воротишься в белом халате, а мы к тому сроку больницу свою отгрохаем. Лечи нас на здоровье!

4

Любое важное решение люди годами вынашивают. Ну, не годими, это то как, а какое-то время определено. Решить можно в минуту, но прежде чем решить... Как у нее самой было? Не в один же день надумала Варюха стать врачом. Год почти думала. И решила.

Но чтобы вот так, как теперь, одним махом!.. Взять и отказаться от того, что сама для себя заготавливала. Все равно, что в прорубь головой: раз и нету!

Вот сейчас, может, в эту минуту, когда она, неприкаянная, мокнет под дождем на неизвестном ей полустанке, не зная куда, в какую сторону тащиться со своим чемоданом, именно в этот момент кто-то из девочек, ее недавних соседок по студенческому общежитию, может, даже та самая Тамарка, стоит перед экзаменационным столом, а может, уже сдавая экзамен и ходит гордая по длинным институтским коридорам... А про нее, про Варю, и думать-то, наверное, позабыла — есть она или нет. Если и вспомнит, то так, с усмешкой: была, мол, тут одна такая, ненормальная... «Ну и пусть! Пусть думает что хочет, не в ней, не в Тамарке дело! Тамарка не в счет...»

Она говорила так, в растерзанности оглядывая пустую платформу, и тут же спрашивала себя: а в ком же дело, кому и что она решила доказать? Девочкам, с которыми она в ожидании экзаменов успела подружиться в общежитии, с которыми на консультации ходила, дрожала вместе от страха в ожидании экзаменов? А может, членам приемной комиссии, у которых два дня назад, теряясь под их удивленными взглядами, толком не сумев объяснить им ничего, она забирала свои документы?

Нет, после того, что произошло в ту ночь в общежитии, после Тамариной выходки... Ну вот, опять Тамарка! С нее началось, ею и кончилось... И нечего выдумывать благородные причины, нечего обманывать себя, будто не в Тамарке дело. Не будь ее, разве торчала бы она теперь здесь, под дождем?!

Тамарка — четвертая в их комнате, сразу насторожила Варю какой-то злой, циничной откровенностью, постоянной готовностью всех, и себя в том числе, выворачивать наизуток. Однажды, на второй или третий день их знакомства, Тамарка вдруг брякнула:

— Вот мы горбатимся тут, дурачи, книжки листаем, подрываем свое молодое здоровье, а кому-

то в это время и без того хорошо, кто-то и без дипломов живет припеваючи.

Трое, и Варя в том числе, оторвались от книжек, подняли головы.

— Да нет, я не против, пушай живут, пушай выходят замуж за полковников или там еще за кого, за дипломатов, мне наплевать. Я о другом... Я вот третий год свое счастье пытаю, сначала во ВГИКе, артисткой хотела стать, в кино сниматься, потом в рыбное, теперь вот с вами... И везде, скажу вам, одно... Вот мы сидим четвером и кажемся друг другу такими добрыми, такими внимательными, чай вместе пьем, пирожками делимся. Как в кино. А у каждой одно на уме: как бы обсканить друг дружку на экзаменах. Пусть все сыпется, пусть горят неугасимым пламенем, мне же легче поступить будет. Что, не так?

— Неправда,— тихим голосом сказала Люся. Она приехала из Тулы, и у нее был двухлетний стаж работы в должности медицинской сестры, но экзаменов она боялась как огня.— Лично я никого обсканить не собираюсь. И напрасно ты так про всех... Мы ж в арбынски через тебя не лезли. И в рыбный тоже...

Потом все долго молчали. И Варя тоже молчала, ей было совестно за Тамарку и почему-то жалко ее — такая она нервная, злая, обиженная. Может, и правда с ней где-то плохо обошлись, но только зачем же она вот так — на всех...

Тамарка первая и не выдержала.

— Да бросьте вы, девыл! — без всякого смущения сказала она.— Это я так, для профилактики. Чтобы мы позлее были. А то лежим на своих постелях как мямли, смотреть тошно.

Потом эта история забылась. Все молча простили Тамарке ее выходку. Но видно было, она не очень-то и нуждалась в их прощении.

И вот этот случай.

Поводом для ссоры послужила справка, одна из тех, которыми по доброте душевной снабдили Варю в колхозе перед отъездом в институт. Справка эта, самолично написанная Анной Михайловной, заведующей Никольской фермой, удостоверяла, что Варвара Андреевна Столярова несколько лет вела в свободное от учебы время группу колхозных коров, чем помогла артели. Варя и не хотела брать эту справку: не в сельскохозяйственный же вуз она поступает. При чем тут коровы? Но Анна Михайловна даже осерчала, сказала сквозь близкие слезы: «А я-то к тебе, как мать родная... (Единственный сын Анны Михайловны погиб на войне в сорок пятом.) Возьми, согдись, у нас трудового человека больше всех уважают».

И вот «сгодилась». Каким путем, может, случайно, Тамарка выпала из Вариных документов эту несчастную справку и, зло потрясая ею над головой, войдя в комнату общежития, прямо с порога произнесла обличительную речь.

— Поглядишь на нее, деревня деревней,— она с ухмылкой смотрела на Варю,— а дело свое знает... Подержалась корове за сиську, и будь здоров — производственный стайчик!.. Как же, деревня сейчас почет, шире грязь, дороже едет! Ты вот тихоня, и на словах за справедливость, а сама хочешь в вуз на коровах выехать... Справочка... А на словах: «Мы не так!» Все мы «так»!

— Злая ты, Тамара,— тихо сказала медсестра Люся.— Злая и завистливая. И не выйдет из тебя хорошего врача. Врач не может быть недобрый.

— Да подайтесь вы вашей добротой! — крикнула Тамарка и бросила справку на Варину кровать.— Бери. Лезь в институт по нашим головам.

Утром кто-то из девчат принес в общежитие свежую газету. Все еще переживали Тамирку выходку, и Люся, прихлебывая чай из кружки, стала читать вслух что попало: где и какие идут кинокартины, какая будет сегодня погода... Ни то, ни другое ей сейчас не волновало: через два дня первый экзамен. А Люся машинально читала объявления... Как-то контрора переезжала на новое место и уведомляла об этом... Потом еще одно — о наборе рабочей силы, мужчин и женщин, на электрификацию железной дороги. Жилье, спецпоезда предоставляются... Подъемные выдаются...

— Ну, девы,— подхватила дядя Тамирка.— Знаю, что вы обо мне думаете, а я—какая-никакая, а все-таки женщина, рабочая сила... Вот завало послезавтра экзамен и махну на чуринку. Коммунизм строить. А что, слабо? С кем спугну?—И, с вызовом глядя на девушек, добавила:— А Варька, небось, не пойдет... Зачем ей, она на своих коровах в институт поедет...

— Дай газету,—попросила Варя у Люси.

Тамирка, опередив ее, вырвала газету из Люсиных рук и с притворной любезностью поднесла ей.

— Пожалуйте, ваше коровье превосходительство. Варя перечитала объявление раз-другой, потом положила газету на тумбочку, поднялась с кровати.

— Все, еду!—И потащила из-под кровати свой чемодан.—А тебе,—она мелком взглянула на Тамирку,—и на том спасибо.

Что она хотела этим сказать, она и сама не знает: просто сказала так, и все. И стала неторопливо собирать чемодан.

— Во дура!—удивилась Тамирка.— Ты что, серьезно?

— Нет,—ответила Варя,—понарошке, тебя хочу разгадать.

Все случилось так быстро, что никто из девчат даже опомниться не успел. Им тоже, как и Тамирке, показалось, что Варя шутит. Все сидели на своих кроватях и листали учебники, переговаривались... Но тут вдруг притихли, насторожились.

Первой опомнилась Люся. Она поднялась с кровати, подошла к Тамирке и сказала ей тихо, как, наверное, говорила бы тяжелобольному, который нарушил постельный режим:

— Предупреждаю: если Варя уедет, а ты, не дай бог, сдашь в институт, всем расскажу, что ты заняла не свое место. Понимаешь?

Тамирка даже бровью не повела.

— А, брось, святое место пусто не бывает. Не я, так ты его займешь, так что не надо истерики.

Насчет истерики—это, похоже, в ее, Варин, адрес... Впрочем, Варю это не смущало: пусть говорит что хочет. Для нее же, Вари, ее поступок не какая-то выходка, подогретая школярским желанием сделать своей обиднице назло или удивить ее чем-то: вот, мол, я какая и без ваших вузов обойдусь! Подвернулось объявление — и поехала на стройку! А ты поди, мол, попробуй! Нет, не в этом дело! Она и прежде-то, в школе, никому из своих обидчиков ничего не делала назло. Не умела. Уходила от них молча, и все. Но, видно, было в этом ее молчании нечто большее, чем обида, чем горечь от сознания, что не сумела как надо ответить обидчику. Сама того не ведая, она как раз и наказывала его этим — своим молчанием. Обидчику ведь мало просто обидеть человека, ему sokkal подавать все, ради чего он делал это,—обидному подавай! Дай поглядеть и убедиться, что не зря старался.

Старания прежних Вариных обидчиков как бы разбавились о ее молчание. Поначалу к обидчику приходило удивление. «Странно,—думал он,—ее обидели, а она молчит...» Удивление сменялось недоуме-

нием: «Да что она, в самом деле, слова сказать не может?... Гордая, видите ли...» И наступала растерянность, от которой, как известно, до поражения один шаг. Обидчик начинал понимать, что он сам остался в дураках. И нет для него тяжелее обиды, чем молчание им обиженного!

На этот раз все было и так и не так. Было сложнее. Ей не хотелось оставить обиду безответной. Ведь обидели-то не ее одну, всем девчонкам было обидно. И надо было что-то сказать и за себя и за других... Но нужных слов не нашлось. А вместо этого пришло решение—правильное, нет ли, она еще не знала. Ей показалось, что объявление в газете—это выход. Это то, чем она может сейчас ответить на Тамиркины слова о коровах: уехать, и все.

Да, сейчас она сдст кастрюльные постельное белье, возьмет чемодан и заберет свои документы.

В тот день, простившись с девчатами, она ушла из общежития, отыскала учреждение, которое занималось набором рабочей силы, получила подъемные и уехала на вокзал.

Одно мучало: что напишет она домой, как объяснит матери, дяде Федору, учителям, что не струсила, не смалодушничаала она, что через год снова вернется в Калинин и поступит в медицинский институт. Обязательно поступит. И никакая Тамирка уже не собьет ее...

Она сумеет доказать то, чего теперь не сумела. И вот сейчас, оказавшись одна на незнакомой станции, Варя растерялась. Уверенность, которую она внушила себе дорогой, вдруг пропала. И не такими убедительными стали казаться ей собственные недавние доводы о том, из-за чего она приехала сюда. И снова тот же вопрос: «Зачем, ну зачем я потащила сюда? Кому я нужна здесь? Может, вернуться? Может быть, и примут опять документы! А справка из колхоза—ту злосчастную справку можно и не представлять... Да и что в ней плохого, в этой бумаге, ведь в ней все правильно написано... Может быть...» Но тут она обворала свои мысли: нет, что сделано, то сделано... И решительно подняла чемодан.

5

Ухой и светлый август вдруг пролился холодными, по-осеннему затянными дождями. По черной, в маслянистых лужах земле, по отсыревшим, похожим на старые мокрые заборы бокам дощатых вагонов беспрерывно хлестал косяк дождя. В неприютной мороси, нависшей над путями, невнятной, призрачным светом расплывались сигнальные огни. Невидимые, словно заплутавшие в дождливом тумане, сиротливо, отсыревшими голосами перегуливались маневровые паровозы. Пахло дождем, гарью, перекаленным железом, и это остро напоминало Варю запах колхозной кухни.

Первым, кого увидела Варя на этой станции, был мальчишка лет шестнадцати. Без всякой опаски он вышагивал по путям вдоль платформ и был чем-то озабочен. Большие резининовые сапоги цеплялись краями высоких голенищ за полы старенького намокнутого пальто, и каждый шаг его сопровождался хлопаньем, похожим на хлопанье крыльев вспугнутой птицы.

— Мальчик,—окликнула Варя, не надеясь получить ответ,—как добраться до конторы строительного поезда?

Мальчик остановился, снизу вверх смерил Варю испытующим взглядом, словно прикидывал ее воз-



ложности как будущей рабочей строительного-монтажного поезда, и решил вопрос в ее пользу.

— А ты, тетя, прыгай сюда, прямо на рельсы... И, главное, не бойсь... И э-е-ен туда... — Он показал рукой в сторону, откуда сам, видно, пришел, в дождливый туман. — Там наши вагончики стоят, там и контора. А мне на станцию, — он кивнул головой в противоположную сторону, — в аптеку надо... И захопал голенищами.

Оглядевшись по сторонам, Варя прыгнула со скользящей платформы и пошла по путям. Она то перешагивала через рельсы, то семеняла по маслянисто-черным шпалам, опасливо обходя чугунные помпы, нависающие над разрезными стрелками. И вдруг, неизвестно откуда, страшная, ворчливо отфыркивающая белым паром, выросла перед ней черная рокошущая громадина. Паровоз. Варя метнулась вправо, но тут же с ужасом поняла, что не туда, что именно в эту сторону, по этим рельсам, вдруг зарожавшим под ее ногами, движется, угрожающе увеличиваясь в размерах, эта огромная прокопченная пещь.

Обрушивая на Варю тяжелый грохот, бросая в лицо колочий пар, печь пробухала в двух шагах от нее. Единственное живое, что она успела увидеть при этом, — чуждое лицо в жарко освещенном окне паровоза. Белозубо скаясь, свистя пронзительно и длинно, как Соловей-разбойник, парнишка-машинист, явно довольный произведенным эффектом, с озорным восторгом глядел на нее.

Подогнаемая страхом, охватившим ее, как этот проливной мокрый дождь до ног, Варя мчалась по путям. И такими далекими, по-детски безбидными показалась ей в следующие минуты все прочие, когда-то пережитые страхи. Давно ли, кажется, месяц или полтора назад, заглушавшись на вечеринке в соседней деревне Кузьминки, она с ужасом думала, что возвращаясь домой ей придется мимо много порога. Никто из подруг, никто на свете не узнал тогда, чего стоили Варе ее слова, так небрежно, как бы между прочим сказанные в ту прощальную ночь.

«Что вы, девочки, — смеясь, говорила она, — я ж будущий врач, мне нельзя ничего такого бояться. И вообще все это предрассудки...»

Наутро она уезжала в Калинин поступать в институт, и ей казалось, что эта ночь, последняя в родных краях, должна войти в ее жизнь какой-то пусть неведомой для других, но ощутимой для нее самой отметкой — первым шагом от привычного вчерашнего к неизвестному, туманному завтра, к началу новой жизни, вдали от дома, от подруг, от матери...

Отказавшись от провожатых, сдерживая и подбадривая себя, она прошла мимо чернеющих в ночи кустов бузины, стеной опоясавших погост, шла и чувствовала, как холодеет от страха спина, как беззащитно и гулко колотится в груди сердце.

....Контора строительного-монтажного поезда размещалась в стареньком двухэтажном вагончике, крайнем в ряду других таких же коротышек-вагончиков, приспособленных под рабочие службы и жилье.

Помещение, куда вошла она, уже с порога — по горке окурков, видно, еще с вечера замеченных под дверь, по грязному голику, валявшемуся здесь же, у порога, по сизовато-слистому туманцу, витающему над столами, по всей обстановке и по виду самих обитателей вагончика, которые будто на минуточку зашли сюда и потому, не раздеваясь, присели с сигаретами да папиросами к нескладно и тесно

установленным столам, — напомнило ей правление колхоза.

Кто-то, отгородившись плечом от разговоров, открыто кричал в телефонную трубку, кто-то щелкал костяшками счетов, кто-то просто сидел за столом и курил, безразлично глядя в дождливое окно.

Варино появление ни у кого из присутствующих не вызвало ни малейшего интереса. Даже на ее приветствие «Здравствуйте вам!» — с такими словами в Никольском обычно входят в правление или в клуб, когда там уже много народу и надо здороваться со всеми сразу, — никто не отозвался. Промокшая, едва опомнившаяся после испуга, она растерянно переминалась с ноги на ногу, гадая, к кому же из них, этих неприветливых, угрюмых, как ей показалось, людей, следует обратиться.

Мокрой рукой она забралась к себе под плащ, нащупала карман трикотажной кофты, в котором, завернутый в носовой платок, хранился ключик от чемодана. Она решила заранее достать его, чтобы потом, без промедления открыть чемодан и вынуть документы, какие попросит.

Эта процедура с ключом и открыванием чемодана смущала ее, и, принуждая, что делать это принудило, на глазах у всех, будет вовсе неловко, она решила справиться с этим делом сейчас, пока людям не до нее. Она уже присела на корточки, тут же, у порога, подтащила к себе чемодан, но в это время дверь перед Вариним носом распахнулась, и кто-то огромный, в грязных сапожниках авалился в вагончик, едва не наступив на Варин чемодан.

— Ша, начальники, — рыкнул вошедший с порога, — конюха, слышь, стройку, пиши расчет.

К Вариному удивлению, этот громогласный рык был встречен в вагончике таким же молчанием, как и ее недавнее еле слышное «Здравствуйте вам!». Впрочем, верзилу в мокрой робе — теперь Варя видела его широченную спину, загорюлившую от нее пошлину обитателей вагончика, — это невнимание к его персоне не очень-то смутило. Он продолжал свое:

— Ехал сюда как путный, думал, слышь, дело будет, а тут... Неделю, слышь, из траншеи воду качаем, а что мне с этой воды, хлэбать из коша, что ли? Не, начальники, хватит, пиши, слышь, расчет.

Человек, говоривший по телефону (Варя поняла, что это и был начальник), положил трубку на рычаг и, обращаясь к одному из сидящих за столом, сказал спокойно, почти дружелюбно, будто речь шла о назначении премияльных:

— Власенко, рассчитай его с богом. Нечего, понимаешь, сырость разводить. На дворе и без того сыкотно. Вчерашний день не закрывай.

Последнее распоряжение пришлось не по душе верзиле. Он снова встал на горло:

— А подлая, по-вашему, кто вкалявал?

— Подлая ты в чайной при вокале просидел, — не поднимая головы от бумаг, сказал тот, кого называли Власенко, — пиво сосал с компаний.

Мокрая роба угрожающе надвинулась на стол, но от активных действий воздержалась.

— Тебя бы, слышь, — сказал он с мстительной издевкой, — с твоей бухгалтерией на этот самый котлован, поможил бы, слышь, свою зту...

Власенко ничего не ответил.

Но тут дверь снова распахнулась, и один за другим в контору стали шумно входить рабочие. Кто-то чертыхался, запнувшись о Варин чемодан, кто-то, едва перешагнув его, уже колотил по краю стола мокрыми рукавицами...

Разговор в вагончике принимал крутой оборот, и Варя понял: это надолго.

Она, присев на угол чемодана, приготовилась ждаты.

Многое, о чем, перебивая друг друга, говорили эти люди, Варя не понимала, но главное, из-за чего разгорелся сыр-бор, можно было уловить. Виною всему был дождь, старые, с протекающими крышами вагоны, плохой инвентарь, рваные рукавицы, которые до сих пор не могут заменить, и какие-то нечуткие, бездушные люди, от которых зависит все это. Было похоже, что и дождь, поливающий какой-то день,— дело чужих-то дырявых рук, чей-то преступной халатности.

Самым шумным и напористым в нестройном хоре голосов был голос того, в рабе. Вопрежнему от нежданной поддержки, он все больше расходился в своем обличительном раже и, кажется, даже забыл о том, ради чего пришел сюда. А может, совсем на другое рассчитывал. Возможно, придя за расчетом, он ждал уговоров, увещаний и, может, готов был, покуражившись вволю, пойти на уступки, остаться на стройке, выторговав, разумеется, какую-нибудь выгоду для себя. Но вышло не так, как задумывалось,— без всяких уговоров, в два счета... Да еще со вчерашним нарядом наступили на хвост.

Сдаваться без боя ему явно не хотелось.

— Мне-то, конечно, что,— шумел он,— я крановщик, я себе отыщу местечко под солнцем, где не капает.— Он то натягивал, то снова снимал с головы мокрую перчатку.— Меня, слышь, вся дорога знает, примут везде... А за ревматизм да за здорово живешь теперь никто не рубит. За здорово живешь коммунизм, слышь, не построишь.

— С тобой все, Берчак,— попробовал остановить его Власенко.— К концу дня прошу за расчетом.

— Да не в етим, как говорят, дело,— упорствовал крановщик,— не обо мне, слышь, речь. Я уйду, за мной другой потянется.— Он обвел собравшихся уверенным в поддержке взглядом.— А кто останется, того дорогу-то будет строить? Эта чужачка, что ли?

И он кивнул головой на дверь, где у порога, никем до сих пор не замеченная, стояла девочка в промокшем плаще-болонье и прижимала к ногам затоптанный десятками пар грязных сапог чемодан.

Минуту или две назад, оказавшись невольной свидетельницей этого, как ей казалось, совсем нехотят затнущавшегося разговора, она посторонне, не смея да и не желая судить ни о ком, неясно и путано думала об этих людях. Она уже тяготилась этим разговором и с одинаковой досадой начинала думать и о горластом крановщике, который все что-то доказывал, «качал права», и об этом молчаливом, не в меру сдержанным человеке, который, оказалось, и в самом деле был настоящим строительно-монтажным поездом. Чья правда была в споре — этого она не могла понять. Впрочем, и не было спора: кричали одни и отмалчивались другие. Но молчали так, будто в нем, в этом сдержанном молчании, была какая-то невысказанная правда, и этой правде Варя почему-то хотелось верить. Одно не нравилось ей: почему молчит этот человек с усталым и небритым лицом, почему позволяет другим говорить с ним вот так — зло и грубо?

«Нашего бы дядю Федора сюда,— подумала Варя,— он был живо всех утихомирил. И этого горластого тоже...»

На какой-то миг она, кажется, упустила нить разговора и потому не сразу поняла, почему вдруг все в вагончике повернулось, как по команде, в ее сторону и с удивлением — откуда, мол, такая? — глядят на нее. Но наשמившие слова, которые бросил в ее сторону крановщик, не пролетели мимо: обидно и жарко хлестнув ей в лицо, они отозвались другой,

знакомой, еще не остывшей обидой: вот так же неожиданно-негаданно обидела ее недавно соседка по общежитию. Тогда, сбита с толку нелепым подозрением, она не нашлась что ответить. Ответила по-своему, как умела,— взяла и уехала на стройку. А что теперь? Как ответить на эту обиду? Увидет, хлопнув дверью? Сядет на поезд — и в свое Никольское! Опять уйти, отступить?

Здоровенный детина, голова под потолок, стоял посреди вагончика и, ухмыляясь, довольный, глядел на нее. Еще не зная, что сделает, что скажет ему, она шагнула от двери и, еле сдерживая близкие слезы, готовая вцепиться в его куртку и колотить, колотить кулаками по самоуверенной роже, по широченной его груди, сказала громко, с вызовом:

— А хоть бы я. Возьму и буду строить. Тебе, таким, как ты, назло...

Вагончик затрясся от дружного хохота — до того умиротворенно было это зрелище: растерянный верзил-крановщик и девочка-пигалица, с кулаками подступающая к нему...

В вагончике еще смеялись, кто-то с шутилыми чувством похлопывая крановщика по могучим плечам, понимая его поражение, а начальник поезда, вдруг сразу просветлев небритым лицом, по-свойски подмигнул Варе и сказал:

— Так его, дочка, утри-ка ему под носом... И ходи к моему столу. Потолкуем о деле.

Сконфуженный Берчак пятился к двери.

6

Уныло глянув в слепое от дождливой мути окно, командант Бобров перенатил записку от начальника поезда, поморщившись, как от зубной боли, досадливо цыкнул языком и с неохотой потянулся за кепкой, сырым блином лежащей на столе. И кепка, и плащ, в котором сидел командант, и сапоги его — все было мокро от дождя. И взгляд команданта, когда он исподлобья взглянул на Варю, был сер и уныл, как дождливый день за окном.

— Носит нелегкая,— ворчал он, поднимаясь из-за стола.— А спрости, куда, зачем, сами, небось, не ведут. Сидела бы дома на печке в этом своем...

В Никольском,— неожиданно для себя подсказала Варя.

— Во, во,— подхватил командант и вдруг вскинул на нее удивленные глаза.— В Никольском?— И тут же осекшись он оторопело уставился на нее.— Где, говоришь? В Никольском? Уж не тверская ли, не из старичных ли будешь?— Варя кивнула головой.— Ну, девка выходит, землячку бог послал... Почти соседки. Сам-то я из Кузьминки, слыхала такую?

Впервые за этот мухурый день Варя улыбнулась — так радостно было за сотни километров от дома встретить человека пусть незнакомого, но все же своего. Конечно, случись это встреча там, дома, скажем, в районном центре или в другой деревне, прошли бы каждый своей дорогой, даже головой кивнуть друг другу не догадывались. А тут...

— Ой, мамончик,— всплеснула Варя руками, — а вы не тетки ли Полины муж? Тетки Полины, почтальонши нашей!... Торопливая догадка еще больше обрадовала ее.— Ой, ведь это вы и есть!..

Готовый и сам в первую минуту откликнуться улыбкой, Бобров при этих словах смил лицом, посуровел. Будто и не было на привычно сумрачном лице его этой готовности к улыбке, этих чуть прояснившихся,

на миг потеплевших глаз. Словно туча дождливая, едва мелькнув в хмуром небе ясной прогаиной, тут же растеклась и призракнула ее.

Смущенная этим мимолетным превращением, поминания запоздало, что нехотяти высочила со своей догадкой, Варя запнулся на полуслове.

— Будя, наговорились,— отчужденно сказал Бобров. Круто повернувшись, он шагнул к двери, коротко ударил в нее сапогом.— Ступай следом... землячка.

Подхватив надоевший, враз отяжелевший чемодан, Варя устремилась за командантом. Она почти догнала его, но идти рядом не решилась: неловкость прошедшей минуты и чувство необъяснимой вины перед этим хмурым, словно однажды и навсегда обиженным человеком сдерживали ее. «Господи,— в сердцах казнила она себя,— и отчего это я такая кулема, тухля деревенская? Что ни брякну, все невадно. Вроде как с теми дверями в московском метро: думаешь, как лучше, пропустишь вперед человека, человек тот проскочит, а дверь тебя и хлопнет, не в лоб, так в другое место».

Странно, но это явившееся вдруг воспоминание о тугих, из толстого стекла дверях в метро, к которым она, когда была проездом в Москве, приравнивалась с таким же старанием, с каким подступалась к взбалмошной и брыкливой корове Ночке— это пустяное воспоминание вдруг обратилось для нее скрытым, похожим на чью-то обидную насмешку намеком на ее нынешнее положение: незадачливая, никому не нужная, одна среди незнакомых, чужих людей, мыкается она весь день под дождем, шархается в укасе от паровозов, отбивается от чьих-то грубых насмешек...

Вот и этот Бобров, странный какой-то... Назвалась земляком и тут же словно ожегся, притих, нахмурился. Идет впереди, ежится, а она для него будто и не существует.

И она не заметила, как только что явившаяся жалость к себе стала осыпаться в ней и обращаться в жалость к этому идущему впереди человеку. В обличье его, в затененной урюмности и в том нескрываемом неудовольствии, с каким он справлял свои командантские обязанности,— во всем теперь Варя видела неустроенность, заброшенность и одиночество. Какую-то скрытую обиду почувствовала она в нем.

Она глядела на его спину, ссутулившуюся под мокрым плащом, на грязные сапоги, и ей казалось, что дождь давно промолил этот плащ, и сапоги его, не просыхающие и грязные, давно протекают, и сам он промок и продрог, а обшустись, обгореться как следует ему, наверное, негде. А тут она вытащила его на дожде да еще что-то брякнула неважно, растеряла человека...

«Вот пообвыкнувшись,— наказывала она себе,— посмотрю да и возьму у него постырить что надо, рубашку там или еще чего. Небось, и постырить-то у него некому, а я ему все же землячка...».

Бобров неожиданно остановился, и Варя едва не наскочила на него. Они стояли перед вагончиком, вторым от дальнего края состава. Командант что-то медлил, долго, тщательно обшустив сапоги о брошенную перед вагоном черную шпалу. Потом, не торопясь, будто намеренно выжидая чего-то, стал громко подниматься по лестнице. Приоткрыв дверь в тамбур, оглянулся, предупредил:

— Ты это, погоду тут, я сейчас...

И стал стучать в дверь, ведущую в правую половину вагончика. Ему что-то крикнули оттуда, и он вошел.

Минуты две, может, больше Варя стояла у вагончика на дожде, ждала. Вагончик был стар, изрядно потрепан. Он, верно, немало поведаль на своем неспокойном веку и так же, как остальные его близнецы, когда-то, в молодости, наверное, весело постукивал колесами, воза по свету свету неугомонных своих пассажиров-строителей. Подластный непоседливой их судьбе, он честно, как мог, делился с ними своим казенным теплом и нехитрым уютом. А теперь будто устал от дальних дорог, от частых перегонов с места на место, стоянок в зарастающих бурьяном тупиках. Боже его, крашенные-перекрашенные, с поблекшими следами прежних, написанных мелом адресов и станций назначения, пооблезли и потеряли вид. Устало, как утомленный ожиданием транзитный пассажир на вокзале, он глядел на Варю маленькими, мутными квадратами темных окон, как будто хотел печалиться ей на свою судьбу— всегда вот так, в ожидании, на запасных путях, в стороне от больших дорог, по которым и днем и ночью несутся комфортабельные счастливицы, скорые поезда.

«Комфорт, конечно, не ахти,— вспомнились Варя слова начальника поезда. Он сказал это утром, когда давал ей записку для команданта Боброва с просьбой поселить разнорабочую Столярову в один из вагончиков поезда.— Но жить, в общем, можно. Подсохнешь, подкрепишься, а утром со всеми — к семи ноль-ноль».

«Жить, в общем, можно»,— про себя повторила Варя. Она лишь теперь, кажется, начинала понимать, что все, что случилось с ней сегодня,—ее приезд на эту станцию, и эти люди, которых она видела в контуре, и этот длинный состав почерневших от дождя вагончиков, и сам вагончик, ее новое жилье— все это не сон, а самая настоящая правда. Как сказал бы директор школы Сергей Антонович: правда жизни. И все это не постороннее, не для каких-то других людей, не только для Боброва и Власенко, но и для нее, отныне разнорабочей строительно-монтажного поезда Варвары Столяровой.

Да, здесь ей теперь жить. Жить и работать!

Дверь наконец отворилась. Но вместо ожидаемого Боброва Варя увидела на пороге своего давешнего знакомого, горластого крановщика. Ступеньки, когда он сходил с крылечка, прогибались, как ресурсы, под его ногами, и весь вагончик, казалось, кренился при этом на один бок.

— А-а-а! — насмешливо протянул он.— Строитель коммунизма пожаловал.— Огромный, куртка нараспашку, он подошел к ней близко, дохнул сверху вниз винным перегаром. Варя отшатнулась, стохнула и не было в ней.— Да ты не бойся, слышь, не беги... Вот чудачка! — Теперь он улыбался широко и глядел на Варю без всякой угрозы.— Вроде не из трусливых. Так налетела в контуре... Как чибис. Знаешь, есть такая отчаянная птаха, сама, слышь, птенцов своих защищая, в беду так и лезет. Ладно, давай свой скраб.

Он шагнул к Варе, взял ее чемодан и, не поднимаясь к двери, поставил его у порога.

— Чего в чемодане-то? Небось, пироги или варенье? Бабка, слышь, на дорожку навартела. Зови на чай, приду. А може, что и крепчее хлопнется, а? Сыграем, слышь, заодно... Тебе и мне отходную. Долог, слышь, ты все одно тут не протянешь.

— А мне торопится некуда,— с прежней непримирностью сказала Варя,— и нет у меня никаких пирогов с вареньем. И вообще, вас там расчет дождается.

— Это дело от нас не уйдет,— он подмигнул ей

с ухмылкой,— чего бы другого не упустить. Свежие, слышь, кадры прибывают, любопытно будет поглядеть...

Но вот и Бобров появился в дверях. Позвал Варю. Она поднималась по ступенькам, чувствуя на себе взгляд крановщика, и ей было беспокойно и тревожно от этого взгляда.

7

Ночью, уткнувшись в повлажневшую подушку, Варя плакала.

По крыше вагончика по-прежнему барабанил дождь. Тяжелые капли, протекая сквоз по потоку, с надоедливым бульканьем падали в подставленное ведро. Варя лежала, прислушиваясь то к неожиданно стрельнувшему в ночи гудку паровоза, то к шуму подходящего к станции состава. Шум этот наплывало издали и катился волной ближе и ближе, и все в вагончике начинало мелко дрожать: позвякивало стекло в окне, постанывала дверь, и полка, на которой лежала Варя, ходила под ней ходуню. Сквозь матовое окно по потолку, по стенам пробегали рыжие сполохи от паровозных и вагонных огней, и Варя казалось, что это не поезд пронесется мимо, а их вагончик ожил, стронулся с места и помчался куда-то в ночи.

Вот бы случилось такое: она просыпается утром, а вагончик стоит на знакомой станции, от которой до ее родного Никольского рукой подать...

Варя вскрикнула и опять зарылась в подушку, боясь разбудить злосущую соседку и снова навлечь на себя ее издевательские насмешки, которыми она доминировала все вечер.

За что она не любила Варю?

Нет, кое о чем Варя догадалась, конечно. Не слепая, не маленькая, чтоб не понять.

Раиса — так звали ее новую соседку — жила до сего дня одна в двухместной половине, сама себе хозяйка. В другой половине жили еще двое. Две женщины. Их Варя еще не видела. Это соседство Раису, разумеется, не стесняло, а вот появление новой жилички определенно нарушало Раисино одиночество. Впрочем, какое там одиночество... Ведь тот крановщик, Берчак, кажется, он же от нее выходил. В этом, наверное, и все дело.

Как она встретила ее вчера...

— Здравствуй, — сказала, — а ваша тетя. Явилась, не запылилась... Только мы вас и ждали... Раиса перевела взгляд на коменданта... А с тобой, товарищ Бобров, не соскучишься. Решил у меня детский сад развести... А меня, значит, в воспитательницы... Все нравственность мою стерегешь. Все вы до нашей нравственности больше сторожа.

— Ты это брось... перебил ее Бобров, — брось болтать что попало. Принимай вот лучше да голову человеку не морочь, а то мелешь черт те че. Побесилась уж, будет.

— А ты, товарищ Бобров, моего беса не тронь. Мой бес не к тебе и залез.

— Тфу ты, неладная! — отчаянно сплюнул Бобров и, выйдя в тамбур, хлопнул за собой дверь.

С минуту Варя стояла у порога, не зная, как и с чего начинать свою жизнь в этом вагонном отсеке рядом с его негостеприимной хозяйкой. Надо было что-то сказать, что-то сделать...

— Холодно тут у вас, — сказала наконец Варя. — Давайте растопим печку. И пол надо бы помыть...

— Может, тебе и перину постелить помягче?.. Может, позвать кого, чтоб погрел?

Сказав это, Раиса расхохоталась, довольная своей шуткой. Рыжеволосая, с белым, нежножирным лицом, с большими, влажными, будто после сна, глазами, она была бы, пожалуй, и красива, если бы не эта злость, на каждом слове надламывающая ее яркие, тонкие губы. Этой злостью она напоминала Варю Тамарку из студенческого общежития. Только Рая была старше, и злость у нее была другая — не на всех, не на весь белый свет, как у Тамарки, а на кого-то или на что-то определенное, может, на Боброва, может, на нее, Варю, может быть, и на жизнь...

Раиса сидела на постели, кое-как заправленной, покрытой стареньким стеганым одеялом. Другое одеяло, тонкое, она накинула шалью на плечи. На ногах, белеющих голыми коленками, — черные валенки.

— Зачем вы так, — сказала Варя. — Я ж вам не сделала ничего плохого. Я бы сама. И полы и печку...

— Наивное детство... Губы Раисы опять скривились в усмешку. — Она не сделала ничего плохого... Ты не сделала, тебе сделают, понятно? Вот так-то! — Она потянулась рукой к столу, взяла сигарету, закурила. — А насчет печки, — она смягчилась вдруг, — насчет печки ты молоток... Найдешь дрова, топи на здоровье. Погреемся. А с половым вопросом — вон ведро, вон тряпка. Валяй. А мне по делу надо.

И стала собираться.

Оставшись одна, Варя уложила на свободную полку чемодан, стянула с себя мокрый плащ, а резиновые сапожки решила пока не снимать. Вот поможет пол, приберется, достанет домашние тапочки, халатик свой голубенький, байковый... В общем, не так уж все плохо. Вот только холодно, промерзает, будто и не лето на дворе, а поздняя осень. Но где взять дров? Эх, не догадалась спросить у Раисы!

Воды, накапавшей в ведро с потолка, было мало. Пришлось выбегать под дождь, ставить ведро под водосток, под крышу и ждать, когда нальется. Потом она мыла пол, усердно возила тряпкой по давно не мытым, выщербленным доскам.

Странный шум за дверью остановил ее: кто-то невооруженно влезал с улицы в вагончик, в тамбуре грохотали сапоги. Потом что-то грохнуло, рассыпалось в тамбуре — не то доски, не то поленья. Варя в испуге метнулась в угол, готовая кричать, звать на помощь.

Но после этого грохота в дверь из тамбура негромко постучали, и тут же, не дождавшись разрешения, в вагончик вошел Берчак.

— Что, суслики, озябли? А я, слышь, дров вам приволок — жгите... А чего опять мах-то? — Привычным движением, без промашки он поймал лампочку, свисавшую на коротком шнуре с потолка, подкрутил ее. Она загорелась неярким светом, скупо осветив жилище. И только тогда Берчак заметил, что в вагончике одна Варя.

— А где? — Он показал головой на Раисину кровать. — Где хозяйка, куда ее унесло?

Варя, едва оправившись от испуга, пожала плечами. Кинула головой на мокрую тряпку у порога. Берчак понял наем, попятился к двери. Стал вытирать о тряпку сапоги.

— Ишь как. Дела... Чистота и порядок. Давай, слышь, печку гронюшу.

— Не надо, я сама. — Варя вдруг растерялась. — Она будет сердиться.

— Кто? — не понял Берчак.

— Она, Раиса.

Берчак засмеялся.

— Ну, чудачка! На кого же это и за что?

— Ну так... Варя смеялась еще больше. — Вы ж к ней пришли, а ее нет...

— Ну и что? — Берчак устался на нее удивленный. — А может, я и не к ней, может, у меня к тебе, слышь, разговор имеется.

— Неужен мне ваш разговор, — непримиримо и громко сказала Варя, — и вообще ничего мне от вас не нужно. Ни от вас, ни от нее. И дрова ваши несчастные тоже...

— Ну, тихо, шал! — сказал Берчак, отступая, однако, назад, к порогу. — Что ты опять... А дрова тут ни при чем. Расстопи и отшвартуешь. Не продавать же топливу.

...Огонь в железной круглой времянке занялся не сразу. Печь долго чадила, видно, плохая была тяга из-за дождя. Наконец разошлась.

— Ну вот, пошло дело. — Берчак поднялся с колен, достал сигарету, но закуривать не стал. — Бывай здорова! Не зябни. Хозяйке привет! Вечер проводов отменяется.

— За дрова спасибо, — тихо ответила Варя.

Скоро, когда во всю разогоровшиеся доски, потрескивая, взяли ровным, надежным огнем, когда круглые бока печурки ощутимо задышали теплом, пришла Раиса.

С трудом наведенный порядок в вагончике, растопленную, уютно потрескивающую печь она будто и не заметила. Не вытирая ног, прошла к своей постели, разбито опустилась на нее, усталилась на Варю долгим, пристальным взглядом.

— Был? — наконец спросила она.

— Был. — Варя догадалась, к ком она спросила. — Дрова вот принес.

— Лапал?

— Как это?

— Как, как... Дура совсем, что ли? Руками.

Как от печного жара похлынуло Варино лицо.

— Нет, — сказала она и отвернулась от Раисы.

— Нет, так будет. — И снова эта злость в надломившихся полосках губ и обидные, пакостные, как плевать на чистом полу, слова. — Ты, дева, заруби себе на носу... Не лезь поперек. Не суй носа, слышишь? Усекай! Вот как-то! А теперь бай-бай.

...Дрова, которые принес Берчак, скоро сгорели, и устоявшееся в вагончике тепло стало свадать, улетучиваться.

Сон не шел. Накопившаяся за день обида подступила слезами к самому горлу. Все, все было плохо в этот день. И напрасно она успокаивала себя, напрасно пыталась оправдать этих недобрых, грубых, бездушных людей. Где они, добрые-то люди? Пролетел день, а их нет. Нет, и все тут.

И снова один за другим, нестройной вереницей выплывали в памяти лица тех, с кем встречалась сегодня. Чьи-то слова, обрывки каких-то разговоров слышались ей в ночи, и среди них она вдруг узнавала то голос тетки-проводницы, слышавшей ей дождливого счастья, то еще чей-то голос, громкий, забивающий остальные «А кто дорогу-то будет строить? Она, слышь, что ли?» Да это его. Берчачка, голос. Завтра он уедет со стройки — и сквертью дорога! Раиса будет рыдать и метать. Конечно, уже знает о его отъезде, потому, наверное, и зла.

И все-таки что же у них? Неужели любовь? Неужели... Если она любит, то зачем так плохо и говорить и думать о нем? Вот если б она, Варя, полюбила... Интересно, будет ли у нее, когда-нибудь такое: возьмет и полюбит кого-то. Заглянуть бы наперед и узнать, каким он будет, этот неизвестный

человек? Каким угодно, только не грубым, не наглым, не самоуверенным, как этот Берчак. И все-таки странно... Вот взял и дров притащил, нашел где-то, позаболтался. И печку растопил. Непонятно: один и тот же человек почти одновременно делает и хорошо и плохо. Утром он один, вечером другой. А какой на самом деле?

А начальник? Чего только не думала Варя о нем, пока стояла там, у порога, а он вдруг взял и все устроил — спокойно, без шума! И этому Берчаку, за давнее, нос утер, и с ней, Варей, поговорил по-человечески.

Потом ей вспомнились Бобров — его мимолетная радость и тут же испуг от собственной неожиданной радости. Жалко Боброва. Себя жалко. И еще кого-то... Кто-то еще был сегодня, кто-то мелнунку и пропал и вот теперь отозвался в памяти запоздалым о нем беспокойством.

И снова из невидимой ночной дали по гудящим рельсам наплывал, разрастался шумным прибором, паровозный гуд, метались тени под потолком, вздрагивал, дрожал вагончик, и Варя тоже вздрагивала под тонким суконным одеялом. Она глядела в бледно освещившееся окно, ждала, когда отгрохотет отмелькает и затихнет вдали торпеллиный шквал вагонов. И снова, напрягая память, вглядывалась в прожитый день, пытаясь оживить то мимолетное зародившееся в душе беспокойство. О ком, о чем?

И вдруг вспомнила: тот мальчишка на станции, серьезный, чем-то озабоченный, а огромных сапогах-сорокодах. Она еще спросила у него дорогу. Куда же он торопился? Кажется, на станцию... Да, на станцию, в аптеку... Наверное, кто-то послал, может, мать, может, отец. Так или нет, но кому-то было плохо.

«Господи, — с досады Варя жалась лицом в подушку, — а я-то, я-то, кулема, даже не спросила его ни о чем, о себе только не забыла. А может, кому помощь была нужна».

И горечь, и досада, и жалость — все, что накопилось в ней за этот день, вдруг смешалось в один горький, удушливый комок, который все подступал и подступал к горлу. Она была уже не в силах сдерживать слез.

Варин плач разбудил соседку. Испуганно, словно кто-то толкнул ее в бок, Раиса вскочила с постели, в бледном свете окна метнулись крылом ночной птицы ее вострятые волосы.

— Эй, ты чего? Чего ревеешь-то?

Легко и неслышно она подошла к Вариной постели, присела на край.

— Эй, как тебя? — Она склонилась над ней, потрясла легонько за плечо. — Ну, ты даешь, ей-богу! С чего тебя прорвало-то? Случилось чего, что ли? Ну брось, брось.

Плечо под Раисиней рукой вздрагивало: Варя больше не сдерживала слез. Не могла да и не хотела. Но теперь не столько от обиды, от жалости к себе самой и к другим, кого она только что жалела, плакала, ей, сколько от этого неожиданного участия, от грубоватых и все равно успокаивающих слов, от этой то ли забытой, то ли сдерживаемой доброты, с какой говорились они, и от руки Раисы на своем плече, весомой и теплой, напоминавшей вдруг Варю руку матери.

— Ну, ладно, — говорила Раиса, — ну, поревела — и будет. Слышь, что ли. — И снова удивлялась: — Это же надо так ревевать, это ж надо! Обидел кто, скажи, обидел! — И еще больше удивлялась: — Не я ли, Ну, скажи, я, да? Вот чудачка! Брось! Если хочешь, добрей меня здесь и нет никого. Это точно. — Она ти-



хо, словно для себя самой, засмеялась.— Вот те крест! Самая что ни на есть добрая душа. Только я ее не всем показываю, душу-то. И тебе мой совет: прячь ты подальше свою доброту. И слезы тоже. А что добрая ты, сразу видно. И хватит реветь. А то и я за тобой. Думаешь, не умею? Еще как!

И так же неслышно, как подошла, она вернулась на свою постель и скоро затихла.

Затихла и Варя. Однако уснула не скоро. Она лежала с мокрым, не просыхающим от слез лицом, с открытыми, выплывавшими глазами, удивленная и успокоенная. Все вдруг приутило, уютилось в ней.

И не таким тревожным показался ей возникший в эти минуты новый шум приближающегося поезда. «Нет, все будет хорошо, все будет ладно. Только зачем людям прятать доброту, зачем беречь ее, от кого?»

Потом ей приснился сон. Солнечный летний день. Она и Раиса убирают сено на знакомой луговине. Весело, спорно орудуя вилами, лопкой и согласно, одна за другой, мечут они сено вверх, на копну, а копна растет все выше и выше. И кто-то стоит там, на вершине, принимает. Сначала Варя как будто все равно, кто там, наверху, а потом, словно приглядевшись, узнала: это ж Бернак, вчерашний знакомый. Он стоит и улыбается им сверху, то Варю подмигнет, то на Раису глянет и ей подмигнет тоже. И от этого Варя не по себе, она хмурится, виновато глядит на Раису и с тайным ужасом признается себе, что ей хочется, чтобы он ей одной улыбался, на нее одну глядел.

8

В это утро начальной строительно-монтажного поезда Петр Владимирович Паршин проснулся необычно рано. Он понял это сразу. И не столько по густой, еще предутренней сырости за окном, по холостости завешенным газетой, сколько по собственному безошибочному ощущению, что привычный час его не настал.

Это ощущение подтверждалось тем, что скорый поезд, протяжный гудок которого был с некоторых пор для Петра Владимировича сигналом к пробудке (он следовал, не останавливаясь, мимо станции в пять часов тридцать минут), еще не прошел.

Привычку эту — пробуждаться по гудкам паровозов — Петр Владимирович приобрел за долгие годы жизни, как бы привязанной к рельсам. Да и сама жизнь его дорожная — сегодня здесь, а завтра там, — она тоже стала привычкой, ни отказать, ни отделиться от которой он уже не мог.

Когда-то, в первые послевоенные дни, когда Паршин живой и здоровый вернулся домой на свою Владимирцину, он, бывший путейский рабочий, поступил в ремонтно-строительную железнодорожную бригаду. Движимый горьким чувством, похожим то ли на вину, то ли на исполненный до конца долг перед теми, с кем воевал вместе и кого волею везучей судьбы своей пришлось пережить на войне, в те дни он внушил себе мысль, что для него, капитана запаса Петра Паршина, бой еще не окончен, еще не все счесть с побежденным врагом свел он до конца. Как сапер, привыкший под вражеским огнем наводить переправы, он и в новой, мирной жизни хотел найти для себя такое горячее место, на котором мог бы чувствовать свою особую важность и незаменимость, как недавно в бою, когда от него, его умения и находчивости, от единой воли саперского братства зависела судьба огромного дела —

наступления или атаки. Зависели судьбы людей и сама победа.

Разрушенные мосты, разбитые станции, которые мелькали за окном вагона, когда он возвращался домой, напоминали ему о его саперском долге, о товарищах, однополчанках, погибших и похороненных в братских и одиночных могилах. Ведь многие из них до войны были строителями, строили эти станции и мосты.

«Пока не отстрою то, что порушили, — говорил себе Паршин, — не успокоюсь!»

Начал с простого рабочего, с ремонта железнодорожных мостов, а вскоре стал и новые строить. И мосты и тоннели... И не заметил, как исколесил Россию вдоль и поперек, побывал и на родной владимирской, и на рязанской, и на ржевской, и на далекой сибирской земле.

Однажды он спросил себя: «А может, и хватит? Может, то, что я должен был сделать, сделано уже? Не пора ли остановиться, бросить аккорд где-нибудь? Обзавестись хозяйством, семьей, попробовать пожить по-человечески, как другие живут, — не на колесах, а на земле...»

Как-то в дороге увидел он из окна вагона голубой, как весеннее небо, разлив озера, избушку одинокую на сухом, с лесником, берегу, лодочку, черной скорлупкой застывшую на воде, а в ней рыбака. Какая-то женщина, стройная, с легкой походкой, наверное, молодая, шла одиноко по тропинке по-над озером, белой чайкой взлетал над водой ее платок... И вдруг сладкая, истомная зависть защемила сердце у Паршина и неведомая, до этой поры дремавшая в нем сила вмиг подняла его с вагонной полки и понесла от окна, от дружков-приятелей к двери, на выход...

Он поселился в поселке леспромхоза, неподалеку от станции, и дом, где снял комнату, стоял у самого озера, хоть лави рыбу с крыльца. В леспромхозе нашла работенка — учетником на участке, а озеро и в самом деле было полно рыбы, и лодка хозяйина-старика была к его услугам.

В контроле леспромхоза работала бухгалтером Зинаида Ивановна, женщина с недавних пор одинокая, годами ровня Паршину. Жила она, правда, не в поселке, не у самого озера, а на станции. Был у нее свой дом, а при нем участок. Люди в контроле толкались всякие, в основном мужики — лесорубы да шоферы, лихой, спортивный народ. Редкий из них, говоря с Зинаидой Ивановной, — по делу, нет, — удерживал себя от того, чтобы не пустить этаким пробный шар, не наметнуть одинокой бухгалтерше на всякое такое, не помолочествовать перед ней. Паршин, не приученный к таким вольностям, не раз с тайной, необъяснимой радостью отмечал, что все эти недумственные намеки и приставания Зинаиде Ивановне были как об стенку горох. Она не то чтобы сердилась на мужиков или отмахивалась от них. Молча, долгим немгновенным взглядом смотрела она на очередного ухажера, будто спрашивала: «Ну, все, угомонился ли еще подожждать?» И отводила глаза, будто ставила точку в своей бухгалтерской ведомости или закрывала текущий счет. И ухажер смущенно примолкал или уволжал разговор на другую дорожку, где не так сколько-то.

Однажды Паршин решился: придумам себе дело на станции, он пристроился к ней в попутчики. Она не возражала.

Шли молча, а если и заводили какой разговор, то так, по пустякам. От хозяйки же своей, языкатой бабки Матвеевны, Паршин узнал, что одинокой Зинаида Ивановна стала года два назад, после того, как муж ее, дорожный мастер, попал под поезд. «Желки по совести, — говорила ему Матвеевна, — то оно так

для Зинаиды и лучше, потому как радости от такой иной жизни было ни на грош.— И, вздыхая, заканчивала с намеком: — Ей бы мужика стоящего, да не такого, как наши басурманы, не жись была б, а полный сад-ог-эродр.

В тот же вечер Зинаида Ивановна первая приоткрыла свой интерес к попутчику, спросив как бы между прочим, какими это верном его, Петра Владимировича, в их нешумные края приволок и надолго ли. И Паршин чистосердечно признался, что притомился слоняться по белу свету, пора, мол, и честь знать, спустить, так сказать, пары...

Ответ этот, видно, устроил Зинаиду Ивановну. А еще ей, похоже, понравилось, что за всю дорогу, пока они шли до станции, он ни словом, ни намеком не обмолвился о том намерении, которое — она это сразу безошибочно почувствовала — было у него. Они оба понимали, что говорить об этом в первый же вечер рано, что нужно какое-то время, может, еще один такой же вечер, а может, неделю, и были уже заранее согласны в этом тайно зарождающемся сговоре и уже потому довольны друг другом, что в этой сдержанности могли так тонко почувствовать свое обоюдное согласие.

А скоро он перебрался к ней на станцию, приняв со смущенной улыбочкой наказ прежней хозяйки Матвеевны: «Мотри, голубы, не шаландайся по путям. И Зинку жалеяй».

После двадцати лет, проведенных на колесах, после привычной солдатской суровости бытия, после жестких вагонных полков, к которым, кажется, не только бока — душа прикипела, — вдруг дом с огородами, сытый стол с самоваром, мягкая, с жаркой перинной постель. Надолго ли хватят его для такой благополучной, блаженной жизни?

Ни ссор, ни тайных обид, ни недомолвок — ничего не было в их жизни такого, что оседало бы и накапливалось в душе и ждало срока, чтобы вырваться наружу. Просто однажды ночью проснулся он от паровозного гудка и, не помня себя, где он, что с ним, вскочил с постели, сильно перепугав Зинаиду Ивановну.

Поезд промчался мимо станции и затих, а он еще долго сидел у окна на кухне — курил и вслушивался в этот тающий в ночи шум, перебиваемый перестуком разбуженного своего сердца.

Тогда он не сказал ей ничего, но для себя решил, что не сегодня-завтра уедет со станции, что эта придуманная им жизнь не для него, что жить «по-человечески» для него совсем не то, что для Зинаиды Ивановны и для других, живущих в поселке у лесного озера.

Они и расстались без лишних слов. И как в первый вечер, когда, доверившись молчанию, немногословно объяснились меж собой, так и теперь они сумели обойтись без трудных объяснений.

А скоро его захватила новая станция, захватила и похлеса — от станции к станции, с одного конца страны в другой. Бывало, во время переездов, не сразу понимая почему, он приставал вору к вагонному окну, глядел в удивлении на дальний, уходящий за горизонт лесок, на стеклышком блестящую поверхность озера, на акkuratный домик под березой — где-то он видел все это, чем-то выплясывая увиденное за душу, чем-то тревожит. И целывало как из тумана — и леспрощом, и молчаливая Зинаида Ивановна, и бабка Матвеевна с ее наказом «не шаландайся по путям».

И, затихая на время, в недолгой задумчивости глядел в окно, но скоро забывал об этом, как забываются лица случайных встречных, с которыми и путным словом-то обмолвиться не успел. И уже знал, что не там, не на тихом берегу, а здесь, в постоянном дви-

жении — от стройки к стройке, в этом вагончике, с такими же, как он, непоседливыми людьми — здесь его место. И это больше чем привычка. Это его пожизненное призвание, маршрут его жизни: ездить по бесконечно огромной и прекрасной земле, прокладывая на ней новые дороги, строить новые станции, платформы, мосты...

Разных людей повидал он за эти годы, но не много из тех, с кем сводила судьба, могил так же, как он, крепко-накрепко прикипать к этой жизни. Были такие, которые все что-то ищут на земле, как рыбы, — где глубже. Сколько их, искателей лучшей доли, обиженных, обездоленных войной, развезало в послевоенные годы по российским дорогам! Но пойдя поищи ее, если война всюду свой горький след оставила. И не искать, а строить заново нужно было эту лучшую долю. Капитан запаса Паршин понял это, и многие другие понимали. А кое-кто — нет. Так и метался по белу свету, сгоревая себя призрачной надеждой, что есть, должно быть, на земле такое желанное место. Кочевая жизнь рабочих строительно-монтажных поездов принавивала таких охотников не столько заработком, сколько возможностью похвастать по земле, нигде не пуская корней.

Паршин заметил: живучим оказалось это племя. И по сей день слоняются по дорогам искатели глубоких мест, этикие перекати-поле, с которыми, по давнему и твердому убеждению Паршина, ни в разведку не пойдешь, ни кашу вместе есть не съедешь. Обедят, да и только.

Но как начальник строительно-монтажного поезда он твердо усвоил и другое: хоть трижды будь ты прав в своих требованиях к этим людям, однако право решать — оставлять кому-то из них на стройке или катиться дальше — это право на их стороне. И он не удивлялся таким людям: ни подле себя, ни в стройке, ни в памяти своей. Были — и нет их! Всегда находились другие, занимали места в жилых вагончиках, строили. Долго, нет ли — их дело.

Работать так было трудно, еще труднее — руководить: кадры на стройке менялись, как кадры в кино. Паршина поругивали за это, но он держался своего: вольному — воля. Потому что знал: невелика радость и польза от человека, если он, точно волк, в лес смотрит.

Было это несколько лет назад. Вызвали Паршина в Москву — «на большой ковер». Паршин ехал, заранее готовясь к очередному разгосу. Однако ошибся.

В министерстве в присутствии ответственных работников, с которыми прежде ему встречаться не приводилось, состоялся один из тех разговоров, о котором миллионы людей узнают на следующий же день из газет. Но тогда Паршину запомнилось другое. Запомнился ему старикан в железнодорожной форме, с двумя орденами Ленина на груди, тоже приглашенный. В тот момент, когда один из ответственных товарищей, ведущий совещание, сказал о главном, этот железнодорожник по-домашнему, со смелой, стариковской простотой вставил во весь голос: «Наконец-то! А я думал, помру и не дождусь светлого денечка, не погляжу на настоящую скорость...» И без стеснения, как будто все сидевшие за длинным зеленым столом были его давние знакомые, дружки-приятели, оглядел их. Реплика старика внесла в строгий и важный разговор неукротимое оживление, все стали переглядываться, зашумелись, а человек во главе стола уважительно, как старший в семье сын на отца, взглянул на заслуженного железнодорожника и сказал: «Не только дождешься, Прохор Андреич, а еще и сам попробуешь, что это такое — электрификация. Покоптели небо паровозами, пора и честь знать».

В тот день Паршин понял, что до конца своей жизни, пока носят его ноги, он запаса делом, которому с великой охотой отдаст все оставшиеся в себе силы, свое умение, свою любовь. В том, что это дело не обойдется без него, он ни на минуту не сомневался, и уже там, в кабинете, покашло совещание, привычно прикидывая в уме, как и с чего должно начинаться оно, куда на этот раз придется перегонять ему свое хозяйство, какие люди потребуются.

Тогда его задержали в Москве. И эту задержку он истолковал по-своему: будет назначение. Утром по дороге в министерство купил газету «Гудок», увидел отчет о вчерашнем совещании. Над броским заголовком прочитал слова, которые вчера не раз вспоминали выступавшие, которые он и сам столько раз успел повторить: «Коммунизм — это есть Советская власть плюс электрификация всей страны».

Он знал, помнил эти слова, понимал их глубокий смысл, понимал, как много значит для всей страны уже не завтрашнее, а сегодняшнее дело — электрификация железных дорог. Он был готов к этому делу. Многие, о чем писалось в статье, задело Паршина за живое, удивило точностью сравнений, до которых он сам вряд ли додумался бы. Журналисту, написавшему отчет, дело, которого ждал Паршин, представлялось чем-то вроде хирургической операции: старый, задыхающийся от перегрузок, от паровозной гари и копоти организм дороги предстояло омолодить, заменить другим, способным вдохнуть новую жизнь и жить на невиданных скоростях.

По статье выходило, что ему, Паршину, с его строительно-монтажным поездом отводится в этой операции, ну если не роль хирурга, то одного из его ассистентов, правой его руки. И другие сравнения были в том же духе. Провода электротехника журналист сравнивал с жизненными нервами дороги, а будущие тягловые подстанции — с клапанами сердца. Словом, дело стоило таких торжественных сравнений.

Паршин не ошибся и в своих предположениях: в тот день он получил назначение. И вот с тех пор, с дестяком, наверное, лет, он, придерживаясь высокого стиля того газетчика, — правая рука, ассистент хирурга...

Нынешней весной — новое наступление на старую дорогу, которую сам же когда-то восстанавливал. Все до поры шло хорошо, но вдруг застопорилось. Причина — дожди. Вторую неделю, когда только жать и жать, дожди заливают станцию, из-за них пришлось сократить фронт работ и, как невесело шутили на стройке, сидеть у моря, ждать погоды.

Котлован под фундамент будущей подстанции, вырытый наполовину, напоминал грязный водоём, черпать дальше жижу козлами не имело смысла. Пустили в ход насосы, но и дождь знал свое: за ночь снова заливал до краев. Не лучше было и на путях, где шли подготовительные работы перед заменой старых платформ новыми, бетонными, где тянулись траншеи и со дня на день предстояло поднимать опоры. Строители на чем свет стоит ругали погоду, а заодно и начальника СМП.

Нетерпеливые, скорые на ногу люди брали расчет, уезжали какое место посуше да понадежней. За последнюю неделю около сорока человек рассчитало. Больше из разнорабочих. Но были и люди с квалификацией — крановщики, монтажники, очень нужный народ. Замена таким если и находилась, то не сразу.

Вчерашний день, такой же ненастный, как и остальные, начался у Паршина с неприятного разговора по телефону. Он невеселых его делах на участке узнали в Москве. Причина, которой начальник строительно-монтажного поезда пытался объяснить плачевное положение — дожди, люди уходят, — не только не по-

спушила ему хоть каким-то оправданием, а, наоборот, будто подлила масла в огонь.

— А вам, товарищ Паршин, не кажется, — с обидным раздражением внул ему голос из трубки, — не кажется ли вам, что не от дождя, а от вас люди уходят? А дело стоит...

Паршин что-то отвечал, кричал в трубку, отгораживаясь плечом от голосов, которые все заполняли вагончик, что-то требуя, что-то доказывая. По одному из голосов, самому громкому, Паршин узнал Берчака, лучшего своего крановщика, и, машинально дослушав, что выговаривала ему трубка, успел подумать: «Не налаживается ли и этот со строиком?»

И оказался прав: Берчак пришел за расчетом. Как работника квалифицированного, опытного крановщика отпустить Берчака было жалко. Но, черт побери, подумал и на этот раз Паршин, пусть изругают его как хотят, пусть кто-то с ним делают, но не станет он этой дубине стоевой соли вытирать, не будет сулить ему златые горы и держать за руки не будет. И он с привычной в таких случаях готовностью распорядился, чтоб Власенко рассчитал Берчака.

И потом, когда промокший и злой бродил по участку от котлована к котлову, а от котловы к траншеям, он ни разу не упрекнул себя за то, что отпустил нужного человека. И только вечером, когда пришел к себе в вагончик, когда остался один, без дела и без людей, он вдруг подумал: что-то не так он сделал. Нет, не сегодня и не вчера, а вообще когда-то. Один раз не так сделал, и с тех пор пошло...

Он не сразу понял, откуда злылась эта странная и беспокойная мысль: от утреннего ли телефонного звонка или еще от чего? Что-то да толчок, что-то било его с привычного круга и незаметно повело в сторону, опасную неожиданной, непонятной новизной.

Чайник с опущенным в него электрократильным начал протяжную и грустную мелодию, порывистый ветер хлестал дождем по окну, а он все ходил и ходил по вагончику, от полки, служившей ему постелью, до двери, — три шага туда, три назад. Ходил и думал, вновь и вновь выстраивая в ряд события минувшего дня и людей, с которыми виделся сегодня. На каком-то звене, совсем рядом с утренним телефонным разговором и с появлением в вагончике Берчака, вдруг наметилось что-то близкое к разгадке и тихой радостью отзывалось в нем. И вот припомнилось: та девочка, новенькая — ее он принимал на работу сегодня — это она, ее появление било Паршина с толку. Что-то стронулось в нем и покатилося, покатилося, будто тяжелый состав с горки.

Чайник отгудел, отбулбал свое. Паршин вынул кипятильник, насыпал в чайник заварки погуще, прикрыл его крышечкой. Присел к столу. «Вот черт, — он даже покачал головой, — как это она Берчака приложила? А что, говорит, возьму, мол, и буду строить... Вот так-то! — Паршин улыбнулся, потянулся за чайником. — Молодец, ну, молодец, дева! Возьму, говорит, и буду строить. А сама-то — во! — Он примерился глазом к двери, припоминая, какого роста была та девочка. — Небось, отец-мать да де-то с ума сходят. Куда, мол, дочку понесло, а она вон. Дорогу приехала строить. И откуда ее принесло? Каким ветром? Верно, но объясняю... Прочитала в газете — и к нам».

Он посидел с минуту в задумчивости, потом достал свою походную пол-литровую кружку, керамическую, с видом владимирского кремля, с крутой, изогнутой ручкой, налил густого, черное кофе, чаю, отпил глоток. По телу пошло долгожданное тепло, захотелось, не допивая чай, разобрать постель и за-

лесть под одеяло, согреться и заснуть и не думать ни о чем — ни о дожде, который все льет и льет, ни о том сердитом телефонном звонке, ни о залистом водкой котловане, ни о дырявых крышах в жилых вагонах... И чтобы кто-то, близкая живая душа, был рядом, кто-то мягко, по-домашнему ступал по чистым половикам и изредка, в родственной заботе склонился над ним и трогал его волосы, заглядывал в лицо — спит ли? А он лежал бы в тепле, на чистой простыне, на мягкой перине и ждал, ждал чего-то... То ли доброго, заботливого слова, то ли прикосновения чьей-то ласковой руки.

Ему снова вспомнилась та девочка, ее совсем еще детская фигурка, лицо ее испуганно-решительное, и все она беспомощная, нуждающаяся в защите, в добром участии. И вдруг таксливо, как отголосок той недавней сиротской мелодии, которую выпевал заключающийся чайник, заняло у Паршина в груди: «А по годам, похоже, дочкой могла бы мне быть. Да, в самый раз — дочкой. И у меня, выходит, могла бы быть такая... Вот ведь какое дело».

Ему вдруг захотелось встать, оставить кружку с горячим чаем, натянуть промокшие за день сапоги и непросохший плащ и побежать к командиру Боброву, спросить у него, как устроил он ту новенькую, из разнорабочих, и все ли ладно у нее и не нужна ли ей какая помощь, может, аванс, может, еще что.

Но удержался, вяло дотянул с полкружки чай и лег в постель. Заранее обрекая себя на бессонницу, ругал себя и за крепкий чай и за забывчивость свою: вот не может он вспомнить ни имени, ни фамилии той девочки, вылетело из головы, и все. А ему почему-то казалось: надо это вспомнить. И еще он думал о том, что есть, живут на свете другие люди и у них, как у него, Паршина, есть свои цели в жизни, свое предназначение, но есть и что-то другое, чего у него, Паршина, нет и теперь уже, наверное, не будет. Это дети. Разве не для них творится все лучшее на земле, разве не для них он сам, капитан запаса Петр Паршин, наводил под огнем переправы через русские, украинские, польские и немецкие реки? Разве не для них в сорок шестом восстанавливал разрушенную дорогу, а в пятьдесят втором прокладывал новую? И вот теперь... Так почему же он не мог понять этого раньше?

Да, он что-то упустил, ошибся в чем-то, и теперь переживает горечь запаздано понятой ошибки один на один с собой. А может, он неправ? Может, есть кто-то, кто готов и теперь разделить с ним эту горечь? Та женщина на тихой станции у озера, Зинаида Ивановна... Разве не оставил он в душе ее то сожаление, которое и самого его мучает теперь? Ведь все могло быть иначе и у нее и у него. И, может, не было б сейчас ему так неуютно, так холодно и одиноко в этом вагончике, и не старая, отсыревшая газета висела бы на гвоздочках вместо занавески на его окне... О чем-то молчали они тогда, казалось, что понимали друг друга. А много ли понимали? Но теперь уж поздно, что ж об этом теперь. Не бросать же все, не мяться обратно на ту станцию! Так его там и ждали! Это через шесть-то лет! Нет, «конеч с этим делом». Так, кажется, Берчак говорит. А ему, Паршину, остается одно: строить. Вот отойдут дожди, и, он уверен, ни минутки не останется на то, чтобы вот так, как теперь, даме на сон грядущий, поразмышлять о всяких таких вещах. Не до того будет!

А это так, ни с того ни с сего, Наверное, по старости. Под старость и мужики раскисают, сентиментальными делаются.

Так, убавляя себя, он заснул вчера. Но сон еще долго не шел. Он лежал с закрытыми глазами, чу-

ко лова каждый звук, и снова думал о том же — о завтрашнем дне, о стройке, о людях, с которыми он встретится и которых, возможно, не досчитается опять.

«Вот и она... снова вспомнил Паршин о новенькой — поживет на стройке, хлебнет лиха — и поминай как звали. Хорошо, если постояет за себя сумеет, а вдруг какой арап подвернется... На всю жизнь охоту к нашему делу отобьет. А дело-то у нас новое, и люди для него нужны новые, сильные. А где их брать, таких людей?»

И вдруг простая мысль успокоила Паршина и примирила с самим собой: «С утра, если Берчак не приходил за расчетом, найду его и поговорю. Нечего человеку по свету бродить, скорые рубли сшибать. Здесь он нужен. Хоть горлопан, а человек для стройки необходимый, и нечего, нельзя такими людьми браться».

С этим, кажется, он и заснул. С этим и проснулся. И скоро, еще не страшнувшись себя остаток недолгого и беспокойного сна, еще лежа в постели, догадался о причине столь раннего пробуждения: он что-то наказывал себе сделать с утра и боялся, что опоздает.

«Во-первых, поговорить с крановщиком, во что бы то ни стало удержать его на стройке. И что-то еще? Да, та новенькая... Узнать, как ее устроили, все ли у нее ладно»

За окном снова дождило.



Верно говорят: утро вечера мудренее. Мать, бывало, под вечер чуть что попилится из рук — оставляла дело до утра. Точно знает: с тяжелой рукой да с горячей головой человек не работник. Над Варюхиной привычкой — та, когда не в духе, либо за стирку хваталась, либо уборку затевала в избе — посмеивалась, но от работы не тащила. Сама, мол, поймет. Так и выходило: утром белье хоть снова полощи, да и прибрать бы в избе не мешало.

Эх, мамка, мамка! Пришел, видно, срок твоей науке. Не открыла глаза, приглядываясь, вспомнила и день вчерашний, и ночь, и горькие слезы свои, и Раису, соседку, и неожиданно пришедшее успокоение, и остаток короткого сна, чем-то возмолвавшего, сладко встревожившего ее, — все вспомнила разом и вдруг почувствовала, как легко и без страха думается ей обо всем, как просто будет сейчас встать и взяться за любое дело, какое дадут. Пусть еще рано, пусть снова дождит за окном, для нее это не имеет значения — скорей бы работа, какая угодно, пусть самая тяжелая!

Она поднялась с постели, оделась, взяла со стола большой железный чайник и вышла из вагончика. Вчерашний дождь немного притиух, но было так же мокро и сыло. Варя остановилась в нерешительности, не зная, куда идти, где искать воду. Кажется, откуда, справа пришла она вчера, значит, там станция, там есть дежурный или еще кто-нибудь — скажут, где кипяток.

В чехол у нее остались полпачки сахара-рафинада, целая пачка индийского чая со слоним на картинке и, кажется, сушки. Она их грызла в общепитке, когда готовилась к экзаменам. Сейчас она раздобудет кипяток, вернется в вагончик, бухнет в чайник заварку, разбудит Раису, и они будут пить чай.

Варя пошла вдоль вагончиков по направлению к станции.

Было еще сумрачно, и в этом раннем сумраке она увидела желто мерцающие станционные огни. Пусто и тихо было на путях, и шагать по рельсам не так страшно. Крышечка на чайнике побрякивала при каждом шаге, и этот звук и эта безлюдно-тихая рань напомнили Варю другое утро, когда она с поддоником в руке спешила на ферму, к матери на подмогу, или с бидоном в лес за ягодами. Под ногами трава в белой росе, как будто не по земле, а по застывшему туману идешь. А в лицо то знойным, не с самой ли Волги прилетевшим ветерком повет, то вдруг устойчивым низинным теплом пахнет, как будто корова дохнет тебе в лицо или в ухо. А по деревне, по дворам плывет негромкий, сдержанный перезвон: то там топнут поддоником, то тут заденут ведром...

Словно калитка скрипнула где-то за Вариной спиной. Она оглянулась. С крыльца вагончика сходил человек. Варя сразу узнала начальника поезда.

— Здравсьте! — поздоровался она.— А где у вас берут кипяток? Я тут ничего еще не знаю.

Паршин подошел к ней.

— Ну вот,— сказал он, улыбаясь,— а я думал, что один такой ранний. А тут похалуиста.— Он посмотрел на Варин чайник.— А насчет кипяточку ты как чуяла... Есть у меня кипяточек. И кипятильник и чай горячий, сам только что отпил. Люблю, понимаешь, чаек. Кружуху хвтанешь,— он показал руками, какая у него большая кружка,— и душа радуется. Пошли, угощу. Правда, кроме чая и нечем...

— Ой, что вы,— Варя смутилась.— Спасибо. Но мне же не себе одной, и у нас все есть, и чай и сахар... Вот только кипяточку бы...

Паршин взял из ее рук чайник.

— Будет тебе кипяток. И кипятильник.

Он быстро поднялся на крыльцо и скоро вернулся, отдал Варю еще теплый чайник и длинный шнур — кипятильник.

— Держи. Розетка должна быть в вагончике. Вот эту штуку,— он показал на загнутый спиралью конец кипятильника,— опустить в воду — и... пошло дело. А где устроишься?

— Вон там, в предпоследнем.

— В двенадцатом. С Раисой? — Паршин на миг озадачился. Потом спросил: — Ну и как?

— Хорошо... В общем, ничего. Нормально.

— Ну и ладно. А если что, так ты... Я вот здесь живу. На одних путях, можно сказать.

— Спасибочки! А эту штуку я вам верну.

— Да чего там, пользуйся. Отпавляй свою соседку... чаем. Знаешь, возьми-ка ее в оборот. А?

Через пять минут в Варином вагончике шумелим баском гудел закипающий чайник, а на столе, застеленном чистой газетой, лежали сушки, стояла пачка сахара.

Зашевелилась Раиса. Подняла с подушки заспанное лицо, шурясь, уставилась на Варю. Потом взглянула на стол и опять откинулась на подушку. Прикрыла глаза. Но не спала: о чем-то думала.

Чайника для заварки не было, и Варя высипала с полпачки индийского прямо в кипяток.

В это время кто-то поднялся по жидким ступенькам и, отворив дверь в тамбур, тихо постучал в их половину.

— Кого несет-то? — не открывая глаз, спросила сонным голосом Раиса.

Дверь приткрылась, в проеме показалась чья-то рука. Сначала она поставила у порога сапоги, стачки, резиновые, затем накрыла их какой-то, имеющей ни цвета, ни фасона, одежкой и пару изрядно потертанных брезентовых рукавиц положила

сверху. Потом человек-невидимка глухо сказал из тамбура голосом команданта:

— Мимо в наряд пойдешь, зайди... распишись за причиндалы. Подобрал вот кое-чего...

— А-а-а,— лениво протянула с кровати Раиса,— старый хрен пожаловал. Свадебный наряд для невесты... С доставкой на дом. Хебось, опять обноски.

Но Бобров уже громышал сапогами по ступенькам. — А ты, ей-богу, молоток! — Раиса села в кровати, снова обвела взглядом выставленное на столе... Правда, переполошила ночью до смерти. Ей-богу, давно так не пугалась... А с чаем ты как в воду глядела... Дай бог твоей матери зятя получше! Чайку я сейчас с превеликим...

Потом они пили чай с сушками, и Раиса потеплевшими глазами разглядывала Варю, приговаривала, в раздумчивости кивая головой:

— Не в землекопы бы тебя, не в разнорабочие — в сестры милосердия. И не эту бы дурацкую шкуру,— она показала глазами на принесенный командантом ватник,— а в белый бы халат... И ходила бы ты по чистому полу, между кроватями и разные душепастительные слова больным говорила. Другие ведь, знаешь, жизнь прожигут, доброго слова не услышат. А ты бы им и за здоровье и за упокой...

Варя не очень понимала, смеется Раиса над ней или говорит без насмешки. Но как бы там ни было, в эти минуты Раиса ничем не напоминала ей ту, вчерашнюю недобрую женщину, так враждебно встретившую ее. Будто другой человек сидел. По-домашнему уютно устроившись на постели, она пила из стакана, блаженно поохивая и закрывая глаза, похваливала крепкий чай и все говорила, говорила какие-то обычные, не злые слова, и Варя хотела, чтобы эти слова, и спокойный взгляд Раисы, и она сама, теперь красивая, понятная, чтобы все это было настоящим, чтобы она всегда была такой. Такой, а не как вчера! И Варя захотелось откликнуться на этот разговор, сказать Раисе, что и она так считает: врач должен быть добрым, чутким, любить людей, и Люся, медицинская сестра, с которой она жила в институтском общежитии, тоже так считает. Конечно, и Варя это знает и как раз и хочет стать врачом...

Но, может, не стоит говорить? Получится, будто хвастается, а хвастаться-то и нечем. Все это пока из области мечтаний. И вообще в одном откровении, придется и другое открывать — как она попала сюда. Почему сбегала с экзаменов? Почему невольно обманула колхоз?

А рассказы попробуй! Нет, уж лучше помолчать. Она и молчала. Покусывала сахар, прихлебывала маленькими глоточками чай — она всегда пила чай вприкуску, как мать, и слушала Раису.

— Я вот девчонкой,— продолжала та,— в твоих годах, ну, помоложе, тоже, помню, всех на свете любила. Ребеночка соливого ужику на улице в слезах, отдам конфетку, соли подотру, а собаку хромую встречу — домой тащу... Или вот старуха на углу... Знаешь, после войны сколько таких старух, нищенок ходило. Увижу, стоишь с протянутой рукой, сердце кровью залывается, как будто не чужого человека увидела, а мать родную. Знаю, своя-то дома сидит, а мне все мерещится, что эта чужая, побируха — моя мать и есть. И так мне всех жалко было, думала: если я к людям с добром, так и они ко мне с тем... Накось, выкуси! — Раиса сложила из пальцев фигу и показала кому-то. И она снова вчерашняя злость метнулась в глаза. — Ну хватит, побалагурил — собираться пора. Вон девки зашевелились. Давай-ка наляпай свое приданое, чего он тебе тут подсунал.

Раиса поднялась с кровати. Босая, в измятом фланелевом халате — вчера, не раздеваясь, улеглась в нем спать, — она постояла в задумчивости перед дождливым окном. Где-то за станцией, еле слышный в своем нарождающемся шуме, прогудел паровоз. Стекло в окне отозвалось мелкой дрожью. Раиса притронулась рукой к стеклу, оно затихло, но в этот же миг стал слышен другой, наплывающий издали звук — поезд подходил к станции. Не тот ли, с которым вчера приехала Варя?

Она вспомнила об этом отдаленно, будто не ее, а кого-то другого привез вчера этот поезд, и не она, потерянная, никому не нужная, одиноко стояла на мокрой платформе, и не ей, а какой-то другой девочке тетка-проводница кричала странные слова о счастье, которое будто бы ждет тех, кто приезжает в дождь. Нет, она вовсе не чувствует себя одинокой, и никакая она не потерянная, и никому не нужная, она все чувствует. Если рядом есть люди, даже один человек — какое же это одиночество! Такого просто быть не может. Люди должны быть нужны друг другу, для того все они и рождаются на свет. Значит, и она, Варя, хоть чем-то нужна им — Раисе, Боброву, начальнику поезда? Конечно, нужна! И они ей тоже. Вот встретила утром доброго человека, зато теперь пьют чай. Чаем и Раису напоила. А ночью, когда сама разревелась, как дурочка, разве не Раиса ее успокоила?

А то, что Раиса так ее встретила, — это, конечно, не от злого сердца, может, от давней и затененной обиды какой-нибудь. Нет, Раиса не Тамарка. Ту никто не обижал. Сама себя обидела, а злится на всех. Все виноваты. Каждый у нее другого съест норovит. С таким характером жить нелегко.

Шум поезда за окном стих — поезд остановился на станции. Варя вдруг подумалось, что в эту минуту кто-нибудь так же, как и она вчера, сходит на платформу с чемоданом, и как неуютно, наверное, ему, приехавшему человеку, стоять там, на платформе. А может, наоборот: кто-то спешит по черным, скользким доскам платформы к вагону, протягивает билет. А потом устроится в купе у окошка — и поминать как звали!

— Эх, дуря я, дуря! — Раиса решительно шагнула от окна, бросила на кровать халат, потянулась за выгоревшей старенькой ковбойкой, висевшей у окошка на гвозде. Стала одеваться. — Коляка Берчак вчера с собой звал. Уезжать собрался. А я кобенилась. Не нужны мне, видите ли, мужики, все они, видите ли, одинаковые... Может, оно и так, может, они и верно не стоят того, чтобы куда-то там за ними тащиться. Но вот привыкла к нему, паразиту. А теперь вон он, — она кивнула головой на окно, в сторону станции, — небось, забрался на полку. Не бежать же следом.

В эту минуту Варя, торопливо перемывая стаканы, мысленно примеривалась к своей будущей одежде, которую подсунил ей Бобров, и заранее боялась увидеть себя нескладной и смешной, этаким чучелом огородным. Она успела подумать, что не будет влезать в эти огромные сапоги, а выйдет на работу в своих красненьких, что было поменьше сраму. Ну, а робу можно потом приладить — кой-что подогнуть, ушить.

Неожиданное — скорее для себя самой, а не для Вариных ушей — Раисино признание вдруг подхлестнуло Варю. Еще не зная, как и что надо делать и надо ли вообще, она, бросив на стол мокрую тряпку, метнулась к двери, но тут же вернулась, схватила свой плащ и опять устремилась к выходу.

— Эй, куда ты? — Раиса успела крикнуть вдогонку. — Да погоди же, вот человек.

Уже в тамбуре Варя задержалась, оглянулась с порога.

— Куда, говорю, полупила?

— Как куда? На станцию, к поезду... Я задержу его, вот увидишь. Я успею.

— Да кого, поезд, что ли?

— Да нет же — этого Берчака. И не надо ему никуда уезжать. Ни тебе, ни ему не надо. А вагончик я освобожу, пойду к начальнику и попрошусь в другой, их много, а вы живите себе...

Все это она выпалила скороговоркой, готовая тут же броситься с места. И только теперь Раиса поняла, ради чего сорвалась эта сумасшедшая новенькая и зачем ей понадобилось бежать на станцию. Стояла перед странной, чудной девочкой, глядела на нее и не знала, то ли смеяться, то ли плакать. Все было непонятно, необъяснимо.

«Неужели, — подумала Раиса, — она и в самом деле побежала бы? Вот чудачка!»

Она не засмеялась, и не заплакала. Только покачала головой, как будто сожалела о том, что все это не шутка, что в самом деле живет на свете вот такой чудной человек, готовый сломя голову бежать, догонять кого-то, и при этом быть уверенным, что кому-то это очень нужно.

— Брось, чудачка, — сказала она, — не гони лошадей. А разговор этот, ну, то, что я тебе тут сдурю брякнула, забудь. Мужиком больше, мужиком меньше, какая разница. В прошлом году, под осень, я в мостопоезде работала, один полковник, вот такой мужик, отдыхать на юг ехал, а мы как раз на том пути работали, где тот южный поезд остановился. Ну, он увидел меня и вроде как влюбился, знаясь, с первого взгляда. Стал с собой звать. Кроме шуток, при всех. Девки меня затопикали: поэзжай, Документы, мол, за тобой вышлем... Бросить лопату и — привет из Сухуми! Не поехала... Потом все думала, дура я была или нет, до сих пор не знаю. Тебя вот тогда не было, а то бы ты мне живо того полковника догнала. Ну, ладно, хватит... Шутка! Собирайся давай да пошли. С нашим дружным колхозом тебя познакомлю, бабы мировые...

Варя стала торопливо прикидывать на себя одежду. Кто-то еле слышно поднялся в вагончик, а потом мальчишеский голос позвал из-за дверей:

— Теть Рай, мамочка просила сказать, что она с обеда выйдет, ей опять нездоровится.

Варя открыла дверь: в тамбуре стоял ее вчерашний знакомый, мальчишка-скороход.

— Что, неважнец с матерью? — спросила Раиса. — Пусть бы и вовсе не выходила. Скажи, обойдемся... А вечером, скажи, заглянем.

— Да не, ничего, — торопливо ответил мальчик, — у ней это всегда с утра голову кружит, из-за погоды... И со знанием произнес: — Давление.

— Да, — Раиса надевала свою робу, — погодка нынче дрянь, когда только это кончится.

— Дядя Коля сказал, по радио обещали. Он сам слышал.

Раиса насторожилась.

— А где ты его видел?

— А там, — Сашка махнул рукой на дверь. — На котлован шел, к крану.

— Слышь? — Раиса взглянула на Варю. — Ведь остался, паразит. — Она мстительно засмеялась. — Нет, мужики без баб никуда, а бабы... Хоть на край света! Верно, Сашка, говорю?

— Верно, — согласился Сашка.

— Ну, Варюха-копуха, готова?

Варя стояла посреди вагончика в серой робе и в самом деле была похожа на огородное чучело.

Рукава, точно пожарные штанги, свисали. За длинными полями не видно было и красных резиновых сапог. Сначала Раиса, а потом и Варя, обе захохотали.

— Ну, Бобров, ну, паразит, удружил обновку.

Из соседней половины вагончика на смех пришли соседки — Вера по прозвищу Большая и Надя по прозвищу Маленькая, тоже посмеялись.

Потом Раиса заставила Варю снять все это барахоло и приказала надеть свою робу. Варя отказывалась. Раиса рассердилась. Пришлось согласиться.

— Мне не страшно, — сказала она, — меня и так все боится.

И они пошли на работу.

10

«Мамка, мамулька! Пишет тебе дочь твоя разбедниственная. Вот скажи мне, ведь ты любишь меня? Правда, любишь? А если любишь, то и веришь. Поверь, мамка, со мной ничегошеньки худого не произошло, чтобы ты там изводилась за меня. Поверь и не спрашивай пока ни о чем, отчего и почему. Я и сама толком не разберусь. А вот разберусь, сразу и напишу тебе обо всем. И даде Федору и Сергею Антоновичу накажи, чтобы не думали там ничего такого».

Мой адрес на конверте — это никакая не ошибка. Это моя станция, я теперь здесь живу и работаю, сюда и пиши. С институтом, мам, я пока отложила. Нет, не совсем. На год. Он не уйдет. А пока я называюсь рабочая строительно-монтажного поезда № 218.

А знаешь, что мы делаем? Электрифицируем железную дорогу Ты бы знала, какое это важное дело, почти такое же, как электродойка в колхозах, а то и поважнее.

Обо мне, мам, ты можешь вовсе не беспокоиться. Устроилась я хорошо, да и люди кругом все хорошие.

Живу я в вагончике с одной женщиной, зовут ее Раисой. Ой, мамка, ты бы видела, какая она красивая, просто как в кино! Есть же такие! Хороший человек, добрая, хоть с первого взгляда и не очень. Красивую, мам, нельзя быть уж очень доброй, надо оберегать свою красоту. Вот она, наверное, и оберегает.

Вчера утром мы с ней ухотохались. Мне комедант, Бобров его фамилия, и я тебе напишу потом о нем, принес сплюскалку, робу такую и сапоги, здесь выдавать положено. Я примерила и ахнула, ну точно как полугай. А Раиса сказала, что от меня на чулочки, это она железную дорогу так зовет, все паровозы шаркаются будут, а люди и подавно. Заставила меня снять наряд и сама его надела, а мне свой, поменьше, отдала. А сама, мам, и в таком наряде хуже не стала. Есть же такие люди! А про Боброва она сказала, что он всегда так с новенькими, даст какую-нибудь драпанскую спланскую и ждет, когда другую, получше, просит к нему придут. А обменивать известно как. Как у нашего конюха лошадей упорить — все за бутылку. Но, наверное, Раиса шутит. Бобров, мне кажется, не такой. Какой-то он пришибленный, это точно, и ему как будто ни до кого.

Ты уж догадалась, может, что это такой, Бобров. Он наш, из Кузьминки. Сам мне признался и даже обрадовался сначала. Ну, а я ему возьми да скажи: мол, не тетки ли Поляны, почталонши нашей, он

пропавший муж. После этого он сразу насупился, будто не признает или не замечает. Думает, наверное, что я про него тетке Полине напишу. А зачем я стану писать, пусть сам как хочет. И ты, мам, тоже ей не говори ничего, а то она расстроится там раньше времени, а он окажется и не тот Бобров, а другой какой. Может, были у нас в Кузьминке и другие Бобровы.

Ну, вот, а в другой половине нашего вагончика живут еще две девушки. Обе постарше меня, но помоложе Раисы. Зовут их Вера и Надя. Вера высокая, и все зовут ее Большая, а Надю, наоборот, — Маленькой, потому что такая и есть, меньше меня. Они очень дружные, на стройку вместе приехали и здесь всегда вместе — в столовую и в кино. Раиса про них говорит, что им на двоих всего хватает — и веры и надежды, вот только любви не хватает. Смеется, конечно. И девчата не обижаются на нее, знают, что шутит.

А в другом вагончике, рядом, живет семья. Жену зовут Елена Георгиевна, женщина уже пожилая, наш бригадир, и у нее сын Сашка. Ему шесть — седьмой, а он совсем взрослый. Отца их я еще не видела, потому что он работает на другом участке дороги, тоже строителю, тоже бригадир. Елене Георгиевне часто нездоровится, особенно когда порабатает вагонку, и мы ей не даем так работать много, а она на нас сердится. Да что вы, говорит, девчонки, я еще всем вам нос утру. У меня, говорит, закалка... Насчет закалки это верно. Они с мужем уже много лет на стройке. Сначала вдвоем ездили, куда он, туда и она. А теперь вдвоем, с Сашкой. Тетя Лена говорит, что у них с мужем любовь не земная, а на колесах. Раиса усмехается: какая, говорит, любовь — сыну уже седьмой год. Одни колеса, небось, от любви остались. А тетя Лена ей: нет, вам, молодым, говорит, не понять, вы и по земле-то ходите торопясь, будто от любви своей убежать хотите. Оглянитесь, а ее и нет... А мы, говорит, хоть и на колесах, да не так спешим — то там, то здесь на земле отметину о своей любви оставим. Бывает, переездаем с одной стройки на другую, сидим, поглядываем в окошко — то станция промелькнет, то полустанок, — все нашими руками построено, — смотрим и подталкиваем друг друга: а это помнишь, а это не забыл? Разве, говорит, забудешь? А ведь и правда, мам, если вдуматься, сколько может она сделать на земле, настоящая-то любовь!

А вообще мы хотим сходить к начальнику и попросить для тети Лены работу полегче. Начальник, вроде нашего Федора Васильевича, пойдут навстречу.

А к тебе, мам, просьба: пришли для тети Лены баночку меда, нашего, николюского. Сходи к пасечнику Егору и попроси свежего, он даст. Говорят, при давлении повышенном мед помогает. Это первое.

А второе — сапоги. Там, на повети или в чулане, в старом сундуке, валялись мои резиновые, помнишь, я еще в них по весне в школу ходила в пятый и шестой класс, разницы их и пришли, а то Сашка ходит в таких сапожках, что заплетается на каждом шагу. А парень забавливый, когда мамке невмочь, сам в детскую бегает, поесты приносит. Надо бы в стеловый сад его, в посылке есть, но он от мамки ни в какую, все дни торопит, суббды жде — на выходной к ним папка, дядя Костя, приезжает.

А вообще народу на стройке много, и обо всех не рассказав, да я и знаю-то еще не многих. Оказываются, кроме нашего строительно-монтажного поезда, тут есть и еще несколько таких же, и еще мостопоезд и энергопоезд, и у каждого свои дела. Мы

же самые главные, потому что с нас все начинается. Котлован под фундамент подстанции наши роют, траншеи для кабелей связи копаем мы, и опоры, на которые провода будут подвешиваться,—тоже мы. И еще новые платформы на участке—тоже наша работа. А уж потом, когда все это будет сделано, электромонтажники пойдут, будут монтировать оборудование на подстанции, тянуть над линией провода.

Вчера мы весь день копали траншею. Наша бригада, двадцать человек, разделилась. Одних увезли к следующей станции, и они ведут траншею к нам навстречу, а мы к ним продавигаемся. Где-то встретимся.

Работа обыкновенная, мудреное ли дело—землю копать. Бобров нам рукавицы выдал. Правда, с привычки сегодня с утра спину поламывает, как, знаешь, на сенокосе, когда намахаешься в первый день граблями, а потом разойдешься. А работать весело, с Райсой не соскучишься, она острая на язык, вроде нашей Скуриды, только все это так, для общего веселья, для подъема духа. Вчера мы работали на траншее, а мимо маневровый паровоз идет, гудит-заливается. Это у машинистов здесь манера такая, вроде как приветствуют, увидят девочку и давай гудеть. И вот это тоже высунылся из окна, а Райса ему кричит: «Эй, чумазики, когда в баню-то соберешься, позови, я тебе щечки ведро принесу, оттирать буду». А он и правда черный, как трубочник, ну, мы все в хохот, конечно.

Потом в столовую ходили. Это в поселке, за станцией. Далековато от вагончиков, но ничего, и кормят нормально. Ели борщ на мясном бульоне и рагу с рожками.

В обед к нам Сашка прибежал, сидел рядом с матерью, пилась. Его у нас все жеником зовут, а он сидит, сопит над тарелкой. Я у него спросила: «Саш, а кем ты будешь, когда вырастешь?»—а он мне и говорит: «Крановщиком. Как дядя Коля». Есть тут у нас один крановщик, собирался уходить со стройки, но что-то все не уходит. Может, раздумал, не знаю.

Мам, а у нас тут подождило несколько дней, но теперь, кажется, развидневается, и прогноз обещает хороший, так что ты там шибко не охай, плащ у меня есть, рабочая одежда тоже, а к зиме, говорят, теплое дадут, теплогретьки и валенки. А там уж и весна скоро. Отстроимся мы на этой станции, а другую без меня будут строить. А потом, когда пустят электропоезда, мы с тобой, мам, съедим и поедем давай куда-нибудь, далеко-далеко. Хочешь—на юг, хочешь—на восток. Ты же нигде у меня не была за всю жизнь дальше Калинин. А знаешь, как это интересно—ездить по стране! Вот тетя Лена уже столько объездила и попидала на своем веку! И мы с тобой тоже возьмем и махнем, куда захотим, и я покажу тебе нашу станцию, она к тому времени будет совсем другая.

Ох, и разговорила я с тобой! Буду кончать. Писать обещаю часто, буду рассказывать обо всем, так год и пройдет. А там в институт поеду. И ты дяде Федору скажи, что не поведу я его, и никого не поведу, потому что я всех вас очень люблю.

Только как ты там обойдешься без меня с картошкой, упавшишься ли? Сама не загружайся, позови из наших кого-нибудь, Вовку Абрамова с ребятами, они помогут.

Мам, а пойдешь на могилку к папке, поклоняйся ему, и зайди к деду Илье, его могилке поклонись тоже.

Твоя Варюха-горюха».

Берчак остался на стройке. На расспросы, отвечая: да почему, отвечал уклончиво, посмеиваясь:

— А чо, барометр, слышь, на «ясно» повело, до холодов переканутем, а там будем посматреть...

Сведущие люди, правда, говорили, что причина не в перемене погоды, а совсем в другом—Райса отговорила. Сама с ним отказалась ехать и его удержала.

Берчака будто кто подменил. Какой уж день ходил он по стройке трезвый, как стеклышко, и по вечерам, после смеху, упорно обходил стороной станционный «баракан»—так прозвали здешний буфет его заведующий—где еще недавно по случаю ненастной погоды посиживал он с дружками-приятелями.

— Все, кранты Берчаку,—горюя, отвечали они Николаю.—Забрала баба в ежовы рукавицы, конечный человек.

А он и сам не узнавал себя: вдруг—с чего бы это?—не стало привычной легкости, и былая уверенность в том, что ему, лучшему крановщику строительного-монтажного поезда, многое позволено, что, не будь его, застопорится и зачахнет стройка, та уверенность, которую с годами приобрел он, вдруг стала изменять ему.

Было ли так на самом деле, или это только казалось Берчаку: все, даже верные дружки его, будто сговорившись, как-то странно, кто с подозрением, кто с безмолвным укором, а кто с этакой затейливой усмешкой поглядывали на него. И он по-своему читал эти взгляды-усмешки. — Да,—будто говорили они ему вслед,—вон ты, оказывается, какой, а мы-то думали...

«А какой? Какой я, по-вашему, что вам всем от меня надо?»—вдруг вступал он в молчаливый спор с предполагаемыми насмешниками и не сразу замечал, что сам с собой спорит, себе что-то хочет доказать.

Впрочем, одному ли себе?

Какой уж день вспоминается ему та история, что произошла в вагончике, в конторе у Паршина. Несладно все получилось. Нет, в чем-то он, Берчак, чувствовал себя правым, он и теперь готов стоять кулаком по столу и требовать работу, потому что не привык сидеть без дела, не привык попусту ни руками, ни стрелой своего крана размахивать—ему выны да ложь работу, ту, которую он знает и любит, а нет ее... Извините! Не к чему крановщику высокой квалификации сидеть без дела, когда где-то в другом месте, на другой стройке ждут не дождутся такого, как он. Нет, уезжать отсюда он не был особенно настроен. Была причина. Здесь, на стройке, Николай встретил человека, близкую душу... С ней бы, с Райсой, он поехал. Но это другой, особый вопрос, и не теперь ему в нем разбираться: что-то другое, еще более непонятное, вклинилось в его привычную жизнь и не дает покоя.

Впрочем, если честно, то не так уж и непонятно все. Вот вспомнил о том, что не привык еще руками махать, привык все делом доказывать,—так еще в детском доме приучили,—а сам не удержался... Там, в конторе, сам же руками махал, хотел взять за горло... Так все и было! И все бы, наверное, сошло, и многие опять, как прежде, подумали бы о нем: «Вот дает Коля, режет правду-матку в глаза, рубит напрямик! Молодец парень!» И снова он—в गरेको

ях. Снова прав. А тут: махал, махал и домахался... Какая-то пигалица,— он и заметил-то ее, когда уже уходила из конторы собрался,—чудачка какая-то откуда ни возьмись подлетела...

Нет, такого позора Берчак еще не переживал. Всякое в жизни было, но такого...

Тогда же, выйдя из конторы, за дверью которой еще раздавался громкий смех («А ведь надо мной, паразиты, смеются!»), Берчак сначала решил изменить свое намерение: вместо того, чтобы пойти к Раисе и потолковать с ней по-серьезному насчет их совместного отъезда, он в расстроенных чувствах завернул в «Барабан».

Зачем ли молва разнеслась быстрее скорого поезда, то ли кто-то из свидетелей его позора уже успел опередить Берчака, только Николаю вдруг показалось, что даже здесь, где он всегда был желанным гостем, об этом все знают. Он еще порог не переступил, а кто-то, поднимаясь из-за дальнего столика, заметил его и крикнул:

— А, Коля, прошу, прошу! Надо замочить это дело!

У Берчака даже дыхание перехватило, он не нашелся, что сказать. Однако успел подумать: «Какое такое дело надо замочить, на что он, гад, намекает?»

И, развернувшись в дверях, зашагал от «барабана» прочь.

С Раисой тоже вышло неладно. Не получился у них разговор. Берчак чувствовал, что не в ней, а в нем, в его странном состоянии, в какой-то потерянности, неспособности разобраться, чего же он хочет и от себя и от нее, и должен ли он ее звать с собой, и нужно ли ему вообще уезжать отсюда,— в этом причина. Но ничего с собой подовать не мог.

Так и ушел. И у порога, возле вагончика Раисы, встретил эту новенькую... Первое желание было: сказать ей, этой кистевке зеленой, что-нибудь такое, чтобы подхватила свой чемодан или, как говорит Юрка, его напарник, «ноги в руки и — по шпалам, до дому... Но тут он взглянул на нее, увидел глаза, большие, словно открытые нарастающую, в которых, кажется, не было ни страха, ни растерянности и ничего такого, что напоминало бы Берчаку о случившемся полчас назад, в конторе. Это его и сдержало. И он, кажется, даже поговорил с ней и даже чемодан ее подтащил к порогу.

Но дома, в вагончике, ему не сиделось: он все что-то порывался сделать, чем-то разогнать свое странное состояние, когда вдруг сам себе становился противен, но ничего путного придумать не мог. А тут еще Юрка, напарник, подвернулся, что-то спросил у него насчет отъезда,— мол, правда ли? — но Николай так на него поглядел, что тот подхватил свой плащ и убежал куда-то.

Берчак полежал на не убранной с утра постели, покурив, глядя в потолок... И все это время, пока лежал, курил и думал разное, виделось ему одно и то же — большие, распахнутые глаза той девчонки.

Давнее, неулловимое воспоминание, что-то связанное с его коротким детством, с жизнью в детском доме рождалось в нем под этим немигающим, открытым взглядом. Как будто не она, не эта девчонка, а кто-то другой глядит на него отсюда, из его давнего детства. Все забылось, остались только глаза, взгляд той девчонки... Доверчивый, удивленный и радостный... Нет, не радостный... Берчак лежал и вспоминал: какой же он был, тот взгляд, что было в нем особенное, главное, что теперь так хочется вспомнить! Ему казалось, przypomni on это, тут же вспомнит и что-то очень важное. «Я, кажется, сделал тогда что-то хорошее, вроде кому-то что-то отдал... Ну да, точно, отдал что-то-то...»

И все вдруг вспомнилось...

Он эвакуировался с матерью и младшей сестрой. Ехали в товарном эшелоне. Куда все, туда и они. Лишь бы подальше от бомбежек, от взрывов. А бомбежка их догнала.

Он помнит, как дрогнул их состав, как один за другим ухнули рядом взрывы, как жарким пламенем запылали их вагоны... Из вагона, сбивая друг друга, прыгали на землю люди. Кто-то поднимался, бежал прочь от вагонов, кто-то падал и больше не вставал... Последние слова матери он помнит и теперь: «Коля, беги к лесу, не теряй Аленку!» Аленку, трехлетнюю его сестру, подхватила на руки их соседка по вагонным нарам, женщина одинокая и добрая, которая будто затем и двинулась в эту трудную дорогу, чтобы не себя, а других спасти.

Потом мать упала. Он хотел вернуться к ней, поднять ее с земли, помочь, но кто-то толкал его от вагона, подгонял к лесу, и он бежал вместе с другими и падал, когда над головой с жутким, прижимающим к земле воем снова и снова проносились фашистские самолеты.

Трое суток он бродил по незнакомому лесу, искал женщину, которая унесла Аленку, кричал, звал сестру... И заблудился.

Потом был детский дом. Сотни таких же, как он, мальчишек и девчонок со вчерашним, еще не пережитым ужасом в глазах. Были и совсем маленькие, такие, как Аленка. Но ее среди них не было.

Коля был постарше да и покрелче других мальчишек в детском доме. И это многое решило! Он верховодил. Не ущемлял, не подавлял их в правах, но и своими правами верховода дорожил: ему нравилось быть на виду.

В голодные военные годы, когда с питанием в детском доме было не густо, их, старших мальчишек, воспитатели то и дело отпускали летом в лес: за шпалами, за ягодами, за грибами... Брали и всякую другую съедобность — то корешок откоплют кислый, ту травку мятную пожуют. Но это для себя. А ягоды грибы — для всех. Тягчайшим, несмыслимым преступлением считалось, если кто-то из сборщиков, смалодушничав, пронесет мимо корзинки и положит в рот хотя одну ягоду — свои же и не простят.

Николая однажды черт попутал: очень соблазнили тельно краснела на солнышке земляничная поляна и каждая земляничина размером с клубнику, что росла до войны в их огороде перед домом, так и просилась в рот. Оглядевшись по сторонам — не заметит ли? — он присел за кустом и одну за другой стал срывать ягоды и отправлять в рот...

А потом, припав к лесному ручью, пил воду и по лоскал рот — думал, что так скроет следы преступления.

От других как будто скрыл, а от себя куда же де нешся? И хоть из леса возвращался с корзинкой полной ягод, чувствовал он себя не в своей тарелке. Ему казалось, что мальчишки, все до одного, подо зрительно посматривают на него. «Неужели подглядели? — в страхе думал он. — Вот придет в детдом — всем расскажут».

И он снова украдкой вытирал ладонью свои губы и сам себе придумывал суровую казнь.

От своей доли пирога с земляничным вареньем он отказался — отдал девчонке из младшей группы, к той же чем-то напоминала ему сестренку. Сладкие минуты пережил тогда Коля Берчак — пожалуй, слаще пирога с земляничным вареньем. Из-за стол глядела на него маленькая девчонка, огромные глаза ее будто спрашивали: «Неужели и правда мне не обманешь, не отнимешь?»



И кто-то еще,— наверное, воспитатели, а может, повара, а может, все, кто был в это время в столовой,— кажется, глядели на него и говорили ему какие-то хорошие слова.

Потом он успокоился, перестал казнить себя, а скоро пришел к неожиданному открытию: всякую вину, наверное, можно искупить каким-то хорошим, добрым поступком.

Но нет-нет и вспоминалась ему та девочка, кто, как смотрела она на него, и веря ему и не веря. И ему было особенно неуютно от этого взгляда.

...И вот опять это ощущение вины не вины — какой-то неловкости, неуверенности, ощущение, что кто-то видит тебя насквозь. Каким-то странным образом два разделенных столетиями годами события вдруг сошлись воедино, в одно и то же, в одно и то же, который все эти годы будто следил за ним и спрашивал: «А не обманешь? А он вдруг обманул... Да, обманул. Как тогда, в лесу: в него верили, а он...

Впрочем, нет. То, что было тогда в лесу,— это цветочки, а ягодки, вот они, теперь... И никаким пирогом с вареньем тут не откупишься.

Оставаться в вагончике и думать так, лежа в постели, Берчак больше не мог. Он поднялся, закурил. «А может, правда уехать? Смотаться на другую стройку, и дело с концом. Да и что, собственно, случилось? Кто может помешать мне жить, как я хочу, как приведу?.. Захочу — уеду, захочу — останусь. Мне легко».

Он еще о чем-то спорил сам с собой, но уже знал, что нигуда не уедет. Не сможет уехать. Далеко ли уедешь от себя?

В тот вечер Берчак снова заглянул в «барабан» и там с позволения знакомой буфетчицы раскопал на мелкие досочки четыре тарных ящика из-под «плодово-ягодного», а потом, собрав дрова в охапку, прыжком направился к дальнему, двенадцатому, вагончику. Шел и бормотал в задумчивости: «Вот так-то! Такие, слышь, пироги!»

12

Паршин тоже заметил перемены в поведении Берчака, но истолковал причину по-своему. В то утро после случайной, хотя и задуманной наперед встречи с Варей, он с необычным для такой дождливой погоды приподнятым настроением, уверовав в то, что и дальше, на весь день, каким бы он был, у него хватит сил удержать в себе это неведомое откуда пришедшее ощущение тихой, утренней радости, решил зайти к Берчаку. Зная его заносчивый характер, Паршин приготовился к тому, что тот, как и вчера, не упустит, наверное, случая поломаться перед ним, но почему-то верил, что сумеет договориться. Конечно, Паршин вчера был неправ, вел себя как капризный купчишко со своим привередливым приказчиком: не угодно, мол, у меня служить, поиди где получишь... Принципы, видите ли, у него — никого не неволить, за штаны не держать. А что строите от этих принципов? Людям-то угодить! Так можно и пробраться...

Да и Берчак наломал дров, и его Паршин не намерен по головке гладить, а вот поучить уму-разуму не мешало б. Впрочем, и без него нахлещ, преучили... Эта Варя-Варюша так дала ему по мозгам, почиче всякой беседы, покрепче лекции...

Поднимаясь в вагончик к Берчаку, Паршин снова, в который раз не без удовольствия вспомнил вчерашнее: тот хохот, который стоял в конторе, и смущенную физиономию краповицки. Подумал, что та-

кую обиду Берчак и ему, наверное, не простит, но улыбки своей сдержать не смог. Так, улыбаясь, и появился на пороге.

— А, вот и начальство! — бодро приветствовал его краповицки.

В трусах и в майке Николай сидел на постели, в руке у него жужжала механическая бритва, а на столе, на самом краешке, примостилась кусочек зеркала. Берчак в него не глядел, брilsя вслепую. Поприветствовав Паршина, он остановился брито, сказал в своей обычной шутовской манере: «Для проводов высокого гостя был выставлен почетный караул, а в воздух, слышь, чепчики бросали».

Напарник Николая, Юрка, смешливый, тощий парень, только что проснулся, но тут же, наставив уши на любопытно начавшийся разговор, фыркнул в постели.

Николай, играя крутыми бицепсами, подкротил завод бритвы, поглядывая снизу вверх на Паршина.

— Не будет тебе караул, Берчак,— Паршин по-прежнему улыбался, как будто оценил шутку Николая насчет чепчиков и тоже был не прочь пошутить. — И этих самых чепчиков бросать никто не будет. — Он полез в карман за сигаретами, вынул из пачки одну, для себя, а пачку бросил на кровать Юрке, который шарил рукой у себя под подушкой, похоже, искал свои. — А будет тебе,— Паршин закурил сигарету и, глубоко затянувшись, пустил в потолок дым,— будет тебе, Коля, наше общее презрение...

Тут он занулся, потому что совсем не так собрался повести разговор, и с первых слов, с этой легкой улыбки ему казалось, что он взял верный, доверительный тон и, выдержавая его, хотел сказать совсем другое — не о презрении, а об уважении... Мол, будет ему общее уважение, если в трудные для страны дни он не оставит ее, а вместе со всеми... Но что-то выбило его из этой гладкой колеи и почесало по колючкам, и теперь надо бы суметь: как бы вовсе не испортить дело. Нет, неважничая, он, видать, руководитель, если поговорить с человеком по душам не умеет. Но отступать было некуда, и Паршин после короткой заминки пошел рубить сплеча.

— Да, да, чего ты на меня смотришь, и тебя и нас всех презирать будут за то, что мы такие вот...

— Это какие ж такие? — будто за всех обиделся Берчак.

— А вот такие! — Паршин вошел в голос. — Такие, что не с каждым из нас, колы надо, в разведку можно идти.

— А-а-а,— ухмыльнулся Берчак,— знаю, сейчас спросишь: «А если б ты вез патроны?» А я тебе, начальник, так скажу: будет надо — повезу... Понял? И в разведку куда хочешь поиду, если надо будет, и ты меня, начальник, не позорь... А сейчас совсем другое дело — мирные дни, будни трудовые...

Напарник довольно захихикал в постели.

— Ну, брат,— Паршин посуровел лицом, волнуясь, пригласил пальцами сигарету.— Не хотел, не скажу, хоть все вы и шибко грамотные, да очень уж нервные стали. В сорок втором, когда вот по сих прои,— он прочертил ладонью под подбородком, — в ладонь воде стоял и ставил крепи, чтоб танки наши прошли, я знаешь о чем думал?

— О чем? — Это Юрка спросил. Николай промолчал.

— О том, какой мост можно построить после войны на этом месте и какие красивые люди будут по этому мосту ходить и ездить. И вы два дурака тоже...

— Ну, ты даешь, начальник! — не удержался Николай.— Где же логика? Мы у тебя красивые, мы же, слышь, и дураки?

— Это я тогда думал, что вы будете красивыми и хорошими.— Паршин усмехнулся примирительно.— Тогда все вы хорошими казались, как и вся мирная жизнь, а теперь вижу, что дураки.

— Это точно,— согласился Юрка,— дураки и есть. Я и то Николаю говорю, какие мы дураки, что сразу на мостопоезд не устроились, строили б мосты, там лучше платят.

— Заткнись ты, сапер,— вдруг резко прервал напарника Берчак. Он сидел перед Паршиным, огромный, сильный, с опущенной головой, разглядывал свою бритую «Спутник». Заговорил глухо, будто сдавленным голосом.— Ты, начальник, мне в морду войной не тычь, ему можешь, он послевоенный, зеленый еще, а мне нечего... Мне война самому так, слышь, ткнула... С тех пор ни отца, ни матери. И кончен разговор. А проводы и так отменяются, аэродром залета не дает. И вообще, слышь, мы везде, где нужно, мы не подведем. Броюсь и выхожу на кран. А поздравления — за счет аванса.

— Петр Владимирович,— Юрка, обиженный окриком Берчака, скривился в мстительной улыбке,— а знаете, из-за чего Никола застопорил на стройке?— Он опасливо похлопал на Берчака.— Из-за деви, ну этой, новенькой, которая ему глаза чуть не выпарывала. Все думают, что из-за Раисы, а он, ха-ха-ха!.. Он у нас такой.

Резиновый сапог глухо ударился о стенку вагончика над Юркиной головой. Берчак горой надвинулся на напарника.

— Ну, мужики! — остановил его Паршин.— Мордобой мне не хватало.

Берчак остановился, брезгливо взглянул на Юрку, сказал:

— У нас в детском доме таким, слышь, темную устраивали. Иди, начальник, спокойно, мордобой тоже отменяется. До другого случая...

Из вагончика Паршин вышел озадаченный, так и не поняв, что же в конце концов удержало Берчака на стройке: его ли, Паршина, беседа или то, другое, о чем брякнул напоследок дурашливый напарник Николай.

Впрочем, как ни кинь, а дело сделано, и это главное. Пусть немного зашло Паршина в разговор, пусть погорячился он, но так-то, пожалуй, вернее, когда от души.

13

П о вечерам Берчак заглядывал в вагончик к девицам, но долго не засиживался, не находил разговора. Однажды, на второй или третий день, принес бутылку, предложил выпить за свой несостоявшийся отъезд, а заодно и «новенькую обмыть». Но Раиса так глянула на него, что он тут же, запрявляя в карман бутылку, ушел и долго не показывался с тех пор.

Сама Раиса ходила странно тихая, задумчивая, с соседкой своей была ровна. Но что-то тяготило ее. Похоже, она сожалела, что в то утро, изменив себе, была так откровенна с Варей, открылась перед ней, душу свою изливая стала. Такого до сих пор не было, а тут вдруг потянуло. Могла бы и больше наговорить, да удержалась, спрятала за привычной грубостью душу свою. И девчонку пожелала: молодая еще. Пусть лучше книжки читает, в кино ходит. Там все, как надо, там если и неправда, но похоже, как в жизни. В жизни другой раз не сообразишь, как и

что,— в кино там все ясно. Где хорошо, а где плохо: учиться, как жить, граждане.

Однажды она попробовала, как это в жизни... Больше не хочет. Молодая была, глупая, в техникуме училась. На вечера ходила, танцы любила страсть. Ну, и кино, конечно. Особенно про любовь. И все загадывала себе, как у самой это будет. Все, наверное, это загадывают, и все хотят, чтобы у них было не просто, а как-нибудь по-особенному, красиво.

Так и было. Он появился на вечер, высокий, красивый, неизвестно кто, неизвестно откуда. Как уж там получилось, Раиса и сама не поняла. Слово по тайномуговору, отдавая Раисе первенство за ее красоту, девчонки одна за другой подбегали к ней и, возбужденные, шептали заговорщицки: «Ой, Раиска, гляди-ка! Ну, Раиска, держись! Пропала наша Раиска!»

Они сразу нашли друг друга в этой шумной толпе. Он пригласил ее танцевать, но во время первого танца не успел сказать ни слова — так быстро кончилась музыка. В ожидании следующего танца они стояли рядом у окна, и он так и не выступил ее руки из своей, и Раиса вовсе не было неловко от этого их взглядами.

Они еще танцевали, а потом он сказал, что спешит на поезд, что очень сожалеет, но нужно уезжать. Он инженер, москвич, недавно окончил институт, и в этот город у него была командировка, теперь она кончилась. Приятель затащил его на час в техникум и вот...

Рае захотелось его проводить, она сказала ему об этом. Он обрадовался.

Потом они стояли на вокзале возле вагона, и, так же, как там, на вечеру после танца, он держал в своей руке ее руку, и ей не хотелось, чтобы он ее отпустил.

Он писал ей письма. Дай бог каждой, даже самой любимой невесте получать от жениха такие письма, какие он писал ей тогда. А скоро они поженились. Бросив техникум, оставив одинокую мать, она поспешила перебраться к нему в Москву. Жили в трехкомнатной квартире; родители Олега, люди обеспеченные и добрые, отдали им лучшую комнату с видом на университет. Она решила, что осенью опять поступит в техникум, будет дальше учиться.

Потом было лето, их первое лето, которое они собирались провести на море. Родители уехали в санаторий, они хозяйничали вдвоем. И вдруг — письмо от Раисиной матери: «Приезжай, нездоровится». Поехала, пообещала вернуться через три дня. А вернулась даже раньше: с матерью ничего особенного, просто соскучилась и напугала дочку. Ключ у Раисы был свой. Она открыла дверь, вошла в комнату. Цветы из своего сада привезла. Сирень. Вошла, а он не один, с женщиной...

Она положила цветы на стол и пошла прочь. Вышла в коридор, словно проплыла в вязком тумане, остановилась, вспомнила про сирень, подумала, не вернуться ли, не забрать ли ее. Почему-то не хотелось оставлять ее там, рядом с ними. Но не вернулась.

Он искал ее, приезжал туда, в ее город, приставал с распросами к матери, был уверен, что она знает, где Раиска. А мать и сама не знала. Лишь через год, опомнившись, Раиса сказала себе: «Дура я, дура! А мать-то здесь, при чем!» Написала ей письмо, все рассказала, просила не сообщать адреса Олегу, потому что с ним все кончено.

С тех пор вот и ездит на поездках, мотается по стройкам. Другие ездят. что-то ищут, получают устроиться хотят, а зачем ей это «получение»... И этого

«получше» вот так хватило, дальше ехать некуда. Все, все кругом обман. И любовь — обман и счастливая семейная жизнь тоже. И мужики — все до одного паразиты... Повидала она за эти годы ихнего брата, узнала, чего они стоят. Помани пальцем, и пойдет. Один сразу, другой с оглядкой, как бы не увидели, но и этот пойдет, она знает. Правда, сама-то она никого не манит, этого не хватало. Так идут. Зато как уже расправилась она с ними! Другой весь наизнанку вывернется, прикажи, колесом начнет ходить, и все ради одного... А она знает себя: наглядится на мерзкую рожику и — от ворот поворот. Иди, голубь, постынь, больно ты горький. И пойдет, голубчик, поджав хвост, а ей того и надо. С мистической, злой радостью думает она в эти минуты о человеке, которого любила когда-то, а теперь так ненавидит.

Об одном до сих пор жалеет, что сирень, тот букет, из дома привезенный, она там, на столе оставила. И не может спокойно смотреть на сирень. Горько.

Берчак был не из тех, на ком ей хотелось бы выместить злость свою и досаду. Он был не как другие, кого узнала Раиса за эти годы.

В первый день их знакомства, с полгода назад, он заявился под вечер к ней в вагончик и сказал: «У нас, слышь, в детдоме такое правило было — заревел, скажи, чего реवेशь. Успокоят. Так и осталось. С горя, с радости или, слышь, так, с тоски, на поезд и едем один к другому, к кому поближе. Без писем, слышь, без всяких там телеграмм. Как к родственнику. Потоскуем, порадуетесь, и лады. Можно жить дальше. Так что, слышь, а к тебе тоже без телеграммы...»

«Без телеграммы-то ладно, — ответила Раиса, — но ты бы хоть постучал, а то ввалился... детдомовский. А с чего ко мне-то, я ж не из детдома, и вообще с какой такой радости?»

«А до наших отсюда далеко, а ты, слышь, близко. Вот я и пришел».

Она хотела тут же выставить его, но решила, что это никогда не поздно. Да и парень какой-то чудной. Она смеялась, слушая его болтовню, и чувствовала себя с ним легко и непринужденно. Подумала, что если он хитер, то и она не так уж проста.

Так они сидели в тот вечер, она на постели, он напротив, у стола, на табуретке, курили, беседовали. Он про детдом свой рассказывал, про то, как долго искал свою сестру, но так и не нашел, может, и теперь где-нибудь живет она и не знает, что есть у нее родной брат.

Тогда он, смеясь, сказал ей: «Слышь, а может, ты и есть моя сестра, бываю же такие случаи. Было б здорово!»

Она рассмеялась, сказала, что такого быть не может, потому что у нее не было брата, а есть мать и отец был, недавно умер. Он согласился, естественно пожалел, а потом вдруг обрадовался, как ребенок: «И лучше, слышь, что ты не моя сестра, сестра совсем другое дело... Ты мне нравишься совсем не как сестра, слышь, а по-другому».

Раиса ничего не ответила ему, а про себя опять подумала: «То ли прикидывается дурачком, то ли в самом деле большой ребенок».

Потом он стал часто к ней приходить, почти каждый вечер, а однажды ночевать остался, и она не выгнала его.

Раз он заикнулся: хочу, мол, переехать к тебе совсем, отчего бы и нет. Она наотрез отказалась. Той любви, какая была когда-то у нее, теперь не было и вряд ли будет, а просто так жить с чело-

веком, пусть даже и с неплохим, нет, этого она не хотела. Не хотела и не могла.

Другие ухахерят, те, что прежде к ней приставали, уgomонились, и уже за это она была благодарна Николаю — за спокойствие свое, за то, что могла пожить без горьких воспоминаний о себе самой, о жизни своей незадачливой.

Но иногда все же срывалась: ругаться начнет, и тут к Раисе не подступил.

Именно в такое время Берчак и пришел к ней сказать, что уезжает, что может и ее с собой взять, если она захочет... Командант Бобров, явившийся за ним следом устраивать на жительство новенькую, угодил под конец их разговора и отчасти помог Берчаку — на себя удар принял.

Но не это тяготило теперь Раису, ни перед кем из них, ни перед Бобровым, ни перед Берчаком, она не чувствовала никаких неловкостей. Велика честь! Но вот девчонка эта, чудачка! Откуда свалилась она на ее голову? Что принесло ее сюда? Не от бед ли какой прибежала? Нет, вряд ли, молодая еще, молоде, чем она сама была тогда, когда с ней приключилось это... До настоящей беды, от которой очертя голову бежать хочется куда глаза глядят, от которой весь белый свет не мил, до такой беды у нее, видать, не дошло. Рановато. Да и добренькая она, душа нараспашку — верный признак, что не ошпарилась еще. Так, по молодости сорвалась, романтики захотела. Ох, и хлебнет она этой романтики!

Она думала так и тут же ругала себя: «Ну, и я тоже хороша, напустилась на девку, до слез запугала, гадостей всяких наплела, за Николая зачем-то грозилась... Господи, нашла соперницу! А она вон как утром разбежалась. Догоню, доставлю тебе его в лучшем виде, бери, мол, мне не надо...» Ей-богу, как в кино! А я же — страстями разным. Сама позабыла, как добренькой бы, и ее на той аршини.

Однако отказаться от себя, от того привычного, к чему приучило ее расстроившее, горько обиженное и обозленное сердце, отказаться так сразу она не могла и потому говорила себе: «А может, так и надо! Может, лучше, если всегда вот так жить, оценявшись, не нараспашку. Не торопиться, как я когда-то. Жизнь — это жизнь, а кино — это кино. Там пленка, она все выдержит, а на своей шкуре попробуй...»

Но что-то, Раиса и сама это заметила, словно бы стало оттаивать в ней. Началось это дождливой ночью, с той минуты, когда она, вдруг ставшая с постели, вырываясь из полусна, не сознавая, к кому и зачем несет ее, метнулась на близкий плач, устремилась к нему, как к собственному горю, как будто со стороны услышала плач своего сердца и понеслась к нему на помощь.

Она вернулась в себя, когда рука ее уловила в темноте худенькое, вздрагивающее плечо, и сразу вспомнила все. И больше машинально, чем сознательно, желая успокоить девочку, она гладила ее волосы, трясла за плечо. Но уже в следующую минуту, когда на ум пришли какие-то утешительные слова и она стала говорить их, Раиса почувствовала странное: ей были желанны эти чужие слезы, ей хотелось, чтобы кто-то, горько обиженный, нуждаясь в ее помощи, чтобы кому-то были нужны ее слова, и она могла говорить и говорить их, и гладить рукой по голове, и умирять чужую боль, чужую обиду.

Когда-то, несколько лет назад, как ей самой хотелось, чтобы кто-то добрый и сильный пришел и утешил ее и поделился с ней тем, что так скоро, в один день, ушло от нее — и верой своей и надеждой! И добротой. И вот теперь таким челове-

ком — не для себя, а для другого — становилась она сама.

Нет, будто бы ничего не изменилось с той ночи. И сама себе Раиса казалась прежней, и другие, кто знал ее, не видели особых в ней перемен. Но то, что слабым угольком затеплилось в ней в ту ночь, еще невидимо для других и еле ощутимо для нее самой, все распалось и распалось, отгревая и душу и сердце. И первой, кому досталось это тепло, была Варя. Знал она Раису другой, она бы почувствовала эту переменку, но в том-то и дело, что, сама не ведая того, Варя сумела вызвать это тепло и приняла его как должное. Ведь на добро люди всегда отвечают тем же. Так мать ее учила. Так все должны жить. И неважно, кто первый это добро сделал — ты или она тебе. Сегодня ты ей, а завтра она...

Но скоро и другие заметили: что-то случилось с Раисой. Прежде злоязыкая, она приутихла. Сроду, кажется, песни не пела, а тут вдруг первая заводит стала. Была общая радость в бригаде — траншею довели, домой на дрезине возвращались, настроение у всех соответственное, песни только и не хватаю. Раиса и начала. И песню-то какую, самую подходящую — «Забота у нас такая, забота наша простая»... Да так запела! Девчонки переглянулись и грянули все в один голос.

Бот только с Николаем у нее произошло что-то непонятное. Не разберешь, чья тут вина, по чьей причине дело расстроилось. Впрочем, было ли чему расстраиваться? Она и раньше думала об этом, а теперь начинала понимать, что настоящее чувство и не связывало их. Он не хуже других, а может, и лучше многих... Встретились два одиночки — и вся любовь...

Правда, был момент, подумалось вдруг: а что, может, и не будет лучшего, бери, что есть. Даже пожалела на минуту, что отказалась и не поехала, когда он собирался и звал ее. А теперь нет, не жалеет. Да и он, выдать, тоже. Жила одна в вагончике, удобно было — ходил, когда вздумается, а теперь...

Но теперь она не чувствовала себя одинокой и не так тоскливо было ей по вечерам: Варька скауче не давала. Тещина в кино и даже на танцы один раз заманила в поселок. Всем вагончиком пошли — и Вера, и Надя, и Варя. Ну, и ее затащили. Танцевать не танцевали, так поглазели со стороны. Своих почти не было, все поселковые.

...Как-то вечером Раиса пропала. Варя уж волноваться начала. И вдруг явилась. Варя ждала ее, чай пить собиралась. Сразу поняла: что-то случилось у Раисы.

— Ну, вот что, — отрезала Раиса с порога, — поштуквали мы с тобой, посекретничали — хватит. Не жди нам, Варюха, под одной крышей. Ты как хочешь, а не жить. Или ты отсюда, или я... Лучше ты...

Варя глядела на Раису растерянно и не узнавала ее: та, прежняя, злая и решительная, готовая обидеть кого угодно, говорить злые слова, опять стояла перед ней. Тот же холод в глазах.

— Я уйду, — тихо сказала Варя. Она и так не раз задумывалась об этом, считала, что так будет лучше Раисе и Берчаку — поженятся, будут жить вместе. Но почему эта злость, эта холодность? Почему так сердится Раиса? Варя тут же полезла за чемоданом, готовая собрать свои вещи и идти к Боброву, просить, чтобы он переселил ее в другой вагончик. — Я уйду, ты, пожалуйста, не беспокойся. И не сердись.

Да погоди ты, куда на ночь-то. — Раиса как будто опомнилась, взяла себя в руки. — Я вообще

говорю, нельзя нам жить с тобой под одной крышей. Для тебя же, чудачка...

Варя продолжала укладывать вещи в чемодан. Ей не хотелось уходить, но она твердо решила — уйдет. И не завтра, а сейчас, сию минуту. Но что-то насторожило ее в последних словах Раисы, чего-то она не понимала.

Раиса заметила Варину замешательство. Скомандовала:

— Садись. Сядь и слушай. — Сама села на свою постель, для Вари выдвинула из-под стола табуретку. — Вот так. Сегодня тебя не было, пришел ко мне этот, детдомовский, знаешь, о ком говорю... Поговорить, видишь ли, ему надо. Поговорили. — Она хлопала себя по бокам — нет ли сигарет в кармане, но сигарет не оказалось, и Раиса досадно махнула рукой, скорее сожалея не о том, что ничего закурит, а о том, что разговор этот затеяла. — В общем, не может он, видишь ли, со мной, как прежде, что он не такой, что ему надо о чем-то подумать. В общем, горюдило что-то, паразит, оправдывался... Господи, ребенок малый! Раньше, видишь ли, мог, а теперь... Подумать захотел. А чего тут думать? Будто я не вижу, как он на тебя глядит. Крутит, вертит, а сказать не может. В общем, из-за тебя он затеял эту канитель. А признаться боится. Как же, сумеи поди: к другой через тот же порог...

Варя, потерянно опустив голову, сидела перед ней и ушам не верила. Не хотела верить. Что-то не так было в словах Раисы, что-то Раиса, может быть, и сама не понимала. Говорила, как подумалось, сгоряча.

— Ну, слушай дальше. — Раиса успокаивалась и говорила с Варей, как старшая сестра. — Слушай и не обижайся, я тебе зла не хочу. Нет у меня зла ни на тебя, ни на него, паразита. Я его не держу. И никого никогда не держала. Сам пришел, сам и ушел. Но он же был у меня, понимаешь, был! Вот здесь, в этом вагончике, на этом самом месте... И как же ты будешь здесь? Теперь-то уразумела?

Теперь Варя поняла...

Она поднялась с табуретки, взяла с постели свой чемодан, захлопнула его и швырнула на пол, туда, где он прежде лежал.

— Никогда я от тебя не пойду. И никто мне больше не нужен. Понимаешь, никто!

Все это она говорила спокойно, удивляясь, откуда выдержка такая взялась, а самой хотелось броситься на постель или бежать, бежать куда-нибудь, заливаясь слезами, — так стыдно ей стало, так горько оттого, что, сама того не ведая и не желая, оказалась виновницей чьего-то разлада. Нет, что бы там ни было, она не оставит Раису, она останется с ней, и никто-никого ей не нужен. А если и нужен, то такой, которого еще нет, может быть, на целом свете.

— Гляди, — предупредила Раиса, — как знаешь. Гнать я тебя не могу и не хочу. Но не зарекайся. И вдарил уголь махнула рукой. — А, черт бы их всех побрал, давай лучше чай пить. Завари покрепче, нашего.

14

Варе часто вспоминался тот сон: как они сено убирали на луговине, она и Раиса, и как Коля Берчак у них это сено принимал. Тогда, по сеей памяти, сон чем-то тревожил ее, что-то было в нем против ее воли и разума и не так, как должно быть.

Но и обманывать себя она не умела: какая-то таянная радость осталась у нее после того сна. Осталась и, увы, живет.

Николай, каким она увидела его во сне, был совсем не таким, как в жизни. Тот, из сна, как будто давно знаком ей, словно где-то, может, даже в Никольском, она встречала его прежде и украдкой от подруг выделяла среди других никольских и кузьминских парней. Он казался ей добрым и желанным, и радостно помнилось, как он поглядывал на нее с копны, веселый, с озорным чумом, и ей очень хотелось, чтобы он на нее одну так смотрел.

Настоящий Николай был другим. Она не то что пугалась его, огромного и шумного; он словно не вменялся в круг тех людей — Раисы, тети Лены с Сашкой, двух соседок-неразлучниц, Веры и Надежды, и даже Боброва, — которые пусть не сразу, но вошли, однако, в ее жизнь, и каждый по-своему определился в ней. Для Николая же, настоящего, места не находилось — он жил как бы не в ладу с тем, другим, нереальным.

Однажды открыл себе способность различать в одном человеке двух разных, в чем-то похожих, но в чем-то и непохожих людей, Варя невольно, сама того не подозревая, пыталась силой воображения свести их воедино. Иной раз начинало казаться, что желаемое сближение вот оно, рядом и нужно совсем немного, какое-то малое усилие, чтобы тот, которого она увидела в себе, обратился в другого, зримого, настоящего, с которым она встречается на стройке почти каждый день.

Она желала этого превращения. Оно ей было нужно, а для чего — и сама не знала.

15

«**Б**равствуй, мамка-мамулька! Письмо твое получила, за что и благодарю. Я ведь знала, что ты у меня такая золотая, каких на свете ни у кого нет, и все поймешь. Письмо мне вручили в обед, но почитать его собралась, как следует, только после смены, хоть так не терпелось. Дел у нас, мамка, просто не видно конца. Погода установилась хорошая, и начесть торопит, потому что много времени упущено из-за проклятых дождей. Вот мы и гоним. На днях, как раз когда тебе письмо получила, мы довели свою траншею аж до другой станции. Встретились с девочками, которые оттуда на нас траншею эту вели, и что тут только было! И обнимались и целовались, как шальные. Утром только виделись, а все равно. Начальник поезда, Петр Владимирович, он к нам на дрезине в самый аккурат приехал, как увидел такую картину, разублаился, говорит, что мы как два фронта соединились.

И еще одна встреча была: с другого участка дядя Костя приехал, муж тети Лены, узнал, что мы добирались сюда. Не дождался выходного, стосковался, говорит. А они, мамк, и правда как влюбленные. Пока мы обнимались да дурачились, они вдвоем отошли в сторонку, за дрезину, присели на его стеганку и тихонько о чем-то беседовали. Как будто не неделю, а месяц или два не виделись. Наши все старались не смотреть в их сторону, смущать не хотели. Стояли возле дрезины, ждали. А они, как нас и нет, все говорят и говорят... Потом спохватились, и бегом к нам. Вера с Надеждой фыркнули, а Раиса так сердито поглядывала на них и сказала: «Да,

похоже, у них и в самом деле неземная любовь. Вот ведь везет людям!» А тетя Лена, как девочка,— разруганнись, глаза блестят...

Потом на дрезине домой ехали и песни пели. А письмо твое мне в столовой Раиса вручила, она на почту успела сбежать, а я пошла в столовую место занимать. И все терпела, все уговаривала себя: вот победю, приду домой, разденусь, скину сапоги, умоюсь, вытяну ноги на постели и стану читать и про дом наш вспоминать, про село, про тебя, как ты там без меня скучаешь.

И не удержалась, раскрыла в столовой конверт, сижу читаю, а село наше ну прямо перед глазами стоит. Раиса глядела, глядела на меня да и говорит: «Почитай, а то я давно ни от кого писем не получаю».

Пришли в вагончик, улеглись, ну я и почитала. А что, какие у нас с тобой от людей могут быть секреты! Ну, поругала ты меня, так ты же мать, а я дочь твоя. Но только очень я тебя прошу, не изводишь ты за меня, ты же видишь, что не одна я тут живу, а среди людей, и ты сама мне всегда говорила, чтоб не чуждалась людей, что одной всегда хуже.

В общем, прочитала я Раисе письмо, а она вдруг задумалась, глядит на меня со своей постели, а потом и говорит, что полжизни бы своей отдала, чтоб заслужить от родной матери вот такое письмо. Это она так от чувства, потому что ни сама никому, ни ей никто не пишет. Зато сегодня я только писать тебе села, а она и просит, чтоб я дела ей бумаги листочек. Дай, говорит, я тоже своей старушке напишу, как она там живет-может. Вот вдвоем сидим и пишем. Как в школе на уроке. То я призадумуюсь, в окно погляжу, то она.

Мам, а за послышку тебе низкий поклон от тети Лены и от Сашки. Она все отказывалась от меда, а за сапоги хотела мне деньги заплатить, Сапожки, спрашивала, они стоят. Ене уговорила! Сапожки пришлишь Сашке впору, он их носит и снимать не желает, хоть и сухо нынче на дворе, так и бродит в них. И от меня не отходит. Узнал, что я птиц в лесу отличать умела, все в лес со мной просится. Лес тут у нас ряздом, похож на наш, который за Акулиной гладкой, с березнячком, а когда соберешься-то, столько дел...

А с Бобровым, мам, я, выходит, не ошиблась. Теперь я и сама все знаю. А вышло знаешь как! Как-то в воскресенье зашла я к нему, дай, думаю, ему постирать, все же свой человек, да и один. Ну, пришла, говорю, мол, так и так; он сперва набычился, говорит, этого еще не хватало, сроду, говорит, сам себя обшивал да обстирывал. А сам, вижу, ногой какую-то одежду, рубашку, что ли, свою, торк да торк под кровать. Ну, я ему и приказываю, скидавайте, мол, что можно, и нечего, а сама пошла за ведром да за водой. Являюсь, а он уже ворох белья на табуретку уложил, сам стоит в пиджачишке на голом теле, смешной такой.

Пока стирала, он у окошка сидел, покуривал и все поглядывал на меня, а я вижу, что-то споспешить сказать хочет. А потом вдруг и говорит: а я ведь, дочка, с твоим батюшкой Берлин брал, по самому рейхстагу ихнему из пушки шархал, и нас, говорит, обих вместе с твоим папкой там под самым концом приложило, все, говорит, по домам, для всех победа, а нас обих в лазарет. Так и двигались поближе к дому, подсобляя друг дружке, и домой вровень пришли, в днях разница.

Все сокрушался, качал головой, когда про нашего папу вспоминал, говорил, что не папке, а ему, шагнув беспутному, надо бы вперед помереть, так бы, мол, справедливее, а то раны в одном бою получи-

ли и лечили вроде одинаково, а папкана смерть обскакала. И все равно, говорит, он папке нашему завидует, потому что не маяла его послевоенная судьба так, как его, папка наш жил и дело свое знал хорошо, зато и помер на родимой земле, где отцы наши и деды похоронены, а он вот и не чаёт, где помянуть придется и какие люди будут справлять его, когда вернее настанет. Совсем он загрустил со своим воспоминанием, ну, а зазлась его успокаивать, равно и мол, ему про это, а он машет рукой: мол, чего там, ему про все лучше знать.

Тут я не удержалась, спросила, а почему же он из дому-то тогда уехал, почему не вернется, если тебе на стороне, работы, что ли, у нас там нет, во сколько же ты теперь вскаки. А он разводит руками, говорит, что и сам в толк не возьмет, как это получается. Время-то, говорит, тогда какое было, жуть одна, в деревне не жизнь, а слезы. Вспомнил опять, как домой после госпиталя явился. Папка-то наш, говорит, ремешь солдатских на пушке затянул да и вместо коровы в плуг впрягся, а его, Боброва, вроде как дурман какой одолел, выпивал долго на радостях, что живой пришел, а потом огляделся, совсёвать-то вроде не с кем, жить надо. А как жить? В избе, говорит, пусто, на дворе не гуще, как у всех. А ему, говорит, покажу-ка захотелось, как это, мол, так, за что мы воевали — это он мне так говорит, — уж не за то ли, чтобы мякину да лебеду по огородам жевать. Ну и подался в город. А в городе, говорит, не чище и тоже все не задаром, тоже работать надо, да и разруха кругом, люди ходят, каждый со своим горем не разойдетс, все от войны, говорит, остатнее расхлебывают. Туда, сюда пихнулись — везде несладко. А мысль завидущая все не дает покоя: есть же в конце концов хоть какое-то местечко на земле, где не впрогладь пожить можно, отдохнуть, опомниться от этой проклятой войны. Устроился в строительную бригаду, ездил с мужиками по деревням, подсоблял умелым людям избы да печки строить, сам кой к чему привык. Подкопал малость, приехал домой, к тете Полине, ну, а жить, говорит, на месте разучился, во вкус цыганский вошел, да и отбилась от крестьянского дела, которым папка наш всю жизнь занимался, все, говорит, начальником себя мнил. А начальников — это он мне — кругом столько, хоть пруд пруди. Нашел-таки место — комендантом. С тех пор и ходит им, подушки да одеяла раздает, да одежку. Разве это мужское, говорит, дело. Рад бы бросить, да не на что теперь поменять. Жизнь, говорит, не одежка, одну износил, взял другую. Я ему опять про дом, а он мне: мол, нет у него дома. Нет — и все, и никого у него в целом свете нет, кому он теперь такой нужен. Для ребят, Генки с Танькой, он никто, чужой мужик, а для Полины и того, небось, дальше. Сколько она из-за него слез извела. Да и зависть на теплое, готовое — сраму нахлебаться. Ладно бы с чем прийти, а то ведь пусто. По деревне, говорит, небось и теперь чешут: Полины, мол, муж дельный где-то лопатой гребет, да не больно для своих раскошеливается, а где они такие, чтобы их лопатой...

Мам, а Генка, оказывается, нынче весной сюда к нему приехал, домой запл. Не поехал. А у меня об одном спросил: как тетя Полина? Имеет в виду здоровье, наверное. Я сказала, что ничего, здорова. Работает, письма по деревням носит.

Мам, встретить ты ее, поговори, пусть ему напишет да позовет, него зря под старость-то лет в разлуке жить. Человек, может, сам себя за все наказал, а хватит. Эй-Богу, жалко. Увидишь тетку Полину, скажи, что живет он один как перст. Скажи, что я присмотрю за ним.

Люди, конечно, нам нужны, но коменданта найдем, это не краповщик.

А народ, мам, очень нам нужен, хорошо бы молодёжь. Позвала бы сюда всех наших, николевских, да кузьминских, да пореченских, но у вас и там дела хватает — боюсь сминать. Да и я ведь здесь не навек. Напомни дяде Федору, пусть вопрос со строительством больницы пробивает, дело нелегкое. Мы вот тут новые вагончики пробиваем и палатку, то есть магазин, чтобы прямо на участке торговал, чтоб не таскаться в поселок каждый раз.

А с соседкой моей Раисой живем дружно. Вот она уже и управилась, написала и глядит на меня, наверное, надеет, о чем это я тебе все пишу и пишу. А я и взором расписалась, никак не остановлюсь. Буду кончать.

Завтра начинаем работать на станции, новую платформу будем строить, плиты бетонные уже привезли, надо выравнивать площадку. А Раиса тебе привет посылает, говорит, чтобы ты там не волновалась, и я тебе то же самое говорю.

Бобров наш все же смешной. Вчера новую рубу мне принес, почти новую, а сапоги как раз впору. Раиса говорит, что это со мной первой он так обошелся — без бутылки. И хорошо.

Кланяйся, мамка, всем, всем, всем!

Целую тебя крепко-крепко.
Твоя Варюха».

16

Октябрь стоял ровный, не дождливый. Недолгое осеннее солнце торопливо пригрело землю, будто спешило отдать ей последнее свое тепло, сбереженное от ненастных летних дней. На работу выходили в стеганках, но к полудню так распекло, что женщины одна за другой снимали теплые одежки, работали налегке, по-летнему, часто прерывались, чтобы утереть пот с лица, а то и без всякой причины, просто так постоять на минуту, перевести дух да поглядеть на осеннюю неслухоту: на пестрый лоскуток недалежного леса, на ясную даль да синее небо, по которому, свисая кисейей до земли, плывут и плывут серебристые нити-паутинки.

Однажды Варя остановилась вот так, взглянула в небо и увидела журавлей. Они летели над головами, летели молча, и потому, наверное, никто из девчат не успел их заметить. Какой-то мил Варя стояла как окаменелая, словно боюсь спугнуть этих птиц, а вместе с ними и то странное, незнакомое ощущение неведомой, но близкой утраты, которое явилось вдруг к ней. Оно потренило же своей необычностью, новизной, и, видно, как раз от этого ей захотелось удержать его в себе, удержать и понять, откуда пришли они — и эта тревога и неведомая светлая грусть? Неужели от них, от этих молчаливо пролетающих птиц? Но ведь и раньше много-много раз, и осенью и по весне, ей приходилось видеть журавлей. Сколько их пролетало над ее родным селом! Но не было у нее чувства, что с кем-то или с чем-то расстается она, будто что-то близкое, кровное безвозвратно улетает от нее на легких птичьих крыльях. Была просто радость: летят журавли! И то, что она первая увидела их, тоже была радость. И она кричала на все село: «Смотрите, смотрите, журавли!» Люди останавливались и глядели в небо. Глядели по-разному, каждый думая о своем, но ей-то было все равно, кто и как глядел на журавлей.

Ей было радостно. Гурьбой, мальчишки и девочки, они бежали на край села, на высокий угор, размахивали руками, что-то кричали птицам вслед и долго стояли там, до боли в глазах сверлили остывшее осеннее небо и обманиво уверяли друг друга, что еще видят журавлей.

Ей и теперь захотелось крикнуть: какой-то миг, короткий, тайный, она удерживала это желание в себе, переживая возникшее чувство одна, наедине с неясной своей утратой, которая тихой грустью коснулась ее сердца, и лишь после этого она вскрикнула с прехитрым ребячьим удивлением:

— Смотрите, смотрите, журавли!

И все, что было рядом, и тетя Лена, и Раиса, и Вера с Надеждой, и другие женщины, подняли головы, стали торопливо шарить глазами по небу.

— Да год же они, вон! — Варя нетерпеливо показывала рукой в сторону улетающего косяка. Черная прерывистая лента то выгибалась дугой, то снова выравниваясь, плыла над станцией, над лесом.

— Ой и правда. Вижу, — отозвалась Надежда. — Да как низко, не боится.

— А чего им бояться? — сказала Вера. — Мы ж не с ружьями, а с лопатами. Собиражают.

— К теплу потянулись, — промолвила тетя Лена. — Зимку почуяли. На зимку всех к теплу тает, птиц к солнышку, человека к печке. Нам тоже вот новые вагончики обещали не то к Новому году, не то раньше.

Одна Раиса стояла молча. Красивая, с выбишейся из-под платка пышной прядью рыжих волос, стеганка нараспашку, она стояла, опершись на лопату. В глазах, задумчивых и непривычно печальных, вдруг привиделась Варе знакомая, но еще не разгаданная собственная грусть. И вот эта грусть снова коснулась ее, но на этот раз пришла не от нее самой, не изнутри, а как бы со стороны, от чужой печали, которую она безошибочно угадала в глазах подруги. Но теперь и все, словно объединившись уединенным молчанием, стояли в задумчивости и глядели на улетающих журавлей.

Потом, когда косяк скрылся из виду, когда уже не на что было глядеть, Раиса сказала:

— Ну вот, и еще одних проводила... Будто сама себя. Так, видно, и пролетят оставшиеся годочки один за другим. — Она снова взглянула в опустевшее небо, туда, где растяли журавли. — Вон их уже и след простыл. Так-то...

— Да будет тебе! — Это тетя Лена рассердилась на Раису. — Развела панихиду. Тебе бы жить да радоваться, с твоей красотой... Полюбить бы понастоящему да замуж, а ты!.. А, Варюш?

— Не родись красивой, — Раиса грустно усмехнулась, кинула лопату на плечо, — а родись...

— А счастье, Раиса, это, знаешь, по-моему, что? — Тетя Лена помолчала задумчиво. — Это когда другим от тебя не печаль, а радость. И красота тут не помощь и не помеха. Каждый человек красив по-своему... Если, конечно, сумел сберечь свою красоту. Один душой, другой светлым разумом, третий внешностью... Говорят: чем богаты, тем и рады. Значит, чем богат, тем и делись с людьми. Вот и тебе со своей красотой... Жить бы да радоваться. Раз ты такая уродилась.

Варя слушала и вдруг поймала себя на том, что и теперь и в тот короткий миг, когда при виде журавлей в неясной тоске загорнило ее сердце, не об этом ли и сама думала — не о своей ли жизни. Говорно, не так горестно, как Раиса, но тоже с печалью, что с чем-то приходится разлучаться... Еще один год уходит, целый год жизни! Разве мало! Разве не в нем того, с чем ей не хотелось бы

расставаться? Было, конечно, было! Была школа, девочки и мальчишки — одноклассники, учителя, был вечер выпускной и она, Варя, в новом светло-зеленом платье... И еще была ночь, последняя перед отъездом в институт... Тогда она возвращалась домой, шла одна мимо кладбища, одолевая свой страх, — что-то утверждала в себе, чудачка, что-то доказать себе хотела... И еще кому-то и что-то хотела она доказать, но это уже потом, в городе, в институте.

Это когда Тамарка, соседка по общежитию, обидела ее. И не ее одну — всех девочек. Всех, кто поступал вместе с ней в институт. Выходит, не только за себя — за всех обиженных злым Тамариным подозрением должна была она вступить. Тогда горячая Варя не нашла, как ответить на обиду. Думала, что своим отъездом сюда, на стройку, сумеет что-то доказать. Ну, а теперь, повторив все сначала, смогла бы и объяснить, ради чего она, Варя, так поступила — взяла и уехала на стройку.

Тамарка тогда чуть ли не за дурочку ее посчитала. Может, и теперь нет-нет да и вспоминает, ухмыляясь при этом ехиденько: давай, мол, доказывай, что ты не верблюд, а мне и так давно все ясно. Но ничего-то ей не ясно, ничего! Потому что не видит, не хочет она видеть дальше своего носа. Скажи ей: «Летят журавли!», — а она ответит: «Ну и что? И пусть летят, подумаешь, невидаль». И даже не оглянется в их сторону, а если и взглянет, то так, не заволнуясь сердцем нисколько. Бедная она, эта Тамарка, бедная душой, и все и все. Нет у нее того, что есть теперь у Вари: вот этих девочек нет, Верки с Надей, Раисы нет, ее верной подруги, и тети Лены с ее неземной любовью и с Сашкой — нет никого, о ком бы она могла думать и знать, что нужна этим людям так же, как и они ей. А Варя это знает. И она любит их всех, и ей горько, что у тети Лены неважно со здоровьем, что командант Бобров вчера опять ходил небритый и смурной и никого не замечал... И еще есть на стройке один человек, Коля Берчак, о котором Варя сказать сейчас не вслух, ни про себя ничего не может. Знает одно: трудно представить стройку без того огромного крана, который с утра до вечера чертит по небу длинной стрелой. Нельзя на стройке без крана, а значит, и без крановщицы.

Варя думает так не первый раз. Бывает, совсем о другом начнет, вот как теперь — о журавлях, о странной и необычной тете-Лениной любви, о себе самой, о том, что было с ней и что еще будет, но где-то и сплотнется мысль о запретный порог, за который ступить и хочется и колется.

Сегодня у Вариных мыслей был тот же привычный ход, и вдруг, нэ тебе, взяла и сплоткнулась на ровном месте. А дальше попробуй, разберись. Какой уж день вот так, вспомни о Берчаке, она говорила себе: «А зачем мне это, для чего? Вбила в голову, ненормальная... Все жду чего-то. А чего?»

Она и верно жила каким-то ожиданием. Вечером ждала какого-то часа, какой-то минуты, думая, что именно в этот час, в эту минуту что-то должно в ее жизни случиться такое, необыкновенное, чего она и ждет. И она жила в пугливом ожидании, прислушиваясь к каждому звуку, к чьим-то голосам за окном вагончика, к стуку чьих-то сапог на ступеньках, но, не дожидавшись вечера, откладывала свое ожидание до утра. А утром, едва проснувшись, говорила себе: ну вот сегодня-то обязательно... Именно сегодня. И волновалась, и таила от Раисы свои грешно-невинные глаза, и боялась потом шагнуть за порог, как будто то, чего ждет она, стоит и поджидает ее возле вагончика...

Потом она загадывала новый час и новое место, где это должно было случиться: или возле конторы, или на участке, где знакомый кран развозил по небу железобетонные плиты, или в поселковой столовой, куда после смены Варина бригада ходила поужинать на обед или пообедать на ужин.

На днях Раиса сказала ей, так, между прочим, что Коля Берчек уехал по распоряжению Паршина в Москву оформлять документы на новый кран, с большой грузоподъемностью. И усмехнулась при этом как-то непонятно: человек, мол, в люди пошел, к чему бы это. Варя пожалла плечами, опустила глаза, застенчивая Раиса, а про себя подумала: вот почему я не вижу его какой-либо день.

А тут в столовой вышел случай. Сидели за столом, обедали, человек шесть был, и Раиса тоже. Вдруг Юрка, Колин напарник, заявляется. Варя увидела его и почему-то покраснела, хотя Юрка тут был вовсе ни при чем. Опустила глаза, усталилась в тарелку, а тот, как нарочно, разлившись к их столу подошел и говорит вроде как всем, но сам на нее, на Варю, глаз косит. «Имею,—говорит,—сообщить, что лучший крановщик СМП-218, а также и всей дороги Николай Берчек в настоящий момент отбыл из столицы нашей Родины и велел всем кланяться и готовиться к торжественной встрече... Желательно без спиртных напитков, поскольку он завязал с некоторых пор. Все».

Вот такую он речь на днях произнес, кося глазом на Варю. За столом, конечно, хихикали, хоть и не поняли Юркины намеков. А Раиса—эта, конечно, заметила и быстрый Варин румянец и Юркин хитрый глаз, но сделала вид, что ничего не поняла. — Шут ты гороховый, вот ты кто,—сказала она Юрке.—Тебе бы не в СМП, а в КВН. Имел бы успех.

И все опять засмеялись. А Юрке только этого и надо—повеселил народ.

И вот снова ожидание. На этот раз—поезда, который должен прийти из Москвы.

Их было два. Один московский, другой южный, следующий через Москву.

Варя знала, когда какой приходит, но для верности сбегала на станцию—как будто в киоск за конвертами—и еще раз посмотрела расписание. Оно не изменилось.

Московский, тот самый, с которым приехала она, прибывала на станцию в семь часов пятнадцать минут, а другой, южный,—в одиннадцать пятьдесят. И тот и другой подошли ко второй платформе и останавливались как раз против участка, где в эти дни работала Варина бригада.

Ей нравилось глядеть на эти поезда. Они привозили с собой далекое и дорогое напоминание о родном селе, о доме. Всякий раз, встречая их, она старательно вглядывалась в окна проплывающих мимо вагонов, всматривалась в лица пассажиров, надеясь увидеть хоть одно знакомое лицо, может, кого-нибудь из своих, никольских.

Другой интерес вызывал у нее южный поезд. Пылный, с серыми окнами, он весь, казалось, был переполнен еще не растраченным южным солнцем, шумом далекого моря, запахами фруктов и нездешних цветов. В окнах и дверях вагонов мелькали загорелые лица и руки, яркие курортные халаты и пестрые пижамы, тельняшки и гимнастерки, а на перроне в короткие минуты стоянки делалось шумно, суматошно, мужчины металлись вдоль вагонов в поисках буфета, женщины, нервничая, высовывались из окон и дверей, тревожно сжимали своих непоседливых мужей.

Все это напоминало яркий, веселый праздник или цирковое представление.

Отставив женщины с интересом наблюдали за суматохой на перроне, изредка перебарщивали короткими замечаниями, посмеивались над зазевавшимся и бегущим вслед за вагонами пассажиром и вихолмолку думали о тех неблизких краях, откуда пришел этот поезд,—о солнце, о море, о цветах, о людях, нарядах и загорелых, которые едут в этих вагонах.

Почему-то и прежде этот поезд настраивал Варю на ожидание чего-то необычного. Ей казалось, что у нее, как когда-то у Раисы, может случиться такое: кто-то выйдет к ней из вагона поезда, от него будет пахнуть солнцем, морем и дальней дорогой, выйдет и позовет ее с собой. Вот только б знать, когда, в какой день это случится. Она бы сбросила с себя свои бижилы, фуфайку и рабочие брюки, надела бы свое новое платье и пришла бы на станцию. А может, и тек, как есть,—в брюках, в бахилах и в спецовке, чтоб сразу видел, с кем дело имеет. Извините, мол, не артистка и не студентка еще, извините. Хороший поймай, а дураку — зеленый свет и скатертью дорога!

Но то, кого она ждет, конечно, поймай все так, как надо, и ему будет все равно, в чем она встретит его. Разве дело в одежде?

С московским поездом никто не приехал. Остался последний, южный. Он оказался в тот момент, когда Варя украдкой от девчат уже в который раз взглянула на часы: поезд опаздывал на десять минут. Отсиркиваясь сизым паром, как будто уставший от дальней дороги, проплыл паровоз. На этот раз не Раиса, а Верка Большая созорничала.

— Эй, чумазый,—крикнула она машинисту,—опоздаешь ли напишем!

Машинист улыбнулся, согласно и устало кивнул головой: записывай, мол, что я подедалась.

Потом поплыли вагоны, в окнах замелькали притомившиеся лица пассажиров.

Женщины потыкали в землю лопаты, притогивались поглазеть. Варя пробежала глазами по вагонам, по одному, второму, третьему...

По радио в это время объявили, что ввиду опоздания стоянка поезда сокращена. Но самые непоседливые и рискованные, отмахиваясь от проводниц, уже высказывали на платформу, обогняя друг друга, неслись к станционному буфету, безошибочно определяя, где он находится.

Прошло минуты две, паровоз загудел. Пассажиры бросились к вагонам.

Перрон быстро пустел, последние разбегались, искали в вагонах как пчелы в ульях. И только один человек остался на перроне: Высокий, в коротком светлом плаще, с чемоданом в руке, он стоял у дальнего края платформы, там, где остановились первые вагоны, и махал кому-то рукой. Нет, не рукой—цветами.

Потом он повернулся и широко, уверенно, как будто не впервой, ступил на тот маленький перрон, зашагал по направлению к станции.

Их, пожаловал кто-то,—сказала Надя Маленькая, приметив оставшегося пассажира. — Не начальство ли принесло?

Теперь и остальные с любопытством глядели в ту сторону, гадая, кто бы это мог быть. Ни на кого из своих человек тот вроде не был похож. И Варя он тоже не оказался знакомым.

И вдруг... — Девки, так это ты, знаешь, кто? Ой, не могу!—Верка, смеясь, хлопала себя по бокам.—Это ж наш Колька! Колька Берчек. Вот те крест он.

Тут и все разглядела наконец пассажирка. Сомнений не было: по платформе шел Коля Берчек. Новый плащ и шляпа с короткими полями изменили его до

неузнаваемости И еще цветы. Он нис перед собой несколько роз, как будто не цветы это были, а факел, полыхающий огнем, и он боялся подпалить этим огнем свою новую шляпу.

— Коля, ты ли это? — воскликнула Надежда.—Ой, и розы никак! А шляпа-то, шляпа! Улыбающийся, смущенный, он подошел к женщинам.

— А что — шляпа? — Он поставил чемодан и свободной рукой приподнял шляпу.—Месяц не пил и шляпу купил. Привет могилщикам мирового капитализма!

Но теперь все глядели не на шляпу, а на цветы, которые Коля держал в руке.

— Красота!—тихо, вздохнув, сказала Вера.

— Красота, да с шляпами,—осторожно напомнила Надежда.—И все так: кому цветочки, а кому шляпы...

— Все равно красиво. Где ты их, Коля, взял-то?

— Да, морячок тут один.—Коля оживился, страхнул с себя смущение. — Отличный, слышь, кореш, с с кога сам едет, в одном купе мы с ним... Невесте, слышь, говорит, везу. А потом разоткровенничался и признался, что никакой невесты у него нет: домой на побывку едет... На побывку, слышь, едет молодой моряк... Ну, и стал цветы раздавать дамам. А я у него, слышь, несколько цветков взяла, тоже для дам, говорю... Он мне с превеликим... Хороший парень.

— Чего ж ты его самого-то не захватил? — смеясь, спросила Надежда.—Мы б его живо к делу приспособили.

— Да я звал, слышь, уговаривал, хотел его вам показать... Ему еще год плавать. Вот, говорит, отплавлю, тогда, слышь, погляжу, может, и шаровартуся к вашему поезду.

— Ну, а дамы-то твои что,— не унималась Надежда,— кому букет предназначаешь?

Видно, женщин интересовал теперь именно этот вопрос, а кто-то, может, и без того уже успел кой о чем догадаться или предположить, но помалкивая, выжидал, чем дело кончится. Варя же, онемевшая, стояла ни жива, ни мертва, и одного лишь желала: чтобы никто не глядел на нее и не видел ее испуганного лица и растерянных глаз...

— А вам всем и предназначаю,— сказал Николай—вашей, слышь, мужественной бригаде, которая в короткие сроки... Тетка Елена, получите!

Пожоже, никто не ожидал такого, и тетка Елена, конечно, тоже. Она растерялась, даже порозовела лицом.

— Да бог с тобой, Коля! — Она всплеснула руками.—Мне-то за что? Мне ж есть от него получить, ты бы кому помоложе, вон Варишке напей, к примеру...

— Тетя Елена! — В голосе Вари послышалась не просьба — мольба.—Ну, зачем ты! Раз всей бригаде цветы, а ты у нас бригадир...

— Все верно,— сказала Раиса, молчавшая до сих пор.—Нечего тебе... Ты у нас старшая — тебе и букет. Счастие всегда к счастью идет. Варьке успеется, ее цветы впереди. А нам попохоже — и ладно.

Все засмеялись, и тетя Елена взяла у Николая розы и, как невеста, пошла обносить их по кругу, останавливаясь перед каждой. И все склонялись к цветам, нюхали, зажимив глаза, охали и ахали и приговаривали на все лады: «Ну, Коля, ну, человек, это ж надо!»

И до Вари очередь дошла.

Она склонилась к цветам и тоже понюхала их. У них был какой-то нездешний запах. Так, пожалуй, пахнет на юге, у моря, где на каждой улице, возле каждого дома, навстречу, растут вот такие прекрасные цветы. Ей было радостно вдыхать этот запах и думать о том, что есть, существует на свете что-то

огромное и прекрасное, еще неведомое, как далекое море, которого она не видела ни разу; думать и верить, что оно будет, непременно будет у нее, и надо только набраться терпения и ждать.

И оно придет,

17

Два дня комендант Бобров ходил по вагончикам с толстой папкой — делал опись казенного имущества. Был он задумчив, неохотил на разговор.

Последнее время он вообще вел себя странно: то исчезал вдруг куда-то и пропадал по два-три дня, потом появлялся и ходил откровенно, неприкаянно.

После того случая, когда, истосковавшись по живому участию, Бобров в порыве благодарного открытия Варя душу, она нет-нет и заглядывала к нему, спрашивала, не надо ли его. В ответ он неопределенно пожимал плечами: мол, вроде бы что-то и надо, а что, он и сам не поймет. И рассеянно озирал свое неприбранное жилье, будто искал или вспоминал что-то, но, так и не найдя и не вспомнив, досадливо махал рукой, тер свой небритый подбородок, просил осторожно:

— А ты бы так посидела, без всякого...

Варя присаживалась на табурет, но тут же глаза находили дело: она или брала веник и подметала пол, или сдирала со стола грязную газету, стелила новую, выбрасывала окурки, скопившиеся на подоконнике, у изголовья постели. Он не удерживал, покорно отходил к окну или садился на постель и наблюдал. А на уме уже вертелся вопрос, на который его подмывало всякий раз, когда он встречался с землячкой. Но он не спешил, нарочно сдерживал себя и, чтобы не выдать нетерпеливого своего интереса, доставал из кармана папку папиросу, потом, аккуратно принимая, покуривая папиросу в корявых пальцах, продавливал мундштук, высypил из него на широкую ладонь табачные крошки. И, наконец, прикуривая, спрашивал:

— Что нового-то слышать?

Варя знала, что из всего, что происходит на свете, Боброва больше всего теперь занимает одно: как там, в деревне, дома? Ему было известно с письмах, которые Варя получает от матери, и потому каждый раз, встречаясь с ней, он невольно настораживал себя, будто прислушивался. Ждал чего-то. В каждом Варинном слове, в каждой пересказанной строчке очередного письма он старался высмотреть то желанное, свое, что и теперь живет, существует где-то, но не в нем, а как бы помимо него, что забылось уже, стало стираться в памяти, распылялось, словно в тумане.

Два дня назад он еле дотопился из деревни: железным обручем вдруг схватило грудь. Едва раздвинулся. Перепуганный конюх хотел было запрыгнуть на лошадей и довести гостя до поселковой больницы, но Бобров отказался — побрел пешком. До вечера лежал пластом в вагончике, боясь шелохнуться и снова разбудить притихшую боль.

В это время к нему и зашел Паршин. Поняв еще на пороге, что с комендантом что-то неладное, развел руками.

— Я к нему с новостями, а он, понимаешь... Паршин привиднул табуретку к постели, присел, участливо взглянул на Боброва.— Что, временно или всерьез?

— Да что его,— слабым голосом отозвался Бобров,— прежде вроде-ка не бывало такого...



— Так ведь оно и все так, крутишь, крутишь маховик, а потом раз...

— Видать, докрутили.

— Ну, это ты брось, нашел время. Я вот тебе сейчас такое лекарство отпущу, вмиг оздоровеешь... В общем, надаривай, брат, пуговичи и списывай с едреной фене все свое старье... Звонок был, вагончики к нам новейшие гонят, со дня на день придут, утепленные и всякое такое... Кровь из носу, командант, а перед принимай.

— Вот это дело, — тем же слабым голосом откликнулся Бобров, — это дело. Той звонок, начальник, и правда повеселше моего. — С грустной усмешкой Бобров ткнул рукой себе в грудь, туда, где сердце. — За дело, однако, будь спокоен, слажу как-нибудь. А старье и верно чего зря тащить. Спешим...

Они еще о чем-то говорили, и Бобров соглашался с Паршиным: да, мол, верно, народ на стройке работает на совесть, революцию, можно сказать, на транспорте делает, а значит, и бытовые условия у людей должны быть на уровне, и мало, мол, они еще заботятся об этом, и Паршин и он, Бобров. Он слушал, поддакивал, а мысли все уводили и уводили команданта в сторону от разговора. Как будто автоматически сработавшая стрелка перевела его на другой путь, и вот он гонит и гонит куда-то, еще не зная, что там впереди, какой свет горит, зеленый или красный...

Два дня после этого разговора Бобров ворошил свое командантское хозяйство, оформлял документы, списывал разное старье — наволочки, простынки, матрацы.

А на третий день взял расчет.

Его уговаривали, соблазняли перспективой, мол, такая стройка, такое хозяйство прибывает, только разворачивайся. Отпуском достоящим соблазняли, пуговичей в санаторий — но он насчет на своем.

Напоследок сказал Паршину:

— Ты как-то про маховик сказал, мол, крутишь, крутишь... А я про себя вот подумал и ужаснулся... Сколько лет все вхолостую кручу. Одна колота, как говорится, да, извиваюся, вонь, как от старого паровоза... Паровозы вот скоро спишут на свалку, и мне, видать, туда же пора. Да и по дому тоска, давненько не наведывался.

— Дом, это верно. Паршин задумался... Давно, значит, не был?

— Да как сказать, с год уж... соврал Бобров, — а то и поболее...

— Да-а-а, — в раздумчивости протянул Паршин, — без дома нельзя. Дорога дорогой, а дом есть дом.

— Надо, — отозвался Бобров.

И Паршин подтвердил:

— Надо.

...Наутро Бобров уезжал со стройки.

Варя провожала его. Ей было жалко расставаться с этим хмурым, неласковым человеком — свои все-таки люди. Земляки.

должность коменданта, тут и случилось. Стало с ней плохо, потеряла сознание. Врачи говорят, что полужить ей придется с месяц, а то и больше, сердечная недостаточность. Я упростила, чтоб меня пустили к ней сидеть по вечерам, мне разрешили Сашку дядя Костя хотел взять к себе, но Раиса мо за всех распорядилась, и никто возражать не стал. В общем, уехала моя верная подружка и взяла Сашку с собой. Уехала домой к маме и его уезжала. Та пожалуй, лучше, пусть он там поживет, пока тетя Лена в больнице, да и Раиса давно дома не была, по маме соскучилась, поживет у нее, а там вид будет. Может, обратно к нам вернется, может, еще куда, она пока не решила. В общем, перемена в нужна. Ну, и Сашка пока в надежных руках.

И я, мам, по тебе соскучилась, и все болит да, как ты там управляешься. Но теперь уж скор. Через месяц, к Новому году, сдаем подстанцию, он уже монтируется, а весной доведем линию, на участок... Очень хочется посмотреть, как все э будет. Вот не пришлось бы самой, и ни к чужой бы, небось, было, а тут... Тетя Лена даже Раисе не казывается, чтобы к пуску электрички на нашем участке она с Сашкой обязательно приехала. И Раиса уезжая, тоже говорила, что хочет посмотреть, что это будет. Своя все-таки станция. А вообще, мам, у каждого в жизни должна быть вот такая станция — самая первая, как станция отправления. И меня она теперь будет, я сама ее строю.

Мам, а помнишь, я писала тебе, как кончу институт, приеду домой и буду лечить всех наших и колесных и что к тому времени ученые изобрет такое лекарство или лечение такое придумают, что бы было оно от всех болезней. Может, так и буде. Но все равно, мне кажется, одних таких лекарств препаратов людям будет мало, потому что есть те кие болезни... Ну, как тебе сказать? В общем, ну, но, чтобы люди просто любии и уважали друг друга и еще понимали, и тогда всем будет легко и нии кие болезни не будут страшны. Вот я про себя скажу. Когда меня кто-то понимает, мне бывает хорошо, и я могу много хорошего сделать. Вот Раиса меня понимала. И ты, мам, меня тоже понимавши Ну, что еще?

Да, а помнишь я тебе писала про одного парня. В общем-то он уже не парень, взрослый, но пожилой. Крановщиком работает. Он тут всех удивил. Написал стихи для стеногазеты, ничего такого ним раньше не замечалось, и вдруг на тебе. Стихи эти запомнила, могу и тебе написать. Вот.

По вечерам походкой важно.
В жару или в холод все равно.
Девочки с посиды могающей
По шпалам шествуют в кино.

Мам, это мы в поселок в кино так ходим, вот и написал.

В глазах ни капельки усталости.
Походка, хоть вослед бегу.
Но я-то знаю, как достался им
Вот эти легкие шаги.
Но я-то видел.
Утро раннее.
Спецовки, сапоги в пыли.
И, торопясь, как на свидание,
Девочки на работу шли.
Ни для газет, ни для экранов
Их не снимали. Ну и пусты
Стрелой багнетного крана
Я до земли им поклонюсь.

Это он нас вослед. Сам так говорит. И оче правильно. Девочки наши ходят все довольны, что он так написал, а сами в шутку, конечно, ворчат: знать бы, мол, что ты вослед за нами!

18

«**М**амка, дорогая, здравствуй! Пишет тебе дочь твоя, Варвара Столярова, ударник коммунистического труда и бригадир строительной-монтажной бригады. Во как! Но об этом после, потому что много других событий, и печальных и всяких, не знаясь с чего начать.

Тетю Лену нашу, тебе известную, на днях положили в больницу. Только приняла она от Боброва вагончики, я тебе писала об этом, только вступила в

жишь, мы бы и не так спешили, а то только говоришь, а пригласить в кино вас и нет. Смеется, говорит, что всех нас ему все равно не догнать, особенно когда идем в столовую.

Что-то не пишешь ты мне про нашего Боброва, как он, как тетя Поля, все ли ладно у них? Сам он хоть и обещал, но не пишет. Увидишь, передай ему привет, расскажи о наших делах.

А за мед тебе опять спасибо. Тетя Лена говорит, что ты там не иначе как всю пашку колхозную решила на нее извести, а она все никак не выльчится. Не в коня, говорит, корю. Еще шутит.

А знаешь, чего мне хочется? Вот наладится у тети Лены, доживем мы до лета, и я позову ее к нам в гости. Ее с Сашкой и Раясу, пусть поживут сколько им захочется, посмотрят, какая у нас красота. Тете Лене это, знаешь, как будет полезно. Ладно, а?

Мам, а к нам нынче все едут и едут. И все больше молодежь. Демобилизованных много, работы всем хватит, такая стройка.

А меня сделали бригадиром. Сам начальник поезда вызвал и сказал: «Ты у нас старый, проверенный кадр, вот и Елена говорит, что лучше тебя заменил бы нет. Так что давай».

Вот как.

Ну, расхвастался. Будет! Да, а ко мне новенькую подделили, приехала из Хостромы, совсем девчонка, боится всего, страсть. Ничего, привыкнет. Я ее в обиду не дам.

А ты пиши мне, не забывай. Пиши обо всем, что из наших что делает, не вышли ли наши девочки кто замуж.

А как там моя забияка Ночка, все так же лягается и не допускает к себе никого? Как нынче с кормам, много ли заготовили?

Кланяюсь всем-всем... стрелю башенного крана!
Твоя Варюха»

19

Словно вагоны скорого поезда, мелькали, проносились дни.

Однажды Варе и впрямь показалось, что жизнь ее каждым своим днем и каждой минутой похожа на быстро мчащийся поезд: так же несется, спешит она по нелесному расписанию, будто боится куда-то опоздать... Она понимала, откуда это. Этот ритм, безостановочный, четкий, как перестук вагонных колес, задавала ей стройка, ее напряженная жизнь, у которой тоже были и свой график и свои сроки и которая тоже спешила.

Но было и другое. Было ощущение, что ее собственная жизнь, невольно подчиняясь ритму стройки, движется, однако, как бы по другому пути. Путь этот — вот он, совсем рядом, даже платформа, новая, бетонная, с асфальтовым покрытием, одна, общая, но в каком-то месте, там, за выходными стрелками-автоматами, а может, дальше, за первым поворотом, он, ее путь, уйдет в сторону, потому что у нее, у Вари, своя станция назначения. И это окончательно, бесповоротно.

Варя знает, рано или поздно наступит день, когда ей придется расстаться и со стройкой и с этими людьми. Первое время, месяц или два, она спокойно думала об этом, как можно думать о чем-то само собой разумеющемся, решенном раз и навсегда. И время своего отъезда она уже установила для себя: может, в марте, а может, в апреле, никак не позднее. И это независимо от того, как пойдут дела.

Словом, что бы ни случилось, она сядет в поезд и уедет домой, поживет там до августа, позанимается, подготовится к экзаменам, а там в Калинин, в институт.

Однако месяца через два ей стало ясно, что срок, который она установила себе — до апреля, — ее вряд ли устроит. Нет, уехать, она, конечно, может, и никто, разумеется, не в силах ее удержать. Но какой смысл? Уезжать со стройки на месяц-полтора раньше, чем будут закончены работы на их участке? Уехать и не увидеть того, как все это будет... Месяцем раньше, месяцем позже — какая разница. Конечно, она так и сделает: дожидается этого дня, встретит Раясу с Сашкой, а уж потом...

Однажды, уже в марте, Варя прибегала в поселковую больницу встречать тетю Лenu. Болезнь наконец отступила. Все дни болезни тети Лены Варя, как шестая дневная сестра, приходила к ней в палату, просиживала у постели часами. Не каждому позволялось такое: но Варя как-то сумела: на вешалке, где переодевались врачи и сестры, рядом с их халатами висел и ее, Вари, халатик.

Первое время — целый месяц — было особенно трудно: не прекращались головные боли, давление то резко подскакывало, то падало вниз — «играли», как говорили врачи. В такие вечера Варя просто сидела возле Елены Георгиевны, с готовностью бросалась на помощь нянечкам и сестрам, и все, что приходилось исполнять, она делала сноровисто и легко, и скоро больные в палате обращались к ней: «Сестричка, родненькая, будь добра...» А «сестричка» уже подхватывалась с табуретки и бежала на зов.

В спокойные же вечера больная оживлялась, просила Варю почистить ей что-нибудь, расспрашивала о доме, о Вариних отце с матерью, о деревне... Варя охотно рассказывала и скоро замечала, как глаза тети Лены, опечаленные болезнью, начинают светлеть. И вся она словно освещалась тем же светом, который и Варину душу грел: будто не дальше как вчера она сама следом за Варей выбегала поутру на росное крыльцо, босая, простоволосая, легкая, как птица, бежала от дома по серебристой траве к реке, дымящейся ночным туманом, или, пьяная от осенней свежести, бродила по шуршащим лесным тропинкам, по заветным местам, которые так помнятся Варю...

Как-то тетя Лена сказала ей:

— Теперь я знаю, откуда ты такая.

— Какая?

— А вот такая, какая есть... Легкая да скорая на доброту. У вас там, небось, ее с детства кошками пьют, доброту-то, прямо из колодца или из родника. Вся ты такая... родниковая...

— Скажешь ты, тетя Лена. Сейчас вот встану и пойду...

Елена усмехнулась, протянула к Варю руку.

— Куда ж ты уйдешь? Не уйдешь ты от чужой беды. Это у тебя на всю жизнь — к чужой беде со своим добром. Так что посиди ую.

Она лежала в кровати и была худа лицом и телом, и голос ее, тихий, близкий, будто рождающийся от движения сухих губ, дрожал, как горящая свеча на ветру, то притухая, то снова оживая.

— А про колодец я потому сказала, что вспомнила сказку одну... Сказка не сказка, так... От бабки моей еще в детстве слышала, будто в каждой деревне, в каждом селе, в общем, везде, где люди живут, непременно должен быть такой колодец... Есть и другие, но этот один. И вот, сказывают, если человеку, только что народившемуся, дадут испить водицы из этого колодца, станет он добрым на всю жизнь...»

С доброй душой, добрым сердцем и разумом. Добрый, значит, колодец.

— Ну и пили бы все из него,— не удержалась Варя,— зачем нужны другие?

— В том-то и дело, что точно никто не знает, какой же из всех колодцев добрый. Какой поближе, из того и пьют. А он-то как раз, может, другой какой-нибудь, делает людей жадными, к примеру, или злыми... Вот и растут на свете рядом с добрыми злые да жадные. В одной деревне и те и другие. А ведь и так, скажешь, было: один жадный уродится и для всех, кто за ним пойдет, для детей своих, из того же колодца воду носит, считает, что его самая лучшая. Привык человек...

Варя понимала, что это сказка, ей и верилось и не верилось. Она даже хотела спросить у тети Лены: а как же, мол, городские, у которых нет никаких колодцев, а один водопровод, или вот здесь, на их станции, а для воды все ходят к одной колонке?.. Но спохватилась. А тетя Лена будто угадала ее мысли, засмеялась тихонько.

— Я прежде долго этому верила... Бывало, иду по нашей деревне, перед каждым колодцем останавливалась да еще на колоду присяду, погляжу вниз, а темноту — стило, холодом от воды веет, попробуй угадай, какая тут водичка... Решила, что самая добрая та, что в нашем колодце. Сказала как-то бабушке об этом, она засмеялась: ты, говорит, не в воду смотри, не в колодец, а на людей — какие они, а уж потом... Помни, к плохим людям за водой не ходят. И ты знаешь, Варюша, проверила я эти бабкины слова: точно! К каждому да злomu никто за водой не идет. В нашей деревне жил один такой, и вспоминать не хочется... Дом посередке, а все, у кого своего колодца нет, с ведрами мимо проходили...

Тетя Лена устало прикрыла глаза, и Варя забеспокоилась:

— Может, будет, тетя Лен...

Елена улыбнулась благодарно, кротко. В сухих губах снова оживили слова.

Я тут раздумывала без тебя, так, обо всем, о жизни, в общем... Многое вспомнилось. Вот и про эти колодцы... А тот человек, которого все в нашей деревне обходили, моим отчимом стал... Так получилось. Отец мой рано помер, ну, а тетя... Хотела, чтобы нам было лучше. Кроме меня, у нее ведь еще двое было, два брата... А отчим отчиме тоже рознь. Мой зверем был, зверем и остался. С мальчишками сладить не мог, все на мне отрывался, нет-нет да и подденет по рукой, то ножищем... И все попреки, попреки — за кусок хлеба, за тряпку... А мать, что мать? Плачет, знаю дело, да молит бога, чтобы поскорей я выросла и за порог. Жалела, конечно, но что мне ее жалости, одни слезы. Вот тогда я и перестала верить в бабушкину сказку, все так переменялось в голове... Как в нашем колодце. Тут и появился один человек. Дело к вечеру, я наработалась за день, собралась потихоньку идти к дому уйти, погулять с подружками, смотрю, к нашему дому человек идет, увидел меня, подходит и как-то странно пошевеливается. Мне этот смехок его не понравился, и я сразу настроила себя против него, а он, так же улыбаясь, вдруг спрашивает: «Сестренки, ты хочешь брату водички испить вынесла, устал, дорого-то, небось, дальняя». А я емусь: «Тож мне братец сискался, у меня своих двое. Он берн бадью и черпай, в колодце воды на всех хватит». И что ты думаешь, пещел, напился из нашего колодца... А я, веришь, как дура, стою и все глажу на него: что-то вдруг переменялось у меня к нему. Глажу и думаю: «Ну, пей, пей побольше, вода-то у нас хорошая, чистая». И так не хочется мне, чтобы он быстро ушел. А он и

не ушел. Остался. Оказалось, он и в самом деле мне братом приходится, потому что был сыном моего отчима. Приехал к отцу. Жить он с ним давно не живет и, видно, не любит его, а приехал по какому-то давним делам... Теперь-то смешно, а тогда мне не до смеху было. Словом, с этим человеком и переменялась моя жизнь — увез он меня от отчима.

Тетя Лена загадочно взглянула на Варю:

— Ну, догадалась, о ком речь?

— Неужели дядя Костя? — Варя ушам своим не верила.

— Он самый.

Тетя Лена не выдержала, засмеялась, и столько радости было в ее повлажневших глазах, будто муж ее, Константин Иванович, снова, как и вчера, вырвался на денек из бригады и прикатил неожиданно проведать ее.

Отсмеявшись, она снова принялась рассказывать — так соскучилась по разговору.

— Знала, что есть, живут на свете другие, добрые люди и в нашей деревне и в других, где-то ходят, с кем-то встречаются, но все почему-то мимо меня. Обидно. Еще обиднее было то, что при жизни такой, когда тебя все попускают, сама никому и ничего хорошего не успела еще сделать. До того ли! Но я почему-то верила, что не пройду мимо меня добрые люди. Может, потому, что не забывалась мне бабушкина сказка.

И еще запомнилось Варе, как тетя Лена о давней подруге своей рассказывала. Была у нее такая подруга, страсть как любила подарки всем делать. Так, мелочь всякую: кому ленту свою отдаст, кому брошю, только что купленную, кому грешенок... Подарит и радуется, будто не она свое отдала, а самой что-то подарили.

— Как-то,— говорила тетя Лена,— я возьми и спроси у нее: чего ты, мол, все даришь и даришь, а тебе, гляжу, не больно? Она мне знаешь, что ответила? А мне, говорит, ничего и не надо, мне и так хорошо, я дарить люблю... Потому что, говорит, люди любят, когда им что-нибудь дарят. Тогда я, признаюсь, не очень-то понимала, какую она в этом радость находит. Самой бы попробовала подарить что-нибудь, да нечего. Малкин грешешок в волосах, и тот сломанный. А теперь понимаю. Ох, как понимаю я ее, мою давнюю подругу, забыла имечко-то ее, так давно это было. Вертится в голове, а никак... А все он, Костя, Константин Иванович... Пришел и подарил мне все, что у самого было... Как прежде говорили, и руку и сердце... Теперь почему-то так не говорят, стесняются, а ведь так оно и должно быть: сердце, значит, любовь на всю жизнь, а рука — на всю жизнь опора. Ну, и я, веришь, теперь за него все бы отдала, за него и за Сашку, Господи, как они там, мужики-то мои одинокие!

Потом Варя часто вспоминала этот разговор. Она даже подумала однажды о том, какому же из пяти колодцев, которые были в их селе, больше всего подошло бы быть добрым, и решила, что самый подходящий — тот, что стоит возле заколоченного дома, где жил старый фельдшер Илья Савельевич. Колодец тот, верно, очень старый, бревна в срубке давно осклизли, почернели, а снаружи обросли мхом, и ворот, стержниш из веревки, подвешены куда-то, но, сколько помнит Варя, самая чистая и самая вкусная вода была именно в том колодце. Может, он глубже других был, может, родниковыми притоками питался... Словом, за водой для саво-вара Варин отец всегда к тому колодцу ходил. И не потому, что ближе. Вода вкуснее была. Он-то и почитать его хотел, да так и не собрался...

Теперь, вспоминая об этом, Варя наказывала себе: приедет домой и первым делом пойдет к дяде Федору, попросит, чтобы отрядил кого-нибудь на починку того колодца. Скажет, для будущей больницы вода чистая нужна, а чище той, он и сам знает, нету. Пускай прямо к больнице идет.

И еще ей хотелось, чтобы летом, может, в июне, а может, в июле к ней в Никольское приехали погостить и Раиса и тетя Лена со своими мужиками, и она повела бы их к тому колодцу и наполнила бы, Варя ждала. Идти и верит, что она придет непременно. Хорошо бы такая, как у тети Лены с дядей Костей. Ну, не толь-е-толь—так, наверное, и не бывает,—но чтобы такая же крепкая и настоящая.

А то, что вдруг показались, померещились однажды, прошло... Все усложнилось в тот вечер, когда Раиса, объясняясь с Николаем, решила, что у нее с ним все кончено. Кто-то из них — ты, Николай, то ли Раиса — что-то напутал, не понял один другого.

И напарник Николай, болтун Юрка, он тоже хорош: услышал звон и не понял, где он. Что-то было, конечно, а что, Николай и сам себе не сразу: чем-то задела его Варя за душу, какими-то образами заставила, сама того не ведая, перетянула себя, потому что жить так, как он жил до этого, ему и самому надоело. А тут вдруг какая-то девочка, от горшка два вершка, взяла его за куртку и трянула. И сипенко-то, как у пахи, а встрыкнула. Что было не свое, все слетело, а свое осталось. Как он сам потом признался, «нашла, в общем, коса на камень, и камень, слышь, пополам...»

Призвался он Варе на вечер в поселковом клубе. Варя точно помнит, как это было. Отмечали Международный женский день. Девочки просили Колю стихи прочитать, те самые, что в стенгазете были напечатаны. Коля отнекивался, махал руками, но потом все же поднялся на сцену. Читал он неважно, хуже, чем написал, на каждом слове все хотел вставить свое привычное «слышь», как в разговоре, и все сбивался. Не приходилось, видно, слушать читать.

Потом были танцы, и он пригласил Варю танцевать. Она почему-то догадывалась, что он пригласит ее, и ждала. И очень волновалась. Тогда она еще ничего такого не знала и думала, чудачка, всякое... Но, странно, потом, когда узнала, она не то чтобы расстроилась, а почему-то успокоилась сразу и даже обрадовалась вдруг, что теперь, после Колиного откровения, она может танцевать и беседовать с ним непринужденно, просто, как с любым другим, и не думать ни о чем так-то... И за Колю самого ей было радостно, что он такой откровенный и честный. Получилось так же, как тогда с цветами: Варя ждала и боялась, что те розы он ей поднесет, и потом, когда он вручил их тете Лене, она подумала с облегчением, какой он внимательный, этот Берчак,— дал цветы тому, кому надо. Так и теперь: в начале вечера она ждала, что сегодня-то Коля непременно скажет ей что-то очень важное, а он и сказал... И то, что она «человек» и что она его будто бы «выпрямляла»... В этом месте — они как раз танцевали — Варя усмехнулась даже, очень трудно было представить, как это она его выпрямляла. Но он растоплялся, как имел в виду, «Ну, представь, слышь, себе дорожку,—говорил он,—вот такую.— При этих словах он снял руку с Вариного плеча и сделал ладонью зигзагообразное движение.— Ехать по такой дорожке, слышь, мучка, то повертка, то обезд... По прямой бы — всего ничего, а тут сколько лишку небежит. Вот ее и выпрямляют. Выкаешь? И у меня, слышь, так же...»

Варя и так-то танцевала с ним, высоко задирая голову, а тут он нарочно распрямился, расправил плечо,

сделал так, как решила. А остальные... Ну что ж, все так и будет... К их вагончикам подкатит паровоз, принцип состав и повезет. И Верку Большую, и Надю Маленькую, и тети-Ленину семью, и остальных. И Коля Берчак тоже уедет. Нет, она не думала ничего такого, когда вспоминала теперь о нем. Просто знала, что Коля вовсе не такой, каким он поначалу ей казался, не хуже других, а в чем-то — Варя, конечно, понимает это — даже лучше. Но ведь этого мало, Варя ждала для любви, для той любви, которую Коля ждал. Идет и верит, что она придет непременно. Хорошо бы такая, как у тети Лены с дядей Костей. Ну, не толь-е-толь—так, наверное, и не бывает,—но чтобы такая же крепкая и настоящая.

А то, что вдруг показались, померещились однажды, прошло... Все усложнилось в тот вечер, когда Раиса, объясняясь с Николаем, решила, что у нее с ним все кончено. Кто-то из них — ты, Николай, то ли Раиса — что-то напутал, не понял один другого.

И напарник Николай, болтун Юрка, он тоже хорош: услышал звон и не понял, где он. Что-то было, конечно, а что, Николай и сам себе не сразу: чем-то задела его Варя за душу, какими-то образами заставила, сама того не ведая, перетянула себя, потому что жить так, как он жил до этого, ему и самому надоело. А тут вдруг какая-то девочка, от горшка два вершка, взяла его за куртку и трянула. И сипенко-то, как у пахи, а встрыкнула. Что было не свое, все слетело, а свое осталось. Как он сам потом признался, «нашла, в общем, коса на камень, и камень, слышь, пополам...»

Призвался он Варе на вечер в поселковом клубе. Варя точно помнит, как это было. Отмечали Международный женский день. Девочки просили Колю стихи прочитать, те самые, что в стенгазете были напечатаны. Коля отнекивался, махал руками, но потом все же поднялся на сцену. Читал он неважно, хуже, чем написал, на каждом слове все хотел вставить свое привычное «слышь», как в разговоре, и все сбивался. Не приходилось, видно, слушать читать.

Потом были танцы, и он пригласил Варю танцевать. Она почему-то догадывалась, что он пригласит ее, и ждала. И очень волновалась. Тогда она еще ничего такого не знала и думала, чудачка, всякое... Но, странно, потом, когда узнала, она не то чтобы расстроилась, а почему-то успокоилась сразу и даже обрадовалась вдруг, что теперь, после Колиного откровения, она может танцевать и беседовать с ним непринужденно, просто, как с любым другим, и не думать ни о чем так-то... И за Колю самого ей было радостно, что он такой откровенный и честный. Получилось так же, как тогда с цветами: Варя ждала и боялась, что те розы он ей поднесет, и потом, когда он вручил их тете Лене, она подумала с облегчением, какой он внимательный, этот Берчак,— дал цветы тому, кому надо. Так и теперь: в начале вечера она ждала, что сегодня-то Коля непременно скажет ей что-то очень важное, а он и сказал... И то, что она «человек» и что она его будто бы «выпрямляла»... В этом месте — они как раз танцевали — Варя усмехнулась даже, очень трудно было представить, как это она его выпрямляла. Но он растоплялся, как имел в виду, «Ну, представь, слышь, себе дорожку,—говорил он,—вот такую.— При этих словах он снял руку с Вариного плеча и сделал ладонью зигзагообразное движение.— Ехать по такой дорожке, слышь, мучка, то повертка, то обезд... По прямой бы — всего ничего, а тут сколько лишку небежит. Вот ее и выпрямляют. Выкаешь? И у меня, слышь, так же...»

Варя и так-то танцевала с ним, высоко задирая голову, а тут он нарочно распрямился, расправил плечо,

чи, показывая, как она его выпрямила: танцевать с ним стало вовсе неудобно. Но ей хотелось, чтобы он и дальше с ней танцевал, потому что он еще не все ей сказал, видно, только думал, сказать или нет. И вот спросил: «Раиса-то пишет?» И все. И Варя поняла: вот оно, главное,—Раиса. А другого не будет и быть не могло. «Пишет»,—ответила она. «Ну, и как она там, назад не думает?» «Сашку вот должна привезти». «Да-а-а,—задумчиво, глядя поверх Варинной головы, сказал Николай.—Я тогда был, по-русски говоря, порядочно скотиной, не так ей все, слышь, объяснил, да и вообще все у нас с ней не так как-то было... И я ее, слышь, не за ту принял, и она меня не за того...»

— Слышь,—он наклонился к Варе, попросил так, как просят о помощи,—писать будешь, пошлешь от меня привет. А может, мне самому ей, слышь, как ты спиришь?

Она согласилась: да, надо, мол, ему самому написать, она будет рада.

А вечером, вернувшись с танцев, сама написала Раисе письмо. И словно гора с плеч свалилась. И теперь, казалось, ей легче будет жить, и чемадан, когда придет день отъезда, будет собирать легче... Она теперь совсем, совсем свободный человек. Осталось только решить, как лучше: то ли самой уехать первой, не дожидаясь, когда все поедет на новый участок, то ли сначала проводить их! Конечно, хорошо, когда тебя провожают, ее никто еще не провожал, никто не махал ей рукой, и прощальные слов не говорил никто. Только мать проводила однажды, прошла с полдороги и наказала: «Береги себя да не жуй всухомучу, слава богу, есть на что». А так хочется, чтобы кто-то еще был... Но как она уедет первой, не узнав, что будет с ними со всеми? Напишет ли Николай письмо, ответит ли ему Раиса и как дальше сложится у них? А тетя Лена, кто поможет ей устроить перед отъездом комедантские дела, а потом налаживать все там, на новом месте? А эта новенькая, которая из Костромы, что с ней-то будет?

Как узнает она об этом, чем поможет им?

20

И снова бежали дни. И приближался тот, которого ждали. Уже было известно число, на которое назначался приезд государственной комиссии. Был май, вторая половина. По зеленевшим крутым откосам вдоль дороги врослись разбегались желтые одуванчики, а поверху, над откосом, в редких перелесках то там, то здесь белели облака черемухи.

Утром в воскресенье Варя достала свое светло-зеленое платье—последний раз она надевала его на вечер в день Восьмого марта,—надела выходные туфли и пошла на почту отправлять телеграмму Раисе. По дороге зашла к Елене Георгиевне.

Та наказала ей:

— Ты и нас с Костей не забудь, припиши в телеграмме. Пусть от всех...

— Ладно!—откликнулась Варя.—Ворочусь, обед будем стряпать.

И пошла короткой дорогой—по путям. Шла, легко перепрыгивая через рельсы, семена по шпалам. Давненько не видела она себя такой—в новом платье, в легких туфлях. Все сапоги да ботинки...

Ей хотелось поскорее добежать до станции, пройти мимо широких окон и поглядеть на свое отражение—какая она во весь рост, а—потом как бы между прочим завернуть в буфет, где есть большое зеркало, и тоже поглядеть на себя.

Какая-то легкорылая радость вселилась в нее с утра—хотелось снять с ног туфли и пуститься без оглядки босиком, добежать до зеленого откоса, побегать по свежениной травке, наломать черемухи...

Вдруг ясно вспомнилась похожий день. Это было год назад. Они писали сочинение, шесть часов сидели в школе без передыжки... Варя выбрала свободную тему—о счастье, о том, как она его понимает. Теперь уж и не вспомнить всего, о чем она так написала, но все как будто получилось складно; она написала так, как думала тогда. Счастье—это когда есть у тебя любимое дело... Помнится, в этом месте она хотела признаться, что для себя она определила такое дело, но написала о другом—о покойном фельдшере Илье Савельиче, который всю жизнь отдал любимому делу. Прожил он больше восьми десятков и до последнего дня нужен был людям. Поэтому люди и помнят его.

Еще она написала про дядю Федора, их предсателя,—что она не представляет колхоза без него, а его без колхоза...

Потом, когда сдали тетрадки, они, уставшие, как будто сено стребали, вышли из темного коридора на школьное крыльцо и замерли, ослепленные весенним веселым солнышком. Высокое, ясное, оно залило своим светом все вокруг, будто лихое половодье: и дома, и огороды, и березовую рощицу возле школы, и свежую луговину в приречной низине, и лес, синееюг вдали. Тогда она сказала себе: «Да вот же оно, счастье... И это тоже!» И пожалела, что не сумела об этом написать. Там, в классе, в сумраке помещения, в торжественной и сосредоточенной тишине, как-то не думалось о том, что творится за окном... А здесь—вон оно что! Жизнь, солнце! Это и есть счастье. Счастье, что можно жить, и видеть все это, и радоваться тому, что живешь и видишь эту земную красоту. Но разве об этом напишешь, разве найдешь такие слова!

В тот день она с девочками, не забегая домой, скинув туфли, помчалась прямо от школьного порога к прибрежному зарослям, туда, где было душно и бело от черемухи. Какое это было счастье!

И теперь, припомнив тот день, Варя поняла, откуда в ней эта радость: от того же, от чего и тогда—от солнца, оттого, что снова пришла весна и заблела черемуха в перелесках. И еще оттого, что на ней красивое, почти новое платье...

Но что же еще она знает о счастье? Кто-то, помнится, сулил ей его. Но кто же? И вдруг вспомнилась: дождливое утро, мокрая платформа, тетка-проводница с заспанным лицом... Что-то она говорила о счастье: мол, если куда в дождь приежешься, то жди, будет твое счастье. Да, так и было, хлебнула она тутникого счастья и ничего, не размокла, а наоборот—теперь никакой дожди, ни мороз не страшен. Выходит, и тетка по-своему права: за дождем всегда бывает солнце. Не так ли и у нее? Все, все у нее было: и та первая неприятная ночь, и мокрая от слез подушка, и неожиданное успокоение от прикосновения теплой Раисиной руки, и журавли, которых проводила она прошлой осенью, и тихий голос тети Лены, ее слова про добрый колодец, про родниковую воду, и песни, которые пела она, Варя, вместе с девочками, когда, смертельно усталые, возвращались они домой на дрезине, и комедант Бобров, ее земляк, и девчонки-соседки, и начальник поезда Паршин со своей огромной чайной кружкой,

и это майское утро, наконец, эта радость, от которой хочется петь или прыгать по траве...

Вот о чем не написала она в своем сочинении, хоть, кажется, и все верно написала. Просто не было таких слов, а теперь появились. И еще о чем бы написала она теперь — с том, кто в день Восьмого марта Петр Владимирович Паршин с трибуны сказал: «Вот дотанем дорогу», — сказал он, — и мы вас, дорогие наши женщины, самолично на руках обратно понесем. Вот так возьмем и понесем».

Это было до того, как у Вари состоялось объяснение с Берчаком, и ей еще ничто не мешало в тот момент представить, как он, Коля Берчак, возьмет ее на руки и понесет, и ей хотелось, чтобы он нес ее не напрямую, но по шалам, а лесом, по траве, по цветам...

И еще сказал Паршин, что, будь он членом правительств, он издал бы такой указ, по которому всем женщинам-дорожницам за их мозоли да натруженные спины выдавали бы пожизненно билеты на все поезда, чтобы они могли бесплатно ездить куда им вздумается по всем направлениям. Варя тогда же решила, что первым делом поедет на юг, посмотрит, какое оно, море.

Она уже подходила к станции, и в это время за ее спиной захлопотало, мелкой дрожью отдалось под ногами. Варя оглянулась, привычно сошла с пути. Черный, с ярко-оранжевыми поперечными полосами, по второму пути шел маневровый паровоз, знакомый машинист глядел на Варю из окна и, кажется, не узнавал ее: привык видеть в брюках да сапогах, а тут — в платье...

— Привет, чумазый! — весело крикнула Варя. — Когда копить-то кончилось?

— Чего? — не расслышал машинист.

— Отъездишь, говорю, на своей печке...

— А-а-а... Парень, видно, признав Варю, согласно закивал головой, крикнул громко: — Это точно! Завтра спускаю парь... На переучку посылают, переводят на электровоз.

Потом Варя обошла платформу, поднимаясь на нее по бетонным ступенькам. Текст телеграммы она уже сочинила в уме, всего несколько слов: «Пуск двадцать пятого ждезда тетя Лена дядя Костя Варя». Придя на почту, она написала телеграмму, подошла к окошку. Подумала: а не послать ли домой? Но решила, что лучше внезапно нарваться.

И тут словно что-то колынуло в груди: неужели и все? Неужели через неделю меня здесь не будет? Все будут, а меня нет!

Она расплатилась за телеграмму и пошла. Проходя по платформе, вспомнила про зеркало в буфете, в которое хотела заглянуть, но махнула рукой: ладно, и так сойдет. И, задумавшись, неторопливо пошла вдоль перрона.

Она все еще жила этим майским днем, и ей хотелось, чтобы он никогда не кончился. Но мысль о скором отъезде не давала покоя.

Наверное, уже поднялись с мест, идут по вагону к выходу, а может, уже стоят в тамбуре и смотрят в окно, и Сашка, конечно, пристает к Раисе: «Ну, где она, наша станция, ну, скорей!»

Из-за слепящего, бьющего в глаза солнца вышло плохо, и она не увидела, а сначала увидела нарастающий слева шум. Но скоро сквозь яркий свет пробилась маленькая черная точка, она все росла и росла у нее на глазах. Еще минута, может, две, и поезд подойдет к платформе, и она увидит Раису с Сашкой.

А завтра сама придет сюда с чемоданом...

Но как она уедет от этих людей, которые, будто объединившись в долгожданной радости, тоже пришли на станцию и вот стоят с ней рядом... И тетя Лена, Вера и Надя, все бригады... Как оставит она эту дорогу, если их работе еще не видно конца, если эта станция — лишь ее начало?

Кто же доведет ее до другой, конечной станции? Неужели без нее?

В далекую даль уходила дорога, и не было ей конца. Было начало. Оно было здесь, на этой станции. А может, не здесь, а раньше, в далеком селе Никольском, где живет Варина мать, где живут ее односельчане, где есть старый колодец с удивительно чистой и вкусной водой, где на заросшем бузиной погосте покоятся Варини предки — ее отец, дед с бабкой и одинокий фельдшер Илья Савельевич, живущие доброй памятью среди людей.

Все это ее земля, ее люди, ее, Варину, начало. И разве сможет она без них? А они — без нее... Нет, и они не смогут. Но пусть простят ее добрые люди, и мать, и дядя Федор, и все, кто помнит, как уезжала она, кто ей поверил тогда... Пусть поймут и простят!

Она вернется, обязательно вернется домой и добром ответит на их добро. Но только не сегодня, не теперь... Теперь же она останется здесь, с теми, с кем начинала свою первую в жизни дорогу, останется, чтобы вместе с ними пройти ее до конца, какой бы трудной она ни была. Чтоб после нее появились на земле новые станции, поднимались надежные опоры и мчались под ними торопливые поезда. И чтобы вместе с ними идти с ней рядом шагало счастье и легко.

Она пройдет эту трудную дорогу, чтоб легче и еще желанней был ее путь к профессии врача, к родному дому.

...Да, верно, все так и будет. Она придет в Никольское, пройдет светлым днем по главной улице, поднимется на высокое крыльцо новой сельской больницы и, поклонившись селу низким поклоном, скажет:

— Здравствуй, люди!

гор. Калинин.

21

И опять было солнце. Оно светило над станцией, плавило асфальт на платформе. И черемуха еще не отцвела.

Варя стояла на платформе и глядела на дорогу. Четыре стальных нити, блестя на солнце, уплыли из-под самых ее ног и разбежались попарно вдаль.

Оттуда, слева, с минуты на минуту должен был прийти поезд, на котором едут Раиса и Сашка. Они,

Гулрухсор Сафиева



Не ошибусь

Я молода,
ни бремени добра,
ни гнета зла еще не понимаю.
И, кажется, во всем и навсегда
я этот мир радужно принимаю,
но часто ошибаюсь, горяча,
желая встречи, а пришла разлука...
Когда обидишь друга невзначай,
то недруга легко принять за друга.
Я над своими бедами смеюсь,
люблю тебя, и от любви спасаюсь,
и, вместо счастья, получаю грусть,
и от нее уже не защищаюсь.
Потом сижу, как водится, одна,
сиду и плачу над своей судьбою...
Прошу меня простить:
я молода,
я не умею управлять собою.
Прошу меня понять: я — молода...
Да не услышу яши укоризны.
Но в чем не ошибаюсь никогда —
так это в милом имени Отчизны.
Его я с материнским молоком
всосала в дни младенчества былого,
его я лепетала языком,
как первое мое земное слово...
Вы две святыни — Родина и мать...
Пускай порой, как пойманная птица,
я буюсь в силках,
но мне дано сказать
два этих слова —
и не ошибиться.

Перевел с таджикского
Ст. КУНЯЕВ.

Родина

Когда я в первый раз о Родине узнала!
Когда еще без слов запела я о ней!
Прекрасней всех цветов она вокруг сияла,
Но вспомнить не могу зарю далеких дней,
Когда я в первый раз о Родине узнала.

Не в тот ли час, когда впервые наряжала
Меня в обновку мать, лаская и смеясь,
А я не твердо в первый раз стояла,

За платье мамино ручонками держась!
Тогда, быть может, я о Родине узнала!

Или когда упрямо я бежала,
Догнать стараясь быстрых мотыльков,
И шелест нив пшеничных устыкала,
И шум ручьев, звучащее родников, —
Тогда, быть может, я о Родине узнала!

Или когда сердечко запылало
Любовью к жизни, жаром юных дней,
И первые стихи я написала
О счастье и о радости своей, —
Тогда, быть может, я о Родине узнала!

Раскрыв глаза, я ясно увидала
Цветущий горный край и полевой
простор...
Я ей обязана всей жизнью, всем,
чем стала,
Но вспомнить не могу, с каких же это пор
Название — Родина — навеки я узнала!

Сестре Мастоне

Горячую лепешку и кружку молока
Я часто вспоминаю вдали от кишлака.
Высокие колонны и этажи кругом, —
Но помню гор величие и скромный
отчий дом.
И вот я снова вижу громады этих гор,
На скалы и колоучи вновь устреляю
взор.
По ним уже давно я не бегала босой, —
Все здесь осталось тем же, лишь стала
я другой.
Знакомые вершины, знакомые пески...
Смывают пыль дороги родные родники,
А серны, принимая за девочку меня,
Хотят по скалам прыгать со мной среди
бела дня!

Кишлачная тропинка осталась позади,
Больших дорог просторы живут в моей
груди...
Мне радостно, что снова я на земле своей,
Но ничне по-прежнему гложу в глаза друзей.
Теперь и люди даже гуляли по Луне,
И петь о ней, как прежде, уже не стоит мне!
Обычным стало, скажем, затмение Луны,
Тебе ж минуты эти, сестра, еще страшны.
К одной мы обе льнули родительской руке,
Мы были как две родники на одной щеке,
Мы обе вырастали под радугой одной,
Но разные дороги теперь у нас с тобой.
Из одного когда-то мы пили родника
И вместе собирали цветочки для венка,
И, может, сохранила тетрадка до сих пор
Одну и ту же песню о мощи наших гор.
Лишь в детстве беззаботном игра,

и звонкий смех,
И радость, и веселье — похожие у всех.
Пшеничную лепешку с восторгом ест малец.
А как она досталась, то знает лишь отец.
Наш смех рождало солнце, лицо ласкал
ручей,

Наш сон оберегала бессонность матерей.
Теперь умеем сами себе постели стлать,
И жизнь у нас такая, какой не знала мать.
Сестра, ты здесь осталась, в родимом
кишлаке,

А я под тем же солнцем жила, но вдалеке.
 Слова отца я помню: «Свой край любви
 И птицы мчат с чужбины, чтоб жить везде:
 Я рада, что не знает нужды твой светлый
 кров,
 Что счастье и достаток — удел твоих
 пенцов.
 Приветливая встреча любого гостя ждет.
 И материнский образ в тебе всегда живет.
 В далекую дорогу я собираюсь вновь
 И унесу с собою опять твою любовь.
 Качая колыбельку, где спит ребенок твой.
 Ты вместо колыбельной мой напевы пой.
 Ты колыбель качаешь, смотря в ночную
 тьму.

И песню напеваешь малютке одному.
 А я слагаю песни теперь для всех людей—
 И колыбель качаю большой судьбы своей...

Перевел с таджикского
 Ал. РОХОВИЧ.

Дим Даминов



К моей деревне ехать долго —
 И снег пройдет, и год пройдет,
 И тополь у родного дома
 Листою дважды прорастет.
 К моей деревне ехать полем —
 Висматривать издали
 За деревянной горюдьбой
 Мельканье белого платка.
 Вон там, вон там под красной крышей
 Мой дом родительский видать.
 Вот на крылечко кто-то вышел,
 Наверно, это вышла мать.
 Подъедешь — скрип калитки тонкий,
 Войдешь — в печи гудит огонь,
 И неумело, как ребенка,
 Подымеешь на руки гармонь.
 И на лады опустишь пальцы,
 Но не в ладах с тобой лады.
 А ты не станешь волноваться
 От этой малой ерунды.
 А мама скажет:
 «Ночью птицы
 кричали нынче высоко.

К снегам». Она снегов боится:
 Через снега сюда пробиться
 Бывает очень нелегко.
 Ах, нелегко сюда дорога.
 Отсюда нелегки пути!
 Мне у прощального порога
 Слов для прощанья не найти.
 Ах, это белое круженье
 Над черной пахотой земли,
 И это старое селенье,
 И крыша красная вдали...



Так что это было!
 Да, что это было
 Со мною минутой назад!
 Четырнадцать птиц
 С высоты опустилось
 На старый, заброшенный сад.
 Четырнадцать птиц
 Опустилось на ветви,
 И ожил заброшенный сад.
 Когда это было!
 Когда это было!
 Четырнадцать весен назад.

Четырнадцать птиц
 С высоты опустилось
 На белый ликующий сад
 Четырнадцать весен,
 Четырнадцать весен,
 Четырнадцать весен назад.
 Не ветер качнул эти тонкие ветви,
 Не с ветром беседовал сад...
 Но что это было!
 Что это было
 Со мною минутой назад!



Уйди невидимой тропой,
 Когда село твое затихнет,
 Визжащая перед тобой
 Береза в полумраке вспыхнет.
 Постой безмолвно у пруда.
 И сил не хватит удивиться,
 Когда прордогшая звезда
 О берег с плеском будет биться.
 У темных сумеречных вод
 Тебя встревожит плеск сазаний,
 Бесшумный филин проплывет,
 Большими ослепев глазами,
 И жуткая охватит тишь,
 И сердце станет биться часто,
 А ты уже не различаешь:
 От страха это или счастья.

Коротко об авторах этих
 стихов.

Г. САФИЕВА — 1947 г. р., окончила
 филиал Таджикского госуниверси-
 тета, работала в комсомольской печати.
 Сейчас — редактор республиканской
 пионерской газеты. Д. ДАМИНОВ —
 1941 г. р., живет в Оренбурге. Работал
 слесарем-монтажником, окончил пед-
 институт, был учителем, теперь —
 журналист. Студент-заочник Литинсти-
 тута.



ЮРИЙ
ГЕЙКО



НА КОЛОДЦЕ

РАССКАЗ

Автору — 24 года.
Он — военнослужащий,
лейтенант.



Рисунки
Н. СУСЛОВА.

Темнеет. Сумерки быстро затухивают закат. Степь за окном становится черной. Пора зажигать лампу. Но к чему она, если единственная книга давно прочитана, перечитана и сохранилась в памяти, как стихотворение? Прочитана даже газета за прошлый год, как-то чудом уцелевшая в тумбочке, а созерцание этой комнаты с двумя кроватями и самодельным столом, голых побеленных стен, знакомых до последнего пятнышка, вгоняет в смертельную тоску.

К тому же свет у керосиновой лампы неуютный. Когда зажигаешь ее, ночь за окном становится еще темнее.

Посику лучше в темноте.

Третью неделю я здесь один. Солдат, с которым мы охраняем единственный на многие десятки километров колодец с питьевой водой, уехал на машине-водовозке за продуктами. После его отъезда всю ночь лил сильный дождь, соляночки раскисли, и пробиться назад стало невозможно.

Если бы не сайганы, мне нечего было бы есть. Они приходят почти каждую ночь к луке, разлитой около домика. Я бью их наугад, на звук чавкающих в грязи копыт. Слава богу, патронов пока хватает. Так что о своем существовании я не беспокоюсь. А вот на «точке» запасов воды в резервуарах хватит, пожалуй, дней на пятнадцать, не больше. Значит, надо ждать со дня на день людей — приедут за водой.

В темноте я шарю по тумбочке, нащупываю сигареты, спички.

Все эти дни я живу воспоминаниями. Днем, когда комната полна солнечного света, когда я жарю на сковородке мясо, колю поленья на тонкие чурочки для своей «буржуйки», набиваю патроны, они отступают и прячутся бог знает где. Как только становится темнотой, прятаться надо мне. Но спрятаться от своих воспоминаний невозможно. И я, сняв портупею и сапоги, ложусь покорно на кровать, закидываю руки за голову и жду: какие же придут первыми.

Почему-то в них — а первые неизменно о службе — я всегда оказываюсь дежурным по части. Видимо, потому, что я люблю эти дежурства.

Весь мой день набит делами, как автобус в часы «пика» людьми. Непредельно даже присесть, выкурить сигарету.

Но наступает наконец время вечерней проверки. — Рота, три минуты — отбой!

Мне нужно подождать минут десять. Затихает скрип коек. Солдат засыпает быстро. Наверное, полусонная фигура дежурного по части в дверях действует успокаивающе.

Я миную дневальный: «Чтоб все было в порядке», — и выхожу на улицу.

А над площадкой звездный купол. Звезды, немигающие, яркие, как в планетарии, видны даже у горизонта. И кажется, что небо это только наше и смыкается оно с землей где-то недалеко, за двумя рядами колючей проволоки.

Я сажусь на ступеньку и закурываю.

Наконец-то я наедине с собой, а вся эта ночь моя. И я до рассвета читаю в дежурке, пишу письма или просто сижу — думаю.

А когда светает, тускнеет свет настольной лампы, я бужу «помдежа» и иду к КПП.

Ночью здесь никого нет — не положено. И каждый раз, когда я сотворяю тяжелые, влажные от утреннего тумана всрота, мне кажется, что я выпускаю на площадку день.

Я иду вдоль проволоки, проверяю ее, и всегда в это время появляется солнце...

Моя ночь кончается с подъемом.

Без пяти шестнадцать... Стараясь ступать тихо, я хожу между рядами коек. Только чуть слышно скрипят сапоги:

«Скрип, скрип...»

Да в углу, сопя, одеваются дежурные по кухне.

А вот мои. Даже во сне они разные.

Одни спят, свернувшись калачиком, натянута одеяло до самых бровей, — как дети. Другие — раскинувшись, беззаботно, их лица взрослые и во сне — характеры!

И во мне в эти минуты шевелится что-то отеческое.

И вдруг:

— Рота, па-а-дье-о-ом!

Тишина разбита вдребезги: скрипят койки, кашель, как поймавшее эхо, мечется из угла в угол, гулко стучат сапоги.

Еще один день начался... И он «прокручивается» передо мной во всех деталях, подробно, словно наяву...

А потом всегда вспоминается Москва.

Она врывается в мою комнату вереницами огней, людским потоком, блеском мокрого асфальта, горьковатым дымом тлеющих желтых листьев с бульваров.

Я иду по улицам — куда угодно. Если на Пушкинскую, то обязательно прихожу к ее окну. Окну, которое своим розовым светом озарило всю мою юность. По Герцена я попадаю домой, на добрую, старомодную Пресню, в квартиру, где уже целый год живу без меня...

В Измайлове, в спартанской комнате студенческого общежития, меня ждут друзья.

Когда я прихожу туда, комната оглашается приветственными криками, звоном посуды. Наговорившись, накумевавшись, все притихают, и тогда Валерка берет в руки гитару.

На мгновение он замирает, устремив взгляд куда-то сквозь нас, словно видя наше будущее и раздумывая, какая же песня лучше всего будет там поминаться, и начинает:

Ну, что, мой друг, свистишь.

Мешает жить Пария,

Ты посмотри — вокруг тебя тайга...

Там есть слова и про меня:

Немного подожди.

Политусь дожди.

Отсюда нигде не уезжать...

Но сейчас этого никто не знает.

А потом я уезжаю.

Друзья пришли проводить меня. И Валерка, как всегда, с гитарой. Поезд вот-вот отойдет. Я стою в тамбуре последнего вагона и сверху вижу сразу всех. Многие мне завидуют.

— Какой ты счастливый! — говорит Галка, глядя вперед на напряжившуюся стрелу поезда и туда, дальше, где рельсы сливаются в серебряную нить.

— Ты думаешь, он привезет меня к счастью?

— Не знаю. Но видеть незнакомые края, новых людей — это тоже счастье.

— По-моему, это гораздо проще. Кто-то мне сказал, что счастье — это когда утром хочется на работу, а с работы очень хочется домой.

— Может быть.

Вагон трогается, я поднимаю руку. И в ответ на мое приветствие звенит гитара и вслед мне летит наша любимая песня:

Над Москвой встает зеленый восход,

По мосту идет оранжевый кот...

...Часто мои воспоминания продолжают во сне. Так случилось и на этот раз. Я незаметно уснул под заунывный гул ветра, журчанье воды в колодеце и осторожные поскребывания мышей.

...А колеса все стучат и стучат. И поезд, покачиваясь, куда-то несется...

Я просыпаюсь, когда солнце уже довольно высоко. Печка остыла, в комнате прохладно и солнечно. За окном распласталась степь, серебристая от инея. Странная она, эта степь. До сих пор не могу я к ней привыкнуть. К ее обманчивым ночным огонькам, до которых, рукой подать, но есть, едешь всю ночь, а они все там же. К разноцветной земле, то красной, то фиолетовой, то черной, то белой от соли. К адовой жаре, когда хочется снять с себя собственную кожу. К зиме с сорокаградусными морозами и штормовыми ветрами. К солнцу — ослепительному и жестокому, которое, будто рассердившись за что-то, взяло и выжгло эту землю...

Мне говорили, что я буду тосковать по дому лишь первое время, а потом привыкну. Получилось не так. Тосковать было некогда.

— Машины для нас — это все, — сказал мне майор черных, командир части, в первый день моего приезда. Я стоял перед ним еще в гражданском. — Ты имеешь высшее образование, автомобиль, москвич, парень молодой, энергичный, давай действуй.

Первым, что я получил из обмундирования, был комбинезон. И первое, что сделал, — залез под машину. Образование образованием, а практика практикой. Ударить в грязь лицом перед солдатами даже в пультке не хотелось.

Если с машинами все стало ясно и даже интересно, то документация и отчетность приводили меня в отчаяние. Хитроумная система списания, перебрашивания лимитов, наряды, накладные — это было потрудней, чем уравнивания высшей математики. Но постепенно я постиг и эту премудрость.

...Я представляю, как сейчас в парке Жучок, молоденький солдат майского призыва, он тракторист, готовит трактор, чтобы добраться сюда, на колодец. Работы там немного, но и с нею не торопились: не ожидали, что вместо заморозков грянут дожди.

Вот он заводит трактор, пускач захлебывается на высоких оборотах, дизель чихает раза два и начинает солидно ворчать. Он ревет все громче и громче, словно приближается, и вот уже грохочет над самым ухом...

Я открываю глаза.

Оказавшись, я спал, и будит меня громкий стук в дверь.

Наконец-то! Забыл о холоде, я вскакиваю и открываю дверь. На пороге стоит Жучок.

— Здравия желаю, товарищ лейтенант! — басит он.

— Здравствуй, Жучок, вход! Добрался все-таки?

— Добрался.

— Ну, как там дела? Садись, рассказывай.

— Чего рассказывать? Воды мало. Тягач ждут с поселка.

— Зачем тягач?

— Воду возить.

— А твой трактор?

— Не проходит он, застрял.

— Где застрял?

— Да на первом же километре, у ориентира.

- А ты на чем приехал?
- Пешком пришел.
- От самой площадки?
- Да.
- По грязи? Сорок два километра?
- По грязи!

Вытаскивая из Жучка слова было мучительно.

— Да можешь ты толково, по-русски, рассказать, что случилось?

— Так я ж по-русски и говорю. Сели мы с Васильком...

- Терещенко?
- Да. Поехали. Он встал. Ну, я вернулся, взял харч, почту и пошел.
- Кто тебя послал сюда?
- Никто.
- А как же ты пошел?
- Сам и пошел.
- А командир знает?
- Нет.
- Почему?
- Да он и не отпустил бы.

Видно было, что Жучку уже надоел непонятливый лейтенант. Что тут удивительного — пройти сорок два километра, хоть и по грязи?

Я понял, что мне из него больше ничего не выдавить, кивая на вешалку.

— Ну раздевайся, коль пришел.

Жучок снимает с плеча туго набитый вещмешок, аккуратно ставит его в угол. Негнущимися от холода, ободранными пальцами расстегивает крючки шинели. Голенища сапог и полы его шинели покрыты толстой коркой глины, у подошвы, на кирзе, выступила соль. Он засовывает руку глубоко за пазуху и бережно вытаскивает оттуда небольшую пачку писем.

— Вот, товарищ лейтенант, письма. Вам четыре и мне четыре. — Последнюю фразу он произносит с нескрываемым удовольствием. Жучок, кажется, ужасно рад, что ему пришлось не пять, не шесть писем, а столько же, сколько и мне. Разделив пачку пополам, он одну половину кладет на тумбочку ближе к моей кровати, другую — ближе к своей.

— А ты свои разве не читал?

— Нет.

— Почему?

— Я нарочно их не распечатывал, думал: дойду — вот тогда почтито. А ты не дошел бы, — простодушно вздохнул он и задумался.

Он сидел на кровати, широко расставив уставшие и наверхья мокрые ноги, сгорбившись и уперев руки в колени. Короткая рыжеватая шевелюра его была взъерошена и еще мокра от пота. Мальчишка в солдатской форме с тонкой шеей и огромными натруженными руками.

— Значит, так, — сказал я командирским голосом, и он восторженно. — Письма отложим, а сейчас надо согреться и покурить. Промок?

— Да есть маленько.

— Разуваясь, вешай портянки на печку, а я пока дров наколю. На ноги надень валенки, вон в углу стоят. Понял?

— Так точно.

Через полчаса комната наполнилась теплом. На плите постукивал крышечкой кипятиль чайник и замечательно шкворкала сапом жареная картошка.

Что никогда не жил за тысячу километров от родного дома, кого по утрам не будило громовое «Подъем!», кто не носил пропитанной потом гимнастерки, не задыхался на кроссах в противогазе, не прикипал оконевшими пальцами к холодному металлу, тот никогда не поймет, отчего у мальчишки-солдата такие огромные, с незаживающими ссади-

нами руки, отчего дрожат они, эти руки, когда надывает солдат тоненькое письмо.

Кто не месил грязь солончаков, не ночевал в заснеженной снегом машине, не гнался под степным бураном, но коротал тоскливых вечеров в казарме, прислушиваясь к вою ветра и волков, тот никогда не испытает такого наслаждения от чтения письма, которым сейчаслучил Жучок. Выражение его лица менялось каждую секунду, губы шевелились. Испысанный лист мелко подрагивал в руках.

Я не спешил распечатывать свои письма. Мне было интересно понаблюдать за этим всегда немногословным, замкнутым парнем. Теперь я его не узнавал. На щеках выступил румянец, глаза блестели и улыба-лись.

Закончив чтение, он ткнул пальцем в конец письма, застенчиво взглянул на меня и перепечатал: «Крепко тебя целую, мой милый. Люблю, жду, скучаю. Пиши. Твоя Катя».

— Чудная девка, — сказал он, аккуратно засовывая письмо в целофановый мешочек с документам-ми.

Меня слегка покорило последнее слово. Но Жучок этого не заметил. Он смотрел куда-то далеко, сквозь стену. В его глазах мерцал слабый огонек керосиновой лампы.

Потом он начал рассказывать. Не для меня, а просто так. Я понял, что ему сейчас очень хочется это рассказать, что не случись у нас такого вечера, я два года прожил бы рядом с ним, слушал бы его односложные ответы и никогда не узнал бы того, что могу узнать о нем сейчас. Бывают у человека такие минуты.

Он говорил неторопливо, даже с трудом, часто запинаясь и подбирая нужное слово. Взгляд его блуждал за стенами комнаты. Наверное, он видел то, о чем рассказывал.

А я видел серебристую под лунным светом иву у реки. И двое, обнявшись, спрятались под ее черной тенью.

Однотонный собачий лай долетал до них словно из другого мира. А в этом мире журчала вода в берегах, шелестела осока. Басовитым мужской шепот вплетался в эти звуки, и ему отвечал нежный девичий смех.

Я слышал шорохи, рожденные ласками, счастли- вым вздох взметнулся к небу, и в прохладной траве сплелись горячие руки...

Жучок замолчал. Я молчал тоже. Слова звучали бы сейчас слишком громко.

— И вот она пишет... — сказал он и поглядил конверт рукой. — А что вам пишу, товарищ лейтенант?

Я улыбнулся.

— Мне по сравнению с тобой не повезло, Жучок. Мне таких писем не пишут... Я перебрал конверты. — Это от отца... Еще одно тоже от него. От брата. От друга...

— А девушка вам не пишет?

— Нет.

— Поссорились?

— Не угадал. Ее у меня просто нет. Понимаешь? Свободен, как птица.

— Как же такое может быть?

— Вот так...

Я чувствовал, что это не ответ, что он ждет от меня такой же откровенности, на которую решился сам. Я не мог его обмануть.

...Над Москвой гремела летняя гроза.

Вода стремительно несла вдоль тротуаров пузыри от дождевых капель. Ожившие сливные решетки



довольно чавкали и пожирали ее вместе с окурками.

Ливни то моментально затихали, то неожиданно обрушивались с новой силой. Прохожие передвигались перебежками. Все это напоминало знаменитые и коварные петергофские аттракционы с фонтанами.

После одной из таких перебежек, спасаясь от дождя, я заскочил в телефонную будку с запотевшими стеклами. Там стояла девушка в белом мокром платье и слизывала с губ дождевые капли.

— Извините,— пробормотал я и так растерялся, что даже не подумал уйти.— Такой сильный дождь...

— Вам его уже нечего бояться.

— Так же, как и вам,— показал я глазами на ее мокрое платье, прилипшее к телу. Оно так нескромно облегло ее фигуру и так просвечивало, что я смутился.

Девушка перехватила мой взгляд и покраснела. — Мне нужно позвонить...— Она порылась в сумочке и зажала в кулаке трехкопеечную монету. — Звоните.— Я отвернулся к стеклу.

— У меня интимный разговор.— Она сделала ударение на предпоследнем слове.

— Для интимных разговоров, как и для остальных, до сих пор использовали девушки.— Я достал две монеты, опустил одну в прорезь, а другую демонстративно засунул в карман.— Кстати, мне тоже

нужно позвонить. По интимному делу.— Я передразнил ее интонацию и вышел из будки.

Дождь не утихал. Но я пренебрежительно стоял под ним, и мне не хотелось уходить. Конечно, звонить она не стала, а просто ждала, когда пройдет дождь. Или когда я уйду. А может быть, когда высохнет ее платье.

А потом я провожал ее домой. Через всю Москву. Мы шли и разговаривали.

Успокоившись, ворчал гром, и падали редкие теплые капли. Пахло травой.

Почему-то первый день наш мне запомнился до мелочей. А дальше они все слились в хорошее время.

— ...А хорошее время, Жучок, быстро кончается. Кончилось оно и у нас. Только не спрашивай, почему. Это называется «не сошлись характерами». Понял?

— Понял, товарищ лейтенант. Только вы не расстраивайтесь, еще будете счастливым, все образуется,— сочувственно смотрит он на меня.

Мне становится смешно. На этот счет я спокоен. Конечно, образуется, не нужно только спешить.

Еще буду бегать на свидания, а потом, позже, по утру хотеть на работу, а с работы мчаться домой. Жизнь, она ведь длинная.

ВЯЧЕСЛАВ
ШЕРШЕВ



СТАРЫЙ БАГЛЕЙ

РАССКАЗ

Автору — 35 лет,
он журналист,
живет в Севастополе.
Участник семинара
молодых писателей Украины
(1971 г.)

Ветер дул с запада. В бухте развело волну, ревел предупредительный буй на фарватере, брызги взлетали высоко, и когда катер шлепался носом в накатывающий пенистый вал, соленая изморось била Баглей в лицо. Он не отворачивался, только прятал папироску в кулак, чтобы не погасило ненароком.

Еще вечер было тихо, лунно и оттого светло, а ночью месяц затянуло и пошли облака. Темнея, они свалились в плотную, тяжелую тучу. Медленно наливаясь яростью, туча ползла на город.

А к утру задул этот ветер. Вступив в единоборство с тучей, он старался разорвать ее — отрывал клочья и гнал, гнал их на восток, но они снова собирались в стаю: туча залечивала свои раны и, угрюмая, упрямо ползла, закрывая и разгорающееся солнце и посветлевшее небо.

Встав по обыкновению в шесть и в восьмом часу выйдя на улицу, старый Баглей увидел с берега бухты суматоху волн, но не удивился этой внезапной перемене: за прожитые пятьдесят четыре, тридцать из которых прошли здесь, Баглей привык к своему морю.

Невысокий, толстый, краснолицый, с прокуренными сивыми усами, он чем-то напоминал Тараса Бульбу. И как тот в своих знаменитых шароварах, так и Баглей без шлема, в мешковатой водолазной рубашке из неподатливой резины выглядел еще бравым казакиной. Пятьдесят четыре далеко не старость, но жена звала его «старый», и все окружающие звали его «старый», потому что раньше был еще один, молодой Баглей...

Старый Баглей тяжело топал к трапу, где на него надевали котелок шлема, туго заворачивали три массивных болта и, шлепнув по этой медной башке с дикивинными стеклянными глазищами, кричали: «Готов!»

Глядя на него со стороны, трудно было удержаться от мысли, что голова его, заключенная в мятый круглый шлем, становилась как бы существом самостоятельным и начинала жить собственной жизнью. Отделенная от тела медной манишкой, она вертелась туда-сюда за толстыми иллюминаторами, добродушно — хлоп-хлоп! — моргала зелено-серыми глазами в белых ресницах, смешно шевелила губами и топорчила усы.

Рисунок
А. ПУШКАРЕВА.

Баглю же, когда шлем был уже привинчен, изнутри, из-за стекла, казалось, что люди как бы отделились от него, отделились и существуют сами по себе, а он — сам по себе и только кабель-сигнал да тонкая масса воздушного шланга еще соединяют его с ними...

С каждым своим шагом вниз по трапу он действительно отстрелялся от этих людей и от этого мира, и, когда тонкая пленка воды, в последний раз отразив его перевернутую вниз головой фигуру, смыкалась над ним, он оказывался в другой, потусторонней жизни, где все сразу увеличилось в размерах, кохлялось и становилось темным и безликим.

Прямо перед собой Баглей видел облепленное ракушками дикое катера и блестящую, точно лемех плуга, лопасть винта. Это и был лемех, неутомимо вспахивающий морские борозды, и Баглю, приехавшему к морю из степной казачьей станицы, было приятно сознавать свою причастность к земледельцам.

Когда его свинцовые галоши касались грунта, поднималась мутное облачко ила, Баглей обступала тишина. Он любил эту тишину, лишь изредка нарушаемую поскрипыванием якорной цепи или смутным гулом проходящего где-то вдалеке судна. В этой тишине, глаза глаза привлекали, ноги топали в нужном направлении, а голова ритмично нажимала клапан золотника, можно было не торопясь много и обо всем думать.

Больше всего Баглей горевал о сыне. Как он нужен был ему теперь, как нужен, господи ты боже мой! И хотя не земля сделала ему зло, а море,— это оно, оно унесло сына! — он все равно любил море. Старый Баглей прекрасно понимал: море тоже принадлежит земле, покоится в ее лоне, как дитя в колыбели — огромное, капризное дитя, то мирное и сонное, мерно поспысывающее, то мятущееся, с ревом бросающееся на берег, хрипящее и стонущее, словно в горячке.

Часто, когда Баглей шагал где-то среди водорослей, поднимая галошами хрупкие розовые раковины, или колдовал с гаечным ключом, или терпеливо, виток за витком, распутывал колючий стальной трос, наматывавшийся на судовой винт, ему все же нет-нет да и приходило в голову: зачем все это, отчего ему нейтес-таки наверх, на воле, где воздуха сколько хочешь, где все прочно, определенно и навсегда? Здесь же все было зыбко, как во сне, движения становились нереальными, неестественно плавными, словно его сняли для кино и показывают замедленными кадрами: ни победать, ни размахнуться как следует. И такой враждебный, чуждый человеку и опасный для него мир был за стеклом иллюминатора: маленькая щелочка, и хлынет смертельная, леденящая тело и душу струя.

Его всегда кто-то ждал там, на земле. Правда, жена с невесткой не знали подробности его суровой работы, он не говорил никогда об этом, да и что он мог сказать им? Сегодня он подымал затопленную в войну баржу, завтра обследовал прибрежную полосу в районе будущего мола, через неделю вел подрывника к обнаруженной нападни рогатой смерти, встрявшей в скалы и по сияю пору тающей взрыв в туманном чреве... Случалось всякое, и даже при желании вряд ли можно было объяснить людям несведущим, никогда не нырявшим и с ластами, в маске, как оно там, под водой, и в чем состоит его мужское дело.

Эту же строгость, сдержанность чувств и слов воспитал старый Баглей и в своем Алексее. Ему одному иногда говорил он о своей стране молчания и

сумрака, о ее суровых законах и, когда впервые зашел на столе у мальчика затрепанную книжонку о водолазах, но поддал виду, но довольно хмыкнул в усы, едва жена отвернулась.

Теперь, если она, не сдержавшись, потрекала его тем, что это не море, а сам он — сам! — отнял себя у себя и у нее, приохотив к подводному делу, Баглей мрачнел, скрипел зубами, зыркал на нее из-под бесельных бровей, отворачивался, боясь сорваться и наорать, и усы его печально нили. Разве может он видеть его старуха, что иначе и не могло быть! Он ведь хотел воспитать Лешку мужчиной. Мужчиной, понятно?

Ну, отчего так выходит в жизни: научи он Лешку большей осторожности, расчету — не трусости, нет! — и сын был бы жив... Он гордился своим парнем, его старшинскими нашивками сверхсрочника, и вот куда привела гордыня...

Но уж если кто виноват, так тот недотепа-лейтенант с его отказавшим аппаратом... Э, да что теперь-то говорить!

И сколько ни ругал себя Баглей за такие паскудные мысли — ведь хотя бы тот лейтенант, не нарочно же он задохнулся! — но легче не становилось...

Сегодня к горлу что-то опять подкатило; Баглей теперь даже стал иногда побавиться тех первых минут, когда под водой остался один на один со своими мыслями и воспоминаниями. И, увидев подгулявшие пенные грибы, он неожиданно для себя самого обрадовался. Спуск отменял, как пить дать, отменял: эти колуны из «гидроморств» вечно срывают графики, и он пораньше уйдет домой. А там, бог даст, придут ребята, бывшие подчиненные Алексея, его товарищи, и все как-то скрасят вечером, и будет казаться, что и Лешка с ними, толпой вот куда-то вышел, в магазин, что ли, побегал за склянкой, и вот-вот войдет сюда секундокур...

Его «РК-40» стоял у пирса, пофыркивая сизым дымком. Когда то поднимал его над склизкими сваями, обросшими зелеными бородами, то резко ухал вниз, грозя оборвать швартовы. Катер терся бортом о толстую резину старых автопокрышек, прикрученных к причалу. Так добрая, работающая домашняя скотина трется утром о плетень, не спеша впрягаться в яро.

Уже на месте, намывавая руки — так положее продвинуться в манжетке водолазной рубахи, — еле удерживаясь на ногах от жестокой болтанки, Баглей машинально отменял про себя, что давеча обещал сделать строителю газопровода. Забитая заглушками с обоих концов, плетя очередной секция моталась на плаву, едва удерживаемая расчалком. Час-другой — и штурм согнет, а потом сломит ее как хворостину. И все — время, деньги и пот людской, — все вылетит в эту гигантскую трубу. Секцию надо было поскорее заполнять водой и заталпывать, но, чтобы не делать двойную работу, заталпывать не лишь бы как, а чтоб легла в приготовленную для нее каменную «постель» аккуратно, точно, по чертежу. Если бы эту паршивую «постель» довела до конца субботняя смена и если бы сварщики шипели своими горелками побойчее, вся подводная часть трассы была бы закончена еще в воскресенье. Да, недаром же: понедельник — день тяжелый...

Ступив на грунт, Баглей осмотрелся, подвсплыл немного, повиснув в водной толще. Шланг с кабель-сигналом тоже повис в воде. «Выбери слабинку», — сказал Баглей в телефон; на палубе тотчас поняли, подняли «хвост», и Баглей уверенно зашагал вперед, с каждым отвопаванным у глубины метром снова погружаясь в свой мир привычного одиночества.

Странно и тяжело было ему подчас в этом мире. Странно и тяжело оттого, что чувствовал он себя одновременно и как бы моложе и гораздо старше сына. И не сын, как положено человеку природой, а он, отец его, будто советовался с ним в такие минуты, ждал подсказки. О горе, горе, как пережить тебя!.. Говорят, время лечит лучше всяких докторов... Но минувшие месяцы не принесли облегчения. Горяча была рана: остался Алешка первым и единственным.

По воскресеньям старый Баглей тайком уходил из дому. Пропадал часа три, возвращался — иногда выпивший, чаще трезвый. А если жена заводилась, отмахивался:

— Как будто не знаешь, где... В порту, в порту, где же еще?

— Ой ли! Что-то застал ты по выходным-то... Уж не завел ли молодуху на стороне!..

— Окстись, старая! Сказано, в порту... Нам, ветеранам, и почет — по воскресеньям дежурить... Молодые разве согласятся?

Нельзя сказать, чтоб он ни в грош не ставил свою старуху. Исправно ходил в магазин, подметал в доме, иногда и полы скреб, подтирал кое-что, если жене становилось совсем невмоготу.

По воскресеньям было его днем.

В местном военно-морском музее с недавних пор привыкли уже видеть в этот день толстого краснолицего человека. Он бегло обходил по порядку все витрины и модели, делая вид, что это его страшно интересует, бросал взгляд-два на картины, изображавшие ракетные учения, стрельбы и боевые вылеты, и надолго застыл у крайнего к выходу окна, где одна витрина была отведена героике сегодняшнего флота.

Там, на красном, еще не успевшем вылинять бархате лежали среди прочих Алешины вещи и документы: разможенный и высушенный, покорбленный комсомольский билет с черными разводами туши и растекшейся фиолетовой печатью, характеристики, Указ о награждении орденом (посмертно). Рядом, в застекленной стойке, — баллоны кислородного аппарата, который, как явствовало из таблички, старшина А. Н. Баглей во время боевых учений отдал, а вернее, насильно надел под водой потерявшему сознание командир.

Баглей смотрел в который раз на эти документы и вещи, называющиеся теперь по-ученому солидным словом «экспонаты», и то осуждал Алексея, то хвалил его.

— Сына, сына... — бормотал старый Баглей себе в усы, под шарканье, покашливание и говорок редких в такое время для экурсантов. — Ты у меня был молодчиной, сына... Только на кого ты бросил свою молодуху, и нас, и море свое? Как же так без тебя, как же, а?.. Разве думал я когда, что не ты мой, а я первым увижу твои смертные очи? Разве думал?!..

И от этого бормотания, от вида привычных, ставших близкими вещей у него будто легало на душе.

Однажды, когда Баглей вот так же разговаривал с сыном, кто-то выжидающе кашлянул рядом. Молодой, коротко остриженный, как после болезни, лейтенант, не глядя Баглею в глаза, как еще больше наливаясь краской, сказал неожиданно:

— Болит?

— Жмет... — прохрипел Баглей, сердцем чуя, кто стоит перед ним.

— Я за вами все ходил, — сказал лейтенант. — Все не решался...

Старый Баглей молча смотрел на него. Лейтенант затоптался:

— Я от Алексея слышал — вы старый моряк. Лучшее меня знаете, что это такое — море... Мне уже потом сказали, в госпитале. Мне еще рассказали потом... Сам-то я и не помню ничего. Провал какой-то в памяти, как отрубило чешу.

— Да... — прошипел Баглей, тихим кашлем прочищая горло. — При длительном кислородном голодании случается. А то и хуже: на всю жизнь помаленьку тернут, да...

— Я вот что... — Голос лейтенанта отвердел. Он поднял на Баглея взгляд. — Я вашему сыну обязан жизнью. Я все в госпитале думал: если все с женой что-нибудь нужно, так я...

Ничего не сказал старый Баглей. Тысяча чувств разом отразилась на его лице. Поднялась рука, склалась в кулак, расправилась, да так и опустилась... Отвернулся Баглей, невидящим взором уставив в Алешины вещи. Ничего больше не добавив и лейтенант. Наклонил голову и, неловко неся впереди себя фуражку, быстро пошел к выходу. И пропал, будто и не было его, будто поцудился в толстом витринном стекле.

И теперь вот, печатая по грунту свинцовыми бахилами, все гадал Баглей: привиделось ему то в зыбком свете музейных залов или наяву было. Вышла-то встреча — она такая: ничего и не сказали толком, растерялись оба — и лейтенант и он, Баглей. А не раз, не два думал о том, как бы встретил этого парня. Думал и метался. И ненависть к тому человеку, и страдание, и жалость — ведь, поди же ты, болезный еще, но живой ведь! А его кровинушка, сына его родный, единственный... Эх! И какое-то удивление брало вверх: знать, уважал, а может, и любил Алеша этого парня, своего командира, раз пошел на такое. Есть, правда, святое правило: сам погибай, а товарища... Ну, а по совести если: бывает ведь и не вручают...

И путалось, путалось в голове у Баглея, как тот шланг, что вечно цепляется ни к месту, ни ко времени. Как назло, и сейчас зацепился вместе с кабель-сигналом за какую-то шутовину, обросшую красными веточками водорослей да черными створками мидий...

Случалось ему и раньше проходить мимо этой шутовщины, которую поначалу принимал за причудливую скалу. Свет сейчас едва брезжил здесь, в чуть потемневшей глубине блеснувшей монетами стайка ласкириков, и, глядя на них, Баглей усмехнулся: «Скоро богатым буду...»

Он обомшел вокруг скалы. И не скала это вовсе — обломок.

Обломок какого-то судна, скорее всего стоящая торчком корма невезучего катеришки, разломанного пополам прямым попаданием бомбы или крупного снаряда. И не распознаешь сразу — так густо обросла ракушками и кустиками водорослей. Он колунил черную створку мидии, попробовал оторвать. Куда там! Ее разве что ломиком!.. До того крепко вилась... Смотри ты, теревцы какие, и на голом железе живут! Хотя какое это теперь железо: там на три пальца в ржавчину влезли морские организмы, утрамбовались за долгие годы ил, пыльно распустили чуткие жидкие цветы — зеленые актинии. Жизнь, жизнь всюду... И старый обломок служит ей верой и правдой. И стоит, возвышаясь, как памятник. Сколько раз проходил тут старый Баглей и не замечал, что не скала это и даже не обломок, а памятник.

И, уже работая возле каменной «постели», куда должна была лечь невидимая ему с грунта секция геопровода, думал об этом обломке. Поставить бы вроде него памятник подводникам, водолазам —



под водой, на том самом месте, где погибли они, встретить смерть свою достойно. И Алеше вот... Якорь врыть или столбик какой... И обрестет он жизнь и зацветет...

И тут же застыдились своих мыслей. Что ты, что ты, старый Дуришь... Не нужен тебе одиноличный холмик. Горе свое носи в себе достойно, не растревай раны своею, не отгораживайся от людей чужтиной оградкой. Труд твой принадлежит людям, но и сын твой принадлежит им и подвиг его!

Но если сын мой принадлежит всем людям, то почему так больно только мне одному? Почему они все продолжают ходить по улицам, будто ничего не случилось... есть мороженого, смеяться, смотреть кино, светить на стадионах в два пальца, хамить иногда в троллейбусе? Почему героическая смерть Алеси не изменила их? Неужели все проходит бесследно?

«Нет, не может того быть!» — твердо сказал себе Баглей. — «Просто все обрывает жизнью, как тот обломок, а зацветают кустики даже на железе...»

И, ворочая в мозгу свои тяжелые мысли, говоря с сыном и собою, он продолжал рыть и рыть вязкий, стекающий вниз грунт, весь в мутном облаке ила, издали, должно быть, похожий в своем мятлом шлеме с рожками кланово на черта, шуршащего в облаках пара котлы с грешниками. И, выкалывая, как черт (хотя вряд ли кто-нибудь видел, как выкалывают черти), выкалывая так, что пот заливал глаза, а утеревшись рукавом было нельзя, Баглей знал: от него сейчас зависит многое.

С тех пор, как медицина перевела его на мелководие, Баглей еще злее стал до работы. Правда, как мелководие плавать — для водолаза понятие относительное: погружение до сорока пяти метров — это вам не в ванну нырять. И все же в душе он тогда посчитал себя обиженным: как-никак, дед в свои восемьдесят шесть сам еще на лошади садился. Да и у него, внука, силенка не поубавилась: на «РК-40» шутят, что старый Баглей, если захочет, тумбы кинуть может. Но с медицинской так и пришлось примириться: все уже шумело в ушах, слыно море, с которым всегда имел дело, продолжало плескаться днем и ночью уже в нем самом.

Здесь, где он работал сейчас, было не так уж глубоко, а шторм, казался бы, не ощущался. Но безликая, однородная масса воды почти незаметно колыбалась, беспорядочно и грозно.

Ему страшно хотелось стереть пот, заливающий глаза, хотя уж кто-кто, а он-то превосходно помнил: это невозможно. Но желания бывают сильнее нас, и Баглей бессознательно провел резновым рукавом по стеклу алюминатора. И, проведя, понял, как сильно устал. Устал от беспорядочных, сумбурных мыслей своею, перескакивающих с пятого на десятое, и от этой чертовой работы.

— Глотов! — запыхтел он в телефон. — Глотов, чи ты заснул? Смену шли... Смену, говорю, шли! Наверх выхожу...

В трубку помолчали, потом Глотов осведомился: — Ну, как там, дед, мотает? А у нас тут что делается! Погодка вроде невзвешавшейся женки: хмурится да капризничает...

— Да чего ты мне там про погоду! — осерчал Баглей. — Смену давай! Умаялся я...

— Да это я так, тебя развлекаю... — хохотнул Глотов. — Ну вот и сменишь твой говор... Еремин, Еремин! — переключился он на другой телефон. — Готов? Ну, счастливо... И минуту погода: — Дед, это я уже тебе... Ты вот что... Ты погоды там, пока он подоспел... Он парень молодой, запугается еще где. В случае чего из положения вместе выпутаетесь... И первый засмеялся своей шутке.

— Ладно, жду, — согласился Баглей. И добавил: — Еремин, Еремин, алло, Еремин! Ты там швыдаче ногами двигай... Да возле той скалки, что на сороковой отметке, поосторожнее. Там железак богато накопано, шланг пережмешь...

— Не маленький! — сказал Еремин, но в голосе его не было заносчивости. — Все у тебя?

— Все, — сказал Баглей.

— А воздух, воздух как? — снова вострял Глотов.

— Нормально воздух...

— Ну, ждем... В трубку захрипело и умолкло.

Баглей положил локки возле себя на приметный камень, поддул в костюм немного воздуха и завис в воде, отдыхая. Скоро он почувствовал, как нити, соединяющие его с палубой «РК-40», то натягиваются, то ослабевают. «Еремин идет, шустрый, — одобрително хмыкнул он в усы. — По моему следу». Показался огромных размеров фигура водолаза. «Экой вымахал!» — снова отметил про себя Баглей. «И двадцати пяти нет, поди, только срочную отслужил, а дядя уже будь-буды!».

Отмеряя за раз саженое расстояние, медленно и плавно переставляя ноги, словно он катался на гигантских шагах, Еремин подошел. В знак приветствия, хотя они уже виделись сегодня на катере, он поднял руку, спросил в телефон, что делать. Рассмотрев лицо Еремина из-за темени и известковой мути Баглей не мог, но ему почему-то казалось: Еремин не переставая улыбается всем своим широким, толстогубым лицом, спокойно и добродушно.

— Ты, когда на гребень выходишь будешь, побережись, — показал Баглей напарнику на крутой откос, уходящий от них вверх под большим углом. — Начнешь вот сюда, да не гони, а то самого завалит...

И, растолковывая задачу, старый Баглей сам не заметил в полутемном царстве водородель, ракушек и рыбешки, как в руках его снова очутился локки, и он выкалывает, выкалывает рядом с Ереминым, и от них обоих, как от диких животных подводных чудовищ, бегут вверх султанички воздушных пузырьков.

Сухарк вокруг сгустился, и колыканье стало ощущаться явственней. Глотов оттуда, сверху, включился и спросил, чего Баглей застрял.

— Годи трошки, — недовольно отозвался Баглей. Теперь он уже был раздражен, как раздражается человек, которого отрубают от дела без нужды. И, слыша нарастающее ворчанье Глотова, сказал: — Выхожу... Оркестр там приготовь...

На что Глотов охотно и весело отозвался:

— Ага! Как же без оркестра? Обязательно!

Баглей бросился сквозь массу воды к Ереминому и толкнул в плечо: ухожу, мол, пока... Но Еремин увлеченно продолжал работать. Он орудовал так уверенно и свободно, будто ему не приходилось преодолевать сопротивление толщи воды, замедляющей движения, искажающей направление удара.

И в тот момент, когда, ударив особенно удачно, он поддел ломом над собой здоровый камень, отчего чуть сам не взлетел вверх, весь пласт, державшийся на этом камне, стал медленно оседать, оседать и вдруг быстро пошел вниз.

Баглей первым увидел опасность, присел, охнул, схватил Еремина за манжету рубахи и потащил в сторону, но было уже поздно. Ухнувшая полоса грунта, волоча камни, лавиной ринулась на них. Ринулась как-то плавно — казалось, можно еще успеть вырваться из-под нее, но вместе с тем так быстро, будто все, что происходило, было нереально, во сне. И Баглей с запоздалой горечью подумал: «В воде не бежишь...»

Его сильно ударило в голову, шлем загудел, как колокол. «Бум-м... бум-м!» — отдалось в ушах. Он

упал на колени, больно ударясь о камень. Сверху навалилась непомерная тяжесть, на мгновение все померкло, но вот сознание вернулось, и все равно вокруг было совершенно темно.

«Ослеп!» — мелькнула дикая, непривычная мысль. Баглей ошупав себя: все было цело, руки двигались, ноги снова прочно упирались в грунт, вода нигде не пробивалась, не сочилась. Поднял руку, но не успел разогнуть в локте, как она во что-то уперлась. Теперь понял: не ослеп он от страшного удара по голове. Вот она, еще одна вмятина в шлеме. Но сознание, что не ослеп, почти не принесло облегчения. Темнота не проходила, и он догадался, отчего она не проходила: их все-таки угрозило очутиться под лавиной. Их могло бы раздавить насмерть всей этой многогтонной массой сланца, земли и камней — всего того, что он называл коротким словечком *г р у н т*. И пощадил только потому, что камень, который пытался выворотить Еремин, застрял, послужив козырьком над ними, и лавина огйбала его, как водопад огйбает скалу, с которой он низвергается, но под которой можно стоять, слушающая его рев.

Воздух все продолжал поступать, но связи не было. Телефон молчал в этой черной пустоте, как молчала сама черная пустота. С каким наслаждением услышал бы сейчас Баглей хрипение в телефонной трубке, простуженный голос Глотова, даже матерщину!..

Однажды его уже заваливало, в войну, когда они поднимали поврежденную «малютку», а какой-то отчаянный фашист, заметив с воздуха яптно под водой, швырнул на всякий случай глубинную бомбу. С тех пор Баглей твердо взял себе за правило откатываться сразу же, пока грунт не осел, пока перед тобой, быть может, еще только тоненькая стенка, легко поддающаяся инструменту или даже голым рукам...

Он нагнулся за ломиком и нащупал возле своих ног скользкую резину скафандра. Руки быстро определили в темноте направление и побежали, ошупывая тело. Пояс с грузами... Манишка... Котелок шлема... Цель! Иллюминаторы цели! Теперь руки побежали вниз, к ботам Еремина, большие всего были наткнулись на перебитый шланг или заваленные гнутые ноги. Нет, все в порядке... Но почему он не встает? Почему он не встает?! И старый Баглей выругался от обиды и злости.

Он нашел руку Еремина и сжал ее. Рука слабо шевельнулась в ответ. Тогда он опустился рядом с Ереминым и прислонил свой шлем к шлему напарника.

— Еремин, ты живой?! Еремин?! — заорал он.

— Бля... глухо донеслось из-под шлема.— Удуху... удуху...

— Ты чего, чего?! — затряс его Баглей.

— Удуху... удуху... хаю...—забормотал Еремин снова. И старый Баглей перевел себе: «Воздуху! Воздуху! Задыхаюсь!»

Он пополз вдоль распростертого тела Еремина туда, куда вела змея воздушного шланга. И ткнулся головой в стену. Рукам удалось продвинуться чуть дальше тела. Ровно настолько, чтобы нащупать сплюснутый, безжизненный шланг. Воздух, конечно, шел, не мог не идти, потому что там, наверху, умная автоматика поняла: что-то случилось,—и начала воевать. Но громадному Еремину этой мизерной порции, поступающей через сплюснутый до щелочки шланг на глубину, где воздуха требовалось гораздо больше, явно не хватало и на четверть одного легкого.

— Еремин, ты годи, годи трошки! — заорал ему Баглей.— Я сейчас... Я сейчас, слушаешь!...

Он пошарил в воде и выпростал из-под огромного тела Еремина ломик. С рыком, злостью и отвагой набросился Баглей на вставшую перед ним стену, стремясь во что бы то ни стало выбраться, выбраться как можно скорее. Так вот оно как вышло: две ниточки соединяли его с остальным миром, две ниточки: кабель-сигнал и шланг-воздушка. И каждую оставалось по одной. По ниточке на каждого. Его-то ниточка ведет к жизни, а вот Еремина...

Времени от времени он нагибался, проверял Еремина — живой ли, не завалило ли — и принимался снова копать.

Связи с ним все не было. Скоро ли придет помощь, он не знал. Пока там, наверху, поймут, что это не временный перебой связи, пока очухаются, пока оденут и спустят людей, пока откапают,— в том, что откапают, Баглей не сомневался,—Еремин будет уже мертв...

Здоровяк Еремин будет мертв... Сероглазый, с веселой и спокойной улыбочкой, будет мертв... Нет, не будет мертв! Нет, не будет мертв! Не будет, не будет, не будет мертв!

Значит, все-таки горе-спецы когда-то напортачили, проводя здесь двуноглубительные работы. Вот он когда сказался подмыв-то, вот когда!..

«А ведь Еремин—ровесник с моим,—вне всякой связи внезапно подумал Баглей.— Лешке тоже двадцать пять было...» И в каком-то иступлении он снова бросился на штурм. Он шел в атаку на эти мертвые, равнодушные камни, которых нельзя было убедить сдаться или отступить, а можно было только победить!.. Нужно было только победить!..

Но он уже изрядно вымотался за день и скоро понял: сейчас ему не справиться с врагом, не сломить стену этой одиночки на двоих. Баглей разжал руку, и ломик безвольно лег к его ногам.

Баглей нагнулся к сменичку. Еремин лежал недвижно, он ставил из рубашки почти весь воздух, она обмякла, и сейчас в темноте на ошупь, показалась Баглею скользкая кожа какого-то доисторического животного, из тех, что Лешка как-то показывал ему в книжке.

Он взял руку Еремина, но теперь рука не ответила на пожатие. Он сжал ее еще раз, познергичнее. Рука вяло шевельнулась. Жизнь еще теплилась в богатырском теле, сознание жило. Славу богу, что мелководье, мог бы и обжим приключилось. Так бы и сплоснулось...

«А ведь у него лялка!» — обожгло Баглей. На днях Еремин с неизменной своей улыбочкой показывал всем фотографии: лукавая, востроглазая мордашка с оттопыренными ушами. И сразу Баглей вспомнил невестку: как сидела на чмодаме, уезжая от них навсегда. И себя, нерешительно бормочущего в усы: «Абуть, еще сколько проживешь? А то и навовсе останешься, а!» И уколола обида на Еремина: успел-таки, а вот его Лешка и девочку не народил, не то что пацана...

И, как всегда, когда ему было трудно в последний долгий-долгий год, обратился он к сыну:

«Что же делать, Леша? Что? Подскажи, сынал. Ты ведь знал в свой час... Знал ведь! Что же ты молчишь, сынал?»

И, поняв, что уже готов к этому у, Баглей отпустил теплую руку Еремина и нащупал ладонью его шлем, холодный и округлый, как тыква, что приносила когда-то старуха мать из погреба в его родной станции. Сбоку этой прочной, медной тыквы начинался отросток воздушного шланга, прикрученного к штуцеру гайкой. Своими цепкими мужицкими пальцами, с силой, удивительной всей злостью и отчаянием, Баглей, как клещами, свинтил гайку, не сдер-

гивая раньше времени самого шланга, чтобы не хлынула предательская вода.

— Держись, держись еще трошки, Алешка! — сказал он сам себе и Еремину, хотя того, кажется, звали Юрой. — Не сдаваться, как тот обломок! Не сдаваться, чуешь!

Он помешкал стравливать воздух, подождав, пока рубаха у него не запружинила. Выбросить наверх в раздутую скафандру, точно закупоренную пустую бутылку, его не могло — завал не пустит, хоть тут чуть не полаял от воздуха. Надолго ли хватит ему этого запаса, Баглей старался не думать.

Согнув свой шланг петлей, в которой пульсировала жизнь, он вытащил нож и расклатил петлю надвое быстрым и точным движением. И тут же, сдернув со штуцера Еремина омертвевший нерв его воздухопровода, он с силой надувал на его место швы.

И теперь, диктуй себе каждый вдох и выдох с точностью метронома, зная, что сделал все и сделал правильно, готовый к своему смертному часу, не робея перед ним и не жалея ни о чем, Баглей повернулся на спину и тихо застыл рядом с Ереминым.

...Когда их откопали и подняли, то не сразу разобрались, отчего так переплелись шланги молодого и старика. Предположили: воздуховод Баглея перебит огромным камнем. Но чуть Еремин пришел в себя и первым делом стал спрашивать, что с ним и удачно ли добрался дед до катера, все стало окончательно ясно, и перехватило дыхание, словно чья-то невидимая рука сдавила сердца команды «РК-40».

Погода опять переменилась. Солнце то показывалось, то уходило в тучи, но было уже ясно: ветер не взял своего. Волны потеряли направление и беспорядочно сталкивались, точно растерянное стадо без вожака.

Спардек качало меньше всего, и Баглея положили там. Угасающий пульс своими короткими, охристыми от табачицы пальцами Готов уловить так и не смог. Он вытащил серебряный портсигар с именной надписью на крышке, поднес к губам старого водолаза, и портсигар как будто бы затуманился...

— Ну! — хрипло то ли спросил кто-то, то ли волна зашипела, то ли шумно дышали люди.

И Готов, готовя шприц для укола, подняв его, спрыснув струюку и посмотрев на свет, буркнул, не оборачиваясь:

— Чего «ну!» Не засти, нукало!

Баглей лежал прямой и бледный, только усы его словно потемнели, а руки были стиснуты в кулаки. Раздвигая его пока не стали, скинули только груза и галоши, а рубаху сдернули до пояса.

Он лежал в своем просторном, грубом водолазном свитере, с закатанными для укола рукавом, и его потускневший, давно не чищенный медный шлем с двумя вмятинами, из которых одна была совсем свежая, стоял рядом — испитанная, всегда готовая честно служить солдату каска.

Севастополь.

Елена Тихменева



Мне бы очи синие,
как река,
мне бы косы длинные,
как века,
мне б луга зеленые
растлеть у ног,
мне бы травы сонные
заплести в венок,
сарафаны б пестрые
все в цветах,
мне бы речи добрые
на устах.
Ну, а я со стрижкою,
благодать,
нарязусь мальчишкою,
не узнаю...



Была гроза. Кружился ветер.
Цвела росинками листва.
Кружились в сердце целый вечер
еще невнятные слова.
Луне навстречу в полудреме
плыл запах луговой травы.
Весь этот мир, такой знакомый,
вблизи раскинулся Москвы.
Гул электрички, нарастая,
стремился воздух пронизать,
а мне казалось: все я знаю,
смогу ли только рассказать!



Понуро и зло безбрежность
встает в темноте за плечами.
Во мне всего века нежность
и мира всего печали.
Девочка засыпала —
женщина просыпалась,
а я ничего не знала,
тихонько во сне улыбалась.



ИГОРЬ
КУВШИНОВ



ДВЕ НОВЕЛЛЫ ПРО ДЕТЕЙ

Автору — 22 года.
Студент.



Рисунки
А. ГОЛОВИЧЕНКО.

атлет

Маленькая рука с трудом дотягивается до дверного замка и отпирает его. За дверью стоит красивый молодой парень в футболке.

— Здравствуй,— говорит он Владiku.— А Люда дома?

— Она пошла в магазин и, если вы Костя, проси- ла подождать,— отвечает Владик, зачарованно гля- дя на бицепсы парня.— Садитесь.

— А ты что, старик, один дома сидишь? — спра- шивает парень.

— А у меня братик родился. Мама в больнице. Папа к ней псехал. Ну, а Людка в магазине,— серь- езно отвечает Владик, потом становится на носочки и, с восхищением поглаживая играющий бицепс парня, спрашивает: — Вы, наверно, витамины и рыбий жир обожаете?

— Какая наивность, старик,— говорит парень, взяв журнал со столика и перелистывая его.— Про- сто мужчина должен быть красивым, а об этом нуж- но заботиться.

— Как?

— Ну, это несложно, вот сходим с тобой в сек- цию тяжелой атлетики. Я тебе досконально все объ- ясню,— отвечает Костя, подбрасывая на одной руке заливающегося от восторженного смеха Владика.— А пока комплекс на неделю, из десяти упражнений. Повторяй за мной.

Задорно и напористо ребята занимались гимна- стикой. Владик с обожанием следил за своим педа- гогом.

А когда Люда вернулась, оба они делали уп- ражнение «мост». Парень моментально кинулся за Людой на кухню, сразу же забыв о Владике. Тот по- пытался встать, но только беспомощно грохнулся спиной об пол. А пока он отряхивался, Люда с Ко- стей собрались уходить.

— А как же секция тяжелой атлетики? — умоляю- ще спросил Владик.

— Не сегодня, старик. Билеты горят на «Соблаз- ненную и покинутую».

— А комплекс? — хватаясь за штаны парня, чуть не плакал Владик.— Ты ведь только пять упражнений показал.

— Отстань, старик,— отмахиваясь, как от надоед- ливой мухи, сказал Костя.— А то вообще ничего по- казывать не буду.

— Владька, не скупай,— крикнула сестра уже от двери,— мы скоро вернемся!

Владик, расстроенный, сползая по комнате, взды- хал и не находил себе места от обиды, когда раз- дался звонок в квартиру.

— А!— улыбнулся Владик, как старому знакомому, долговязому, худощавому парню, стоящему за дверью.



— Люда дома? — застенчиво спросил парень.

— Люда? — сказал Владимир. Лицо у него стало жестким и насмешливым. — Люда с Костей в кино ушла.

— А когда вернется, не знаешь?

— Не дождешься! Они наверняка до ночи гулять будут.

подарок

— Мама, а что я папе подарю? — спрашивает маленькая девочка в беленьком легком платьице.

— Мы ему вместе подарим галстук, — отвечает женщина.

— Нет, я хочу сама подарить.

— Веронька, а что ж ты хочешь подарить?

— Игрушку красивую, — отвечает девочка и тянет мать к секции плюшевых игрушек.

— Ты придумашь тоже, — говорит мать, равнодушно скользя взглядом по полкам. — Идем, у нас еще много дел.

Вера внимательно оглядывает весь плюшевый зоопарк, задерживаясь на каждом звере. Вдруг руки ее вцепляются в подол материнского платья, и она громко кричит:

— Ой, мамочка! Ой, смотри, лев какой! Давай папе купим!

— Не морочь мне голову, — отвечает мать, чуть дернув Веру за руку. — И не держи меня, мы опаздываем.

Мать направляется к выходу, а Вера, упираясь, но не выпуская из рук материнского платья, волочится за ней. И когда двери оказываются совсем близко,

когда надежда потеряна, Вера начинает, захлебываясь, рыдать:

— Купи-и-и! Он и добрый и сильный! Купи-и-и!

— Ну, давай я тебе льва куплю! — вздохнув, соглашается мать и выбивает чек в полной уверенности, что делает подарок дочери.

Раннее солнечное утро. Проснувшись первой, Вера спрыгивает на пол, залезает под кровать и достаёт оттуда коробку. Вынув из нее льва, она на цыпочках идет в комнату родителей. И осторожно, чтобы не разбудить отца, кладет льва рядом с ним на подушку. Вернувшись обратно, Вера устраивается в постели и, улыбаясь, спокойно засыпает.

Зима. За окном валит снег. Вера с папой завтракают на кухне. Отец, посмотрев на часы, сокрушенно качает головой и, обжигаясь, допивает последний глоток кофе. В прихожей он натягивает шубу и целует на ходу дочку.

— Папа, а как же подарок Оле? Ведь у нее сегодня день рождения. Я не могу пойти туда с пустыми руками, — повторяет Вера уже где-то слышанную фразу.

— Я не знаю, что и делать, Верунь, — говорит отец, — у меня сегодня совсем нет времени.

— Но я же тебе давно говорил!

Папа оглядывает комнату в поисках выхода. Взгляд его натывается на плюшевую игрушку.

— Ну, подари ей льва!

— Папа! — ошарашенно выдыхает Вера, и ее глаза наполняются слезами.



Макс Дахис



Шумят ветра...
И через годы снова
Себя я вижу мальчиком в окне,
И папка мой,
Родной, бритоголовый,
В последний раз
Пилоткой машет мне.

Дворцовая площадь

Крылатая
Дворцовая площадь
Весной
и среди зимнего дня...
С годами
суровой и проре
Глядит
Эта площадь
в меня.
Быть может,
еще на Сенатской
Застыли каре,
как во сне,
И выход
на Мойку, 12,—
Как рана
сквозная
во мне.

Вот так я сваривал металл

Наш дом дощатый на колесах
Катил пригорками Литвы,
И сыпал снег с кудлатых сосен,
Касалось небо головы.
От напряженья ныли ноги.
Январь. Мороз. Пурги разбой.
И хоть убей — одни ожоги
И «швы» косые вразнобой.
Да сменил мой басил сквозь стужу:
— Эй, ленинградец! Как дела!
Пойми — металл имеет душу,
Поймешь, считай—твоя взяла!
Ведь ты же питерской породы!!
И я, чтоб доказать ему,
Стучал, как дятел, электродом
И сыпал звездами во тьму.
И вдруг... как будто солнце встало!

— Даешь! — кричал я сам себе
И лихо вскидывал забрало,
Как рыцарь, сидя на трубе.
— Упрямый черт! — смеялись хлопцы,
И чуть позванивала сталь.
А через снег спешила к солнцу
Моя стальная магистраль.

Памяти Нади Рушевой

Как недолгий, но яркий фонарик,
Как зимою дыханье тепла,
Эта девочка — грустный очкарик —
Между нами однажды прошла.
Каждый штрих, словно ласточка детства,
Все по-пушкински — сразу ясен...
А потом с пережваченным сердцем
Я смотрел кинокадры о ней.
...Вот улыбка... Знакомые строфы...
Но я прутик забыть не могу,
Выводивший курчавый профиль
На веселом лицейском снегу.

В апреле

Апрельский город хорошеет,
И в нем, как давняя беда,
Быкам Дворцового по шею
Встает лиловая вода.
И город в дымке акварельной —
Не серый и не голубой —
Плывет куда-то по апрелю,
Сливаясь с небом и водой.
Иду апрельскою прохладою
Я мимо Клодтовых коней,
Сливаясь с Невским, с Ленинградом,
Сливаясь с Родиной моей.

Рина Санина



Молчанье Вечного огня,
Мне вечно сплавить эту дату —
Тогда, в победном сорок пятом,
Спасли от гибели меня.

Не помогло бы ничего:
 Ни детские мои косяцы,
 Ни длинные мои ресницы,
 Ни то, что пять лишь лет всего.
 Брела бы с узелком в руке
 В толпе, растерянной и бледной,
 И на фашистском салого—
 Мой удивленный взгляд последний...
 А землю сотрясают войны
 Уже который год подряд...
 О, как хочу я быть достойна
 Погибших за меня солдат.



Горести мои переживая,
 Бродит ночь чуть слышно, не дыша.
 Маленькая, слабая, живая,
 Я в огромный этот мир пришла.
 Ветер надо мной качает сосны,
 По ночам гудит транзистор мой.
 Мир не безмятежен, в нем не просто.
 Мир обаят тревогой и тьмой.
 Засыпавшись я в своей квартире,
 Ухожу в далекие края,
 Я ищу опору в этом мире,
 Ищет мир спасенья у меня.

Владимир Кочетов



В лиловой осиновой чаще,
 Где воздух прозрачен и чист,
 Я пробовал на зуб горячий
 И жесткий осиновый лист.
 О Родина, в роще где-то
 Внесило и горечь твою
 И бодрую свежесть рассвета
 Тревожное слово «люблю»...

В подмосковной роще

Мы с девочкой в роще гуляли.
 Ей было четырнадцать лет.
 В траве шелестели сандалии
 И переплетали мой след.
 Веселые желтые пятна
 Сверкали на темной листве,
 И дятел, одетый нарядно,
 Стучал на сосновом стволе.

Как вдруг в этом ясном покое
 У самой, казалось, земли
 Услышали пенье такое,
 Что тихо на зов побрели.
 И замерли—в зыбком тумане
 Фанерный скупой обелиск
 Увидели вдруг на поляне
 И грустный услышали свист.
 Мы вздрогнули. За руку крепко
 Она ухватила меня.
 Цвела на могиле сурепка
 В сиянье обычного дня.
 На звездочке птичка сидела,
 Незвучная очень на вид,
 Но как она... как она пела
 Над тем, кто в могиле зарыл!..
 В неярком сквозном перелеске
 Слова на дощечке простой
 Прочли мы: «Сержант Ковалевский,
 Двадцатый — сорок второй».
 И девочка вдруг задрожала,
 Тревожно прижалась ко мне,
 Как будто она горевала,
 Как будто однажды и мне
 Сурепки желтеющим дымом
 Из глины пробиться к живым
 И быть безвозвратно любимым,
 Бессмертным солдатом твоим.



Охрани меня, удача,
 От безрадостных забот,
 От непрощенных подачек,
 Незаслуженных щедрот,
 От опеки неизбежной,
 Бестолковой суеты,
 От расстраты дней небрежной,
 От сердечной пустоты,
 От холодного презренья
 К людям добрым, к людям злым
 И от ложного прозренья,
 Что в душе подчас храним.



Люблю бродить в вечерней тишине
 По улицам пустым, как коридоры,
 Чтоб были ясно различимы мне
 Далекие таинственные хоры:
 Гудки машин и гул людской толпы;
 Чтоб мог, сосредоточась, угадать я,
 Где там, среди нее, мелькаешь ты,
 Какое у тебя сегодня платье,
 И как молчишь, и говоришь о чем,
 Цветы себе какие покупаешь,
 Как пожимаешь на вопрос плечом
 И вслух афиши старые читаешь...

Коротко об авторах этих стихов.

М. ДАХИЕ 32 года. Он инженер, работает в Ленинградском оптико-механическом объединении. Р. САНИНА живет в Свердловске. Преподает английский язык, работает корреспондентом радио и телевидения. В КОЧЕТОВУ 21 год. Он — студент Дагестанского госуниверситета.



СЕРГЕЙ
ЛУЦКИЙ



ЯСНАЯ ЖИЗНЬ

НОВЕЛЛА

Автору — 27 лет.
Студент Литинститута.
После окончания техникума
служил в армии,
работал на заводе.



ПРОЗА

Рисунок
Татьяны ИВАНШИННОЙ.

Село, в которое ехала работать Маша, находилось в балке, а вокруг и далеко за ним лежали возделанные поля, яркие, сочные и безлюдные. Маше казалось, что село, такое маленькое, почти затерявшееся в полях, должно временами расширяться, растекаться, как убежавшее тесто, по этим полям, а временами сжиматься, и тогда из-под него появятся эти ухоженные, аккуратные нивы.

Так казалось Маше, девочке, выросшей в городе, девушке, верящей в чудеса.

В чудеса она верила с детства, еще с тех времен, когда думала, что Дед Мороз есть на самом деле и выходит из зеркала в девчачьем умывальнике. Маша говорила об этом своим детдомовским подружкам, а те не верили, те смеялись и говорили, что это никакой не Дед Мороз, а баянист Коля, только с приклеенной бородой и усами. В детдомовской столовой висела большая картина, на которой было много бойцов, по краям, в лесу, виднелись остановившиеся танки, а в середине сидел Василий Теркин и интересное что-то рассказывал. Маша знала, что вот так же где-то в зеркале сидит Дед Мороз, только он один, но лицо у него такое же веселое, и он почему-то обязательно переобувается.

С тех пор прошло много лет. По окончании культпросветучилища Маша получила направление в библиотеку одного из сел на Подолье. Детские представления о том, где живет Дед Мороз, остались только в памяти и иногда приходили на ум, но Маша не смеялась. Она относилась с сочувствием к себе, маленькой.

При въезде в село стоял щит, вкопанный двумя узловатыми деревянными ножами в землю, а на транспаранте по выгоревшему красному фону белыми крупными буквами было написано: «А видел ли ты, как всходит солнце?» Маша улыбнулась доброй улыбкой, прочла эти слова, и что-то радостное и светлое утвердилось в ее душе, которая и раньше-то была безоблачна.

Библиотекарша, на место которой приехала Маша в это украинское село, была немолода и на штапельном платье носила колодку боевых наград. Маша узнала, что библиотекарша уезжает на Север к своему мужу, который вообще-то местный, сельский, а поехал туда на заработки, да так и остался там. Библиотекарша с мужем появилась в селе после войны, на которой оба они потеряли первые свои семьи. Сначала односельчане посмеивались над приезжей женщиной. Первое, что спросила она по прибытии в село: «А где же ваши трехэтажные дома?», — и муж, не лишившийся чувства юмора, несмотря на пережитое, ответил: «Пол — первый этаж, припечек — второй, а печь — третий». (Еще ухаживая за ней, муж весело врал, что в селе у него трехэтажный дом.) С уважением и даже робостью поглядывала Маша на колодку боевых наград и принимала книги.

Когда наконец весь процесс сдачи-приемки завершился и Маша осталась в библиотеке одна, она села за свой стол, расслабленно опустила на него руки и сказала медленно и раздельно, для себя: «Ну вот я и дома...»

Пахнущая книгами тишина стояла в библиотеке.

Жить Маша стала у бабушки Алены. Сыновья поставили старушке дом, чтобы дожидала она свою жизнь в тепле и достатке, чтоб и самим не отрываться от

родительских корней, чтоб знать: где-то там, за дымными пределами их города, есть село, затерявшееся в полях, а в селе у них хата и мать, готовая принять, укрыть и пожалеть в неласковые времена.

Сыновья поставили большую хату, а сами жили в городе, и бабушке Алене было скучно одной в гульки, полупустых комнатах.

Когда Маша стала интересоваться квартирой, ее сразу и направили к бабушке Алене: «У нее спроси, девушка. Она принимает квартирантов».

Бабушка Алена оказалась старушкой с сухоньким личиком, но еще шустрой и улыбаивой; она сразу же согласилась взять Машу на квартиру, сказав:

— Живи, живи, дочка. И тебе будет хорошо, и мне веселее.—Голос у нее был неожиданно звонкий, без старческой надтреснутости, будто у девочки-пятиклассницы. Она пожала Машу:— Такая молодая, а уже пошла в светик...

Маша не понимала многое из ее разговоров, как не поняла сейчас это «в светик», но сама старушка ей нравилась, и она всегда улыбалась в ответ на ее постоанную улыбку.

Быть квартирантом в селе, да еще в таком большом доме, как у бабушки Алены,—это совсем не то, что в городе.

— Вот здесь в какой комнате хочешь, там и постави тебе кровать,—говорила бабушка Алена, водя Машу по всем комнатам.—Если хочешь, то и в двух комнатах живи... И не стесняйся.—Бабушка с удовольствием оглядывалась на скромную, застенчивую девушку.— Не стесняйся. Если надо что, у меня проси.

Маша выбрала себе комнату с двумя окнами, выходившими на огород. В комнате стоял неуклюжий, но широкий и упругий диван — продукция, по всей вероятности, какой-нибудь артели районного центра, стоял стол, ничем не примечательный, два венских, даже на вид скрипучих стула, зато висело на стенах несколько картин без рам.

— Это мой сын рисовал, — с достоинством сообщила бабушка Алена, когда заметила, что Маша рассматривает картины.—Он сейчас художником в городе, при Доме культуры.

Она стояла у стены, сложив руки на животе, сдержанно-гордая за своего сына. Картины были копиями с известных полотен. На одной из них три охотника сидели на привале, один самозабвенно врал, второй ему не верил, а третий с пылкостью юности переживал рассказ... На заднем плане что-то выныскивала в траве худая, с поднутным животом собака. На второй — девушка с толстыми босыми ногами и с братцем за спиной убегала от грозы, и складки на ее лице от крыльев носа до уголков губ, которые должны были изображать страх, походили на усы.

— Он еще с детства все рисовал,—слышала Маша далекий голос хозяйки.—Малюет, и пусть малюет, думала я, ребенок ведь... А оно вон во что перешло: сейчас это его кусок хлеба...

Хозяйка говорила, и хотя стояла она рядом, но голос ее, казалось, идет откуда-то издалека, потому что Маша тем временем думала, что это хорошо, когда в комнате есть картины и вечерами можно будет смотреть на них и думать об этой девочке, убегающей от грозы, и о каждом из трех охотников, об убитой дичи и о глядящих длинных ружьях. Потом охотники и девочка придут в ее сны и станут яснее и объемнее, а к утру опять будут уходить на злысты и располагаться там в своих привычных позах, да так, будто и не уходили нигде...

Бабушка Алена одобрила выбор Маши.

— Правильно. Хорошая комната, светлая,—закликала она головой и добавила со спокойной житейской мудростью:— Ты молодая, хлопцы к тебе придут — будет где посидеть.

— Нет,—ответила Маша,—ко мне хлопцы придти не будут. У меня жених в армии.—И стеснительно взглянула на хозяйку.— Я его жду.

Сначала, пока Маша не привыкла еще к новой своей жизни, дни были странные и долгие, без конца и краю, а как пообвыкла — побежали, замескали они, словно шпалы на железной дороге. Привыкнутой ей стала и ее библиотека с длинными стеллажами и тишиной, пахнувшей книгами, и дом бабушки Алены с прохладными и гулыми комнатами, и немногочисленные здешние читатели, которым нравились книги про любовь.

К одному не могла привыкнуть Маша — к небу. Оно всегда ее изумляло. Выходила ли она из дому, направляясь по утрам на работу, помогала ли хозяйке на огороде, терпеливо усаживаясь деревенским заботам, просто ли шла по улице в задумчивости, стояло неожиданно поднять ей голову — и она шептала, пораженная: «Какое небо... Просто чудо...»

Пусть думала она до этого о чем-нибудь совершенно другом: вспоминала ли детдом или читателя, который несколько месяцев не сдавал книги,—строило неожиданно взглянуть ей вверх, как все эти трезвые мысли исчезали, и она останавливалась, приспосабливаясь, восторгившись шепотом произношения: «Какое небо...»

Над ней было небо, чистое, неохватное и такого пронзительного голубого цвета, что хотелось плакать. Она стояла под этим небом и чувствовала, что вот стоит она, Маша, человек, и кругом тоже люди, человек, жизнь которых совпала с ее жизнью, что их много, но небо для них одно, общее, большое и чистое, сближающее... Она бежала в хату, порывисто целовала бабушку Алenu в костлявую руку, а бабушка Алена непонимающе, но все же с улыбкой смотрела на нее, а затем стирала со скулы ладонью след поцелуя.

— Бидна дитина... С детства не знала от матери ласки... Кто в тому детдоме приглубит ей, пожалует? — И, пригорюнясь, качала головой.

Бабушка не понимала Машу, потому что всю жизнь прожила под этим небом, и оно не казалось ей удивительным, а таким, как и положено ему быть, каким было и раньше, при родителях-небожничках¹, и каким, наверно, останется после нее.

Пшеничное поле от свеклольного отделяла дорога, и была она в глубоких следах обитых железом тележных колес, и далеко виднелись разбросанные по сочно-зеленому ковру свеклольной плантации ярко-белые платки. Белые платки были на головах работающих женщин, и Маша, приглядевшись, в каком направлении женщины двигаются, шла к тому месту плантации, где они должны были выйти, и начинала ждать. Воздух был до того неподвижен, что казалось странным, как это может удержаться в нем жаворонок, и, должно быть, он неспроста так часто трепещет, бьет крылышками. А вдаль по наклонному полю полз трактор «Беларусь», и виден был глубокой дымок от него, и слышно было далекое тархатенье.

У Маши была обязанность, которую она радостно выполняла: обязанность ходить в бригады, званья, носить туда книги, а иногда и прочитать интересную статью из газеты.

Женщины одна за другой выходили к Маше, разгибались и, потирая поясницы, подсаживались к ней. Маша вынимала и раскладывала на траве книги, ко-

¹ Небожнички — умершие родственники или близкие люди (у к.р.).

торые принесла с собой в спортивной сумке, купленной еще в городе, и молодые женщины или девушки раскрывали их, перелистывали и отбирали каждая себе подходящую. Те же, кто постарше, любили, чтобы им читали вслух. И когда все звено выходило к Маше, они поднимались все разом и шли во влажную тень лесопосадки, где, развязав сетки, начинали завтракать, а Маша читала им статью о международном положении или что-нибудь из женского журнала.

Это было звено, или, как говорили здесь, «ланка», свекловодов известной на всю республику Марии Тарасюк. Об этой ланке читала Маша на ците с деревянными узловатыми ножками, когда в первый раз въезжала в село, потому что под словами: «А видел ли ты, как всходит солнце?» — по изрядно выгоревшему красному фону шли другие слова, помельче, рассказывающие, что ланка Марии Тарасюк каждый восход солнца встречает в поле, и поэтому каждый год эта ланка собирает рекордное количество свеклы с гектара, и что в этом году она взяла обязательство получить еще больше. Сама звеньевая была здесь же, вместе со всеми завтракала и вела себя очень просто, ни в чем не проявляя своего права командовать. Маше казалось странным и почти невозможным видеть в этой пожилой, несколько полноватой женщине человека, о котором пишут газеты и который заседает в Верховном Совете республики.

Проходило с полчаса, Маша заканчивала чтение, и женщины, отдохнув, снова брались за свое нелегкое и нужное дело, а Маша собирала оставшиеся и возвращенные книги, и путь ее лежал дальше, от ланки к ланке, от птицефермы к тракторной бригаде.

Просторно и легко было в полях, и заливались жаворонки над ласковой и теплой землею.

Однажды Маша пошла на танцы в клуб. Танцы были не в самом клубе, а в прихожей, где обычно раздвигались перед концертами, но из этого помещения хватало, потому что молодежи было не так уж много: большинство ночевало в полях, в свежеемолоченных скирдах, чтобы не тратить сил и времени на возвращение в село. Библиотека находилась в этом же помещении, и Маша решила пойти посмотреть, как проходят танцы, и заплатила двадцать копеек за вход, и стояла, смотрела, как шаркали подошвами по плиточному полу танцующие под редкую музыку. Сюда ходили девочки с четырнадцати лет, а местные парни были скромны и немногословны, и если хотели проводить после танцев девушку, то не говорили об этом прямо, а осторожно спрашивали: «Не по дороге ли нам?..» Так спросил и Петр, смуглолицый, светловолосый парень, во время одного из танцев, и Маша, посмеиваясь над его осторожностью и нерешительностью, ответила задорно:

— Если вам к бабке Алене, то по дороге!

Петр не обиделся, а ровным голосом сказал:

— Ну не совсем чтобы к бабке Алене... Я там рядом живу.— И добавил, не глядя Маше в глаза: — Я сколько раз вас уже видел.

Во дворе на черном небе полихали звезды, и было так темно, что кроны акаций растворялись в бесконечности. В окнах и света давно не было, потому что спать в страду ложатся рано, и даже собаки молчали, будто и им передавалась людская усталость.

Петр шагал рядом, но под руку взять не решился, а рассказывал с большими паузами, как служил совсем недавно в армии, возил на «АЗ-69» командира части, как работает сейчас в колхозе шофером и какие интересные истории ему приходилось слышать и самому видеть за время службы. Маше было приятно и покойно слушать его, но, уйдя он сейчас, она бы не расстроилась и совсем бы не помutilась



ее душевный покой — просто хорошо было идти среди темноты, чувствовать возле себя человека и слышать его голос.

Возле калитки Маша не стала долго задерживаться: она знала, что долгое стояние делает даже самых робких парней решительней, и потому сказала сразу же:

— Ну, до свидания. Я пошла.— И чувствовала спиной, что Петр не уходит, а стоит и, видимо, смотрит ей вслед.

Гот с того-то вечера Петр и стал часто заходить к Маше. Они сидели на каменном крыльце дома бабки Алены, а перед их глазами уходял дождь, и из тучного сада были слышны жутковатые и гулкие звуки падающих яблук.

В селе этого раньше был такой обычай: приходили парням всем вместе к какой-нибудь девушке, усаживались в кате, шутить, немного выпить самогона из бутылки, заткнутой кукурузным кочаном, и чтоб девушка приглядывалась к каждому из них, и чтоб каждый из них мог пригладиться к девушке. Называлось это «вечеринками», или «идти до дивки», но последние лет пятнадцать изменилось что-то в селе, и молодежь встречалась большей частью в клубе, где и завязывались нити большинства супружеских уз. Однако и до сих пор не считалось зазорным парню на правах соседства зайти к девушке и посидеть в комнате или вот так, на крыльце, и вести скромный, но полный недолюбов разговор.

Маша видела, что она нравится Петру, но это ее никак не трогало. Покойной и ясной оставалась ее жизнь.

Однажды Петр пришел позднее обычного — тогда, когда закат уже густел и вскоре должен был сойти на нет,— и пришел не только позднее обычного, но и какой-то странной, скванно-решительной походкой. От него привычно пахло бензином, и был он в новой футболке. Петр строгим голосом заговорил о том, что ему уже за двадцать, что армию он отслужил, что пора уже жениться, потому что в селах, не в пример городам, женятся раньше, но вот до недавнего времени все не мог найти подходящей девушки, но сейчас, кажется, нашел...

Петр говорил все это, а Машиню внимание привлекала его полостая футболка, и ей очень хотелось заглянуть Петру за спину, чтобы узнать, есть ли на этой футболке настоящий футбольный номер. И она попросила его повернуться. Она не хотела ничего этим сказать, потому что была слишком бесхитростна, но Петр понял, что говорит о женитбе этой жестокой девушке бессмысленно, и вскоре ушел, неся на спине своей десятый номер нападающего.

Ему было очень горько, и ночью он плакал, несмотря на то, что служил в армии и бывал во всяких переделках, а Маша спала спокойно и видела во сне трех охотников с картины Перова.

С двух до четырех Маша закрывала библиотеку на обед. Она клала ключ в карман и шла по тихим и жарким полуденным улицам, соворачивала в глухие переулочки, в которых онемевшие, остановившиеся струйки стекали с заборов колючих повий. Солнечная одура была в этих густых, опускающихся ветках кустарника, первоизданно и сонно гутели редкие пчелы среди мелкого блекло-сиреневого цвета, млели на солнце безразличные ко всему красивые лоды — «бруньки», и казалось, что прошедшие времена нашли покойный приют в этих частых и гибких побегах.

Бабка Алена уже ждала Машу, поставив в холодок старинный казанец густого борща, или Маша сама готовила обед и звала хозяйку из огорода своим сильным спокойным голосом. Хозяйка безмолвно выходила на подворье, и пот блестел на коже ее морщинистого лба.

Обедали они в небольшой теневой комнате, которая выходила окном на дорогу. Маша могла спокойно обедать и следить, не появится ли в окне долгожданный почтальон. Она еле борщ, поглядывая в окно и совсем не задумываясь над тем, почему почтальон Иван Бурковский, заслуженный инвалид Отечественной войны, выбирал для разности писем и газет эту жаркую половину дня; она не задумывалась, а если б и задумалась, то объяснила бы это, наверное, тем, что скучно, должно быть, жить, если действовать только разумно. Почтальон часто проезжал мимо на моторолиповом своем велосипеде, а иногда останавливался и глядел в темное окно, поджидая Машу. Маша высканивала из-за стола, выбегала к Ивану Бурковскому и, потеряв всякую солидность, выхватывала письмо из его крепких рук. Маше писали друзья по детодому, писали подруги по культпросветучилищу, но самими желанными были для нее письма в конвертах без марок и с синими треугольными штемпелями «Солдатское». Это писал ее жених Володя.

История их любви началась три года назад и выдержала уже около двух лет переписки. Маша влюбилась в Володю первой и простодушно не скрывала этого ни от подруг, ни от него, а он, лучший студент училища, парень умнее и старше, ходил безразлично мимо и лишь изредка здоровался. Машу задевало это его равнодушие, и однажды она решительно вошла в их мужскую общежитскую комнату и сердито заявила Владимиру: она его любит, и ее возмущает, что он не обращает на нее внимания. Соседи по комнате, опустив головы, прятали улыбки, а Володя серьезно глядел на нее и ничего не говорил — он вообще был молчаливым, и над его койкой висел девиз: «Молчи, если не можешь сказать что-то стоящее». Он безмолвно позволил Маше быть у них, а потом и с ним, и Маше этого было вполне достаточно. Он говорил: «Ты очень непосредственна, и это для других может быть счастьем или же сильным горем», — а Маша спрашивала: «Ну ты-то счастлив?», — на что Владимир сперва ничего не говорил, но потом отвечал: «Да,— и грустно глядел на нее.— Но надолго ли твоя любовь?»

Почтальон Иван Бурковский, немного шокированный Машиними резкими движениями, некоторое время еще стоял и недовольно глядел на нее, но затем, подобрев, решил, что, видно, уж очень ждет «библиотечка» от кого-то весточки; садился на свой дамский велосипед (с его хромой ногой на велосипед с перекаданной не взобраться) и ехал дальше. Маша тем временем успевала разорвать конверт и, осторожно ступая по направлению к дому, принималась за чтение письма. «Семьдесят восемь» дней осталось до приказа,— писал Володя,— семьдесят восемь дней до нашей встречи, милая...» Маша отрывала от письма просветленное лицо, невидящее счастья, и безоблачный покой ее освещался счастьем. Она никогда не сомневалась, что в ее жизни все будет прекрасно, и вот сейчас эта уверенность началась понемногу превращаться в реальность, и Маша знала, что наступит осень, и в селе появится подтянутый парень в парадно-выходной форме с погонами, и люди, завидев его рядом с Машей, будут разрешиваться о том, что это жених библиотечарши и что предсказание обещает ему должностную завлужба...

Маша стояла под жарким солнцем и не чувствовала его, а из солнечного половодья, от сараи с награвшими деревянными дверями доносились приглушенные вскрики курицы, доносились, будто сквозь сон.



В. ПАВЛИКОВ (Пенза).
Трактористы обедают.

Из произведений
молодых
художников.



В. ПАВЛИКОВ (Пенза).
Поздняя
осенью.



О. ОСИН
(Москва).
Растет город
Усть-Илим.

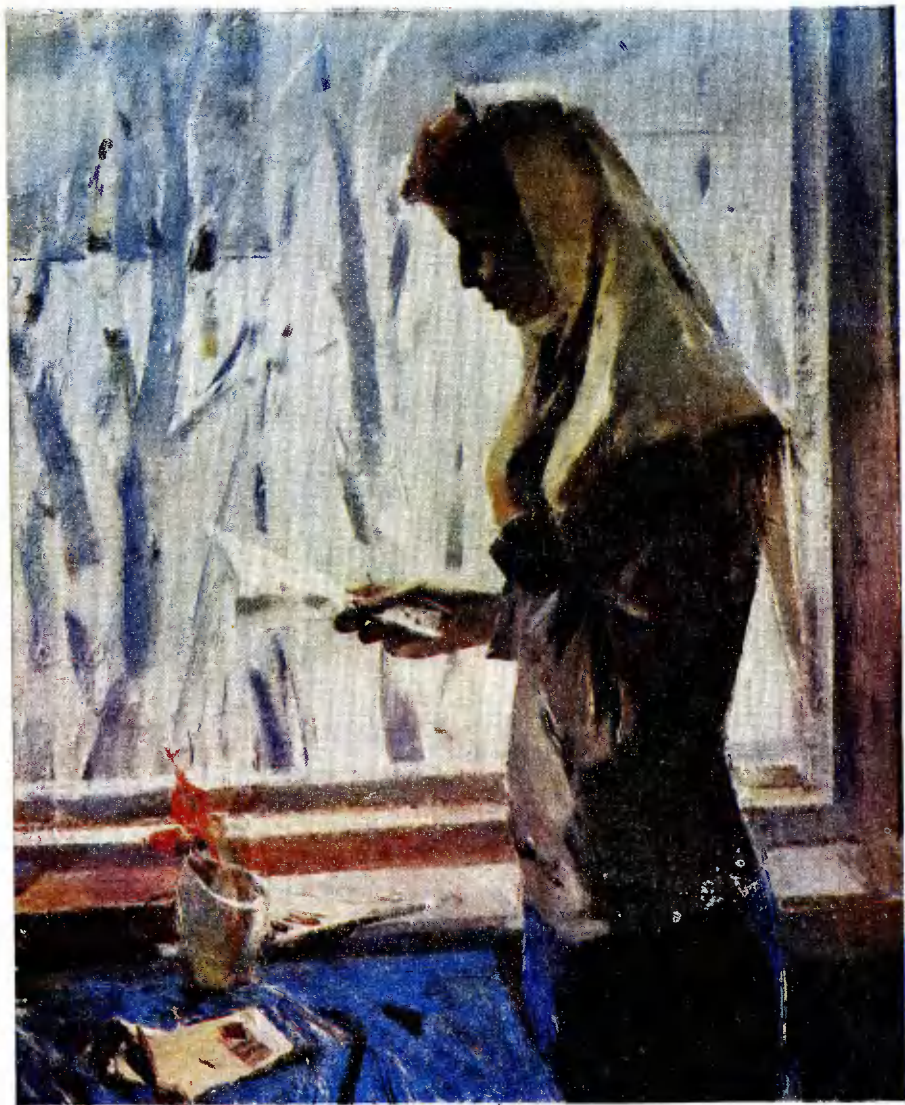


Э. КАЛЕНИЕК
(Елгава).
На берегу
Лиепуне.



В. ВЛАДЫКИН (Москва).

Вечер.



Б. ЗАОЗЕРСКИЙ (Ленинград).

Письмо.



ВЛ. ВОРОНОВ

Таланту нужно сочувствие...

Прошел год после того, как опубликовано постановление Центрального Комитета партии о литературно-художественной критике. Срок достаточный, чтоб судить о сдвигах в газетной и журнальной критике, чтобы от общих слов о задачах и призвании критики перейти к анализу ее повседневной деятельности. Сделать немало: опубликованы интересные статьи и книги, разбирающие современную литературный процесс, проведены совещания и семинары молодых критиков, научные конференции... Однако подводить итоги я не хочу, да это и не входит в задачу статьи. Я вспомнил о партийном постановлении, намереваясь обратиться действительно к будничным сторонам критической работы. Мне показалось важным посмотреть, как наша критика встречает произведения молодого литератора, а еще точнее — как она встречает первые произведения входящих в литературу новых авторов. Ведь и тут скрываются многие проблемы литературной критики, открываются ее достоинства и слабости, проявляется ее профессиональный уровень. И потом — отношение к молодым; это, знаете ли, часто бывает очень показательным. Там, где речь идет об именитых писателях, маститых, там особый разговор: тон критики определяется с учетом репутации, авторитета писателя... Все это факторы постоянно действующие, бесспорные. А в разговоре о молодых, — как в первый день творения: новые имена, неизвестные авторы... Интересно, не правда ли?

Год назад вышел январский номер журнала «Юность», составленный по давней традиции из произведений молодых прозаиков, поэтов, публицистов, художников. Вот и посмотрим, как они встречены критикой в газетных и журнальных статьях.

Меньше всего молодой автор рассчитывает на благостную встречу. Любое первое произведение сразу попадает в напряженное поле различных силовых линий литературной борьбы, дискуссий, споров, и тут, наверно, неизбежны какие-то упрощения, издержки, недомолвки. Впрочем, я уверен, что талантливая

вещь пробивается сквозь эти временные литературные условности и в конце концов предстает перед читателем в собственном свете.

Повесть Александра Бологова «Сто тринадцатый» не затерялась в журнальном потоке; о ней много и по-разному писали. И если автору интересно будет прочитать все отклики, он сможет убедиться прежде всего в том, что повесть прочитана и замечена в минувшем литературном году.

ПОЛЕЗНЫЕ СПОРЫ

Юрий Куранов в псковской комсомольской газете «Молодой ленинец» посвятил повести обстоятельную статью, в которой доброжелательно и с хорошей взыскательностью оценил работу Александра Бологова; автор статьи зовет своего товарища «на широкие дороги просторов нашей жизни, где чутко бьется сердце и где мало целой жизни, чтобы окинуть взглядом все многообразие человеческих отношений, надежд и опасений эпохи, где голос и слово писателя могут звучать подобно шесту листы и гулу грома».

Из других принципиальных выступлений по поводу повести Александра Бологова отметим статью Игоря Мотязова «Серьезные люди» в журнале «Москва» (№ 6, 1972 год), где подняты важные вопросы творческого развития молодых прозаиков — о традиции и новаторстве, о духовном облике нашего современника, об идейной убежденности и ответственности писателя. Игорь Мотязов видит качественные отличия нынешнего героя от его предшественников начала 60-х годов, и прежде всего — более раннее его познание. Критик пишет о Дмитрии Лобове из «Сто тринадцатого»:

«Димке восемнадцать, но он взрослый, сложившийся человек — вот в чем главное. Есть что-то основательное, надежное и как бы круглое в самой фамилии его — Лобов, в ее звучании. Основательность, на-

дежность, определенная завершенность — это и черты Лобова-личности. Нет и намека на легкомыслие, беспечность в том, как относится Димка к своей работе, к товарищам, к буфетчице Зойке».

Автор статьи в журнале «Москва» убедительно доказывает естественность всех поступков Лобова, спасающего своего старого капитана Старкова. Димка помогает ему плыть в ледяной воде до берега, Димка несет потом на себе обессиленного и обмороженного Старкова. «Иначе Димка не может», — замечает Игорь Мотылюх. — Каждый его шаг, поступок, движение души — выражение его характера, продолжение обычной жизни».

Далеко не все критики придерживаются такого мнения. Для некоторых замисел Александра Боголова, характер главного героя «Сто тринадцатого» остался за семью печатями. Сработали, очевидно, какие-то застарелые критические стереотипы. И даже если Дмитрий Лобов из «Сто тринадцатого» совсем не влезает в упоминаемый стереотип, иной критик коварно заатакует его туда и, удовлетворенный, замечает:

«Обстановка, разумеется, романтическая: морской промысел, Таллин, пожар, обледенение. Разумеется, треугольник. Вершина его — Лобов, боксер и внутри (?) очень чистый сын академика... Героиня — опять буфетчица Зойка, удивляющаяся, почему это ее Лобов сразу «не принимает», как другие. Разумеется, танцы. Только на этот раз «они танцевали молча».

«На этот раз» повесть Боголова явно не укладывалась в привычное представление Ольги Гладышевой о «молодежной повести» 60-х годов; пришлось поэтому, сочиняя статью «Доступная бедность» для журнала «Волга» (№ 6, 1972 год), подметить кое-где взгляды героев и взгляды автора, обрубить детали, придушить Лобова «отца-академика», забыть о такой «мелочи», как позиция писателя. Ольга Гладышева в заключение загадочно заявляет: «Лобов в конце концов уезжает. Все как полагается. Два миллиона молодых подписчиков почерпнут немало пищи для раздумий над жизнью...»

Ну зачем же так уж искажать замисел прозаика, напрасно «обнадеживать» читателя? Ведь в повести А. Боголова нет ни томительных подделуев, ни пошлых прижиманий, нет даже объяснений в любви, но это не смущает Ольгу Гладышеву, написавшую статью о «теме любви в прозе молодежных журналов». Повесть «Сто тринадцатый» — серьезная, свободная от всякой клубнички, от затрепанных штампов. Крепкий, самостоятельный парень из трудовой семьи идет работать на каботажный морской буксир, встречает там разных людей — добрых и мелких, честных и циничных — и ничего, не погрязая, не опускается до уровня подленького эгоиста, матроса Шило, а лишь укрепляется в своих юношеских нравственных идеалах. Лобов узнает настоящую жизнь, изображенную молодым прозаиком трезво, без прикрас: — жизнь со своими драмами и вопросами, советскую жизнь, в которой торжествуют чистота и безупречность наших гуманистических принципов.

ВОПРОС РЕБРОМ!

Один из рецензентов повести А. Боголова изумлялся, как это Лобов сумел удержаться на своих нравственных позициях, встретившись с экипажем «Сто тринадцатого». Я именно в виду рецензию А. Морозова в «Исковской правде». Название рецензия весьма безапелляционно: «113-й на мели». Название даже не лишено журналистского изыска, хотя и несколько прямолинейно. Метод анализа пове-

сти тоже незамысловатый. Рецензент ставит вопрос ребром:

«Зовет ли к правде, красоте, к вдохновенному труду повесть А. Боголова?»

И тут же отвечает: «На наш взгляд, нет».

Вот так, без экивоков и сомнений: нет и все тут, хотя ты трещишь!

Причем двумя абзацами ранее А. Морозов признал, что «взят кусок из жизни, показаны действия людей в различных обстоятельствах. Более или менее раскрыты характеры основных действующих лиц. Выбор темы: выступление молодого человека в самостоятельную жизнь — сам по себе интересен. Особенно для журнала «Юность».

Казалось бы, после таких признаний только развеисти руками: «Чего ж вам больше? Оценить бы тут же достоинства повести, разобрать некоторые ее слабости, помочь прозаику утвердиться в литературе. Однако рецензент А. Морозов недоволен; он движим другой целью: доказать, что повесть А. Боголова «не зовет к правде, красоте, к вдохновенному труду». Для этого надо, конечно, выдать белое за черное.

Например, капитан буксира Старков, по мнению рецензента, в трудную минуту растерялся и проявил себя «хлопкотным, безвольным, ни на что не способным человеком».

А Старкову — под шестьдесят; он понимает, что ему не доплыть в ледяной воде до берега, а там сеннадть километров в обледевшей одежде идти до ближайшего селения — и молодой едва ли дотянет... Старков рпеаает остаться на гибнущем судне, но видит, как Лобов подплыл опять к борту, слышит, как молодой парень кричит ему сквозь слезы:

Андрей Ильич! Андрей Ильич! Ну что же вы, Андрей Ильич? Ну прыгайте!

Капитан приказал Лобову плыть к берегу, но тут же понял, что тот не увидит, замерзнет в воде. И Старков, заснув поглубже за пазуху судовой журнал, как был в полушубке, плюхнулся в воду рядом с упрямым парнем.

Вот ведь как было в повести. Где же тут «растерявшийся хлопик»? Не хватало рецензенту простой добросовестности, элементарной ответственности за свои слова. А читатель у нас любознательный, он не поленился снова раскрыть журнал и сверить цитаты. Так что надеяться, что заливчатские заезды в адрес писателя пройдут незамеченными, весьма трудно. Не говоря уж о том, что такие заезды в наши дни выглядят анахронизмом, отрывкой вульгарной критики.

Профессиональный уровень рецензента А. Морозова легко уловить почти в каждой фразе. Вот он пишет о Лашкове и Шило: «Лашков циничен во всем...» При чем автор настолько прямолинейно раскрывает этот образ, что он перестает интересовать читателя. Не менее прямолинейно показан и Шило, этот «кладде разума», стоящий по уровню развития рядом с нешерстным человеком».

Ну что ж, в обрисовке прямолинейного циника Лашкова и прямолинейного поддела Шило другие методы изображения, наверно, и не требовались. Прямолинейно не всегда плохо. Вспомним: кто бы известные слова Владимира Маяковского: «Я люблю сказать до конца, кто сволочь».

Рецензент А. Морозов упрекает А. Боголова еще в одном грехе: в «пренебрежении к русскому языку», выражающемся, в частности, в том, что прозаик использовал в речи персонажей такие слова, как «галл», «парезис», «морда», «жаба»... Но ведь эти русские слова служат характеристике персонажей. А Морозов заканчивает свою рецензию в прокурорских тонах:

«Таковы, на наш взгляд, серьезные просчеты автора повести, усугубленные тем, что редакция «Юности» не помогла дебютанту извиниться от них».

Для любого литератора получить пустую резкую, но справедливую статью всегда полезно. Но одна резкость без справедливости — печальная, хотя и уже и обветшавшая деталь некоторых наших литературных споров.

При первом же чтении рецензии А. Морозова обнаруживается несомненное его исходных посылок и выводов. Признал же он, что А. Бологов показал многогранный характер бойца Куртева. «Этот в обычное время вялый, медлительный человек», — пишет А. Морозов, — в острые моменты преобразился. Ни одного лишнего жеста, ни одного неумелого движения. Таким он предстает в эпизоде с оторвавшейся баржей. Не потерял он самообладания и во время аварии».

Даже признав эти несомненные достоинства изображения бойца Куртева, рецензент опять недоволен А. Бологовым. Оказывается, бойца, по словам рецензента, в обычной жизни «тоже любит заглянуть в бутылку, поинтереситься, наговорить пошлости». Насчет пошлости рецензент хвлял липшу, а насчет «бутылки»? Но ведь таков боец Куртев, и писатель не выдает за достоинство эту склонность в характере бойца Куртева. Когда же мы, наконец, научимся видеть не только изображенный в литературе жизненный материал, но и позицию писателя, отношение писателя?

Сколько было на этот счет недоразумений в критике — несть им числа...

Но, пожалуй, хвлять о критиках повести А. Бологова. При всей разнородности суждений, высказанных о «Сто тринадцати», из писем читателей и многочисленных рецензий выявлялось главное: повесть волнует читателя, не оставляет его безучастным, заставляет вновь и вновь задуматься о жизни, так или иначе выразить свое мнение. Думаю, что споры, столкновение различных точек зрения весьма полезны критике; конечно, желательны споры на более высоком профессиональном уровне, но тут выбирать было не из чего.

Хуже, когда встречаешь в критике равнодушие и лень: мысли, нежелание внимательно прочитать рассказ или стихотворение молодого автора, заглянуть в каталоги газетных или журнальных статей, узнать, печатался ли раньше данный автор или он впервые выступает в печати.

МЫ ЛЕНИВЫ И НЕЛЮБОПЫТНЫ

Представьте себе, человек опубликовал первые свои стихи или первый рассказ; для начинающего автора это огромное событие; он трепетно ждет откликов, и вдруг появляется высокомерная статья Владимира Соловьева, обрезающая рассказы. В ней критик позволил себе следующим образом высказаться о четырех начинающих рассказчиках, даже не потрудившись назвать их имен: оказывается, напечатанные в первом номере «Юности» рассказы четырех авторов «не останавливают внимания: искренности, литературно грамотные и — лишенные оригинальности». Это и... звучит великолепно в своей самоуверенности. Одним роком молодого пера зачеркнуты произведения четырех молодых, одаренных рассказчиков: Виктора Прохина из Молдавии, Этери Басария из Абхазии, Валерия Грузина из Киева и Игоря Рогова из Ташкента. Я называю места жительства этих авторов не для эффектного перечисления, а для

того, чтобы сказать, что эти люди не придут уже, наверное, в редакцию «Литературной газеты», где напечатана 12 июля 1972 года статья Вл. Соловьева, и не будут требовать справедливости в виде объяснения, опровержения и т. п.

Нет, они молча прочтут эту размашистую фразу из статьи столичной газеты, и ничему она их не научит. Конечно, талантливому человеку с толку не собьешь несправедливой критикой — он только укрепитесь в своих позициях.

Но хорошо бы в общении с начинающими почитать таких холодных обливаний: хорошо бы побольше внимательного, заинтересованного разбора критикуемых произведений.

Возьмем для примера рассказ Игоря Рогова «Третья Таранчинская». Это строга, сдержанная проза. Рассказчик меньше всего обзачен изысками стилистики, потому что у него трудная задача: рассказать о том, как умирал его лучший друг, умирал в глухом степном городке, пережив ленинградскую блокаду, смерть всех своих близких. Валерия — так зовут героя рассказа — уже выписали из местного санатория, без больших надежд на выздоровление, но посетовали еще пожить в степном, знойном городке — может быть, станет лучше.

Этот слабый, безнадежно больной парень, студент-первокурсник, дарит людям столько человечности, доброты и духовной красоты, что каждый, повстречавшись с ним однажды, не мог уйти от него.

Рассказчик повествует о Валерии чуть приглушенным голосом, боясь взысканных слов, лишь изредка в интонации прорывается дрожь волнения:

«Он часто улыбался, мой друг. И сейчас, вспоминая, я вижу легкую улыбку на его худом, чуть удлиненном лице, и трещинки на щеках — следы детских ямочек. И суженные в улыбку зеленые глаза с золотистыми, словно плавающими точками. И был в его улыбке и доброта и сердечное веселье, но всегда и злая грусть и тайное тягостное утомление, которые поразили меня в первый раз и которые я тогда не мог ни понять, ни разделить».

Как-то незаметно Валерий собрал вокруг себя очень разных людей, и при нем они раскрывались в лучших своих качествах. Старшеклассница Лия, замкнутый и самолюбивый мальчишка Пиня, одинокий старик Иван Васильевич, прошедший три революции и две войны, молодой рассказчик... Долгими часами шли неторопливые беседы, текли часы в неспешной, вольной беседе...

На одной прогулке Лию задел вожак местной хулиганской стаи Гасан, и Валерий удивленно сказал ему в лицо: «По-моему, ты подонок». Через несколько дней Гасановы дружки потерпели Валерия поздно вечером на пустыре. И вдруг поспешающие на помощь друзья слышат голос Валерия, окруженного хулиганами:

«Шакалы, подлые, грязные, трусливые шакалы, псы смердящие, свиньи, готовые вместе с попом сожрать и собственных детей! — Голос Валерия дрожал от ярости и страсти. — Вы же холоты, быдло, хамская свора, способная лишь добивать беззащитных, мародеры, грабящие раненых и убитых... За бутылку водки друга, мать родную продадите и повесите, а потом будете валяться в канаве в собственной блевотине. Что смотрите — человека не видите? А ну, расступитесь!»

И оторопевшая орава расступилась. У дома Валерий прервал Пиню, что-то говорившего о нравственном превосходстве, «лицо его переделуно от отвращения. «Какой стыд, — сказал он, — такая мерзость...»

Рогов отлично пишет полуудумотный, окранный быт степного городка, в ритме повествования перс-

даны замедленные движения жаркого, сухого лета. И потому столкновение Валерия с худан-анами на ночном пустыне воспринимается как эмоциональный гравит, последний героический поступок настоящего человека. Потому в финале рассказа столь естественно звучат авторские слова, обращенные прямо к читателю: «Будь щедрым, как пальма. А если не можешь, то будь стволом кипариса, прямым и простым — благородным».

Это очень рискованный прием: условной прозаической ткани: тут малейшая неточная интонация могла прозвучать фальшиво. Автор тщательно выверяет эмоциональное напряжение и дает выход нахлынувшим к финалу чувствам.

О таких рассказах нужно писать отдельные статьи, радоваться за автора, а не цедить сквозь зубы соби-стские слова о том, что это «искренне, литературно грамотно и — не оригинально».

Такие огульные оценки не приносят пользы литературе; несправедливости их легко показать и на примере других рассказов, не упомянутых Ва. Со-ловьевым. Сумел же он быть объективным в разборе рассказа Ю. Шнитального «Ленкина мышка»; вот бы редакции и посоветовать критику так же внимательно относиться к другим авторам. Но, увы, некоторые авторы «Литературной газеты» бывают иногда небрежны и пристрастны. Иной раз, читая статьи за подписью «Литератор», пытаешься понять или догадаться, о чем же все-таки он пишет, что он имеет в виду? Но, к сожалению, это трудно. А между тем серьезная газета могла бы позволить себе внятно выразиться по поводу первых произведений молодых авторов.

Умест же «Литературная газета» уважительно разговаривать о произведениях именитых писателей; отчего бы столь же заботливо и заинтересованно не разговаривать о начинающих авторах?

АХ, КАК НЕЛОВКО!

В статье «Журнал — школа молодых» («Литературная газета» 25 октября 1972 года) за подписью «Литератор» разбираются методы работы наших журналов с молодыми авторами, а также некоторые стихотворные подборки, напечатанные в «Москве», «Молодой гвардии», «Авроре», «Юности».

Сначала о количестве. «Литератору» кажется, что мы печатаем слишком много молодых поэтов. Он пишет, что в подборке «Юности» «представлено два с половиной десятка (?) молодых поэтов». Для уважаемой газеты считать поэтов, как раньше говорили, огруженным счетом, на десятки не очень-то, мне кажется, удобно. Но оставим в стороне эту безтактность; зададим вопрос по существу: много ли мало мы печатаем молодых? Я думаю, что мало. Не только «Юность», но и другие журналы печатают молодых мало.

Почему «Литератор» считает, что тринадцать стихотворных подборок молодых в шестом номере «Москвы» — это достаточно, а двадцать пять подборок в «Юности» — много? У журналов разные традиции, разные задачи в работе с молодыми (для «Юности» она главная; для «Москвы» — одна из главных, ибо это «взрослый» журнал). Едва ли следует нашей «Литературной газете» стравливать два журнала.

Почему «Литератор» хвалит стихотворный раздел одного журнала, в котором он положительно оценил только три подборки из тринадцати, а остальные, по его словам, «не запоминаются», и тут же бранит стихотворный раздел другого журнала, состоящий из двадцати пяти подборок, из которых только четыре

подвергнуты критике за отдельные, вырванные из контекста строчки? Здесь трудно уловить логику «Литератора».

В стихотворениях молодых можно было бы найти и больше всяческих недостатков, слабостей, огрехов, чем нашел их «Литератор». Я говорю не об оценках. Меня интересуют единые принципы подхода критики к стихам. А принципы у «Литератора» меняются в зависимости от того, о ком он говорит.

В самом деле, почему, когда речь идет об одном журнале, вывод делается по лучшим стихам; когда речь — о другом журнале, заключение выводится из стихов не самых сильных? Тут, к сожалению, тоже не видно последовательности. Почему об одном номере говорится, что он подготовлен «довольно тщательно и разумно», а о другом номере сказано, что идейно-художественный эффект его подборки более чем скромнен.

И то и другое утверждение одинаково бездоказательно.

Тем более, что, если говорить по существу, «Литератор» проявил странную забывчивость. И Александр Шевелев и Лариса Тараканова, о которых «Литератор» пишет в связи с публикациями в «Москве», печатались и печатаются в «Юности». И очень хорошо, что калининский прозаик Евгений Борисов сначала печатался в «Юности», а затем выступил в «Москве» со своими рассказами. Тут нечего делать, дело у нас общее, а «Литератор» никак не может найти единого принципиального подхода к продукции журналов.

«Литератор» пишет, что одни стихи ему «запоминаются, другие «не запоминаются». А может, у автора статьи с памятью неблагополучно? Или у него просто нет вкуса к поэзии? Бывает же так, и ничего тут заторного нет. Ведь цена этому критическому аргументу «запоминается — не запоминается» такая же, как «нравится — не нравится». И то и другое — чистейшая вкусовщина.

Есть в статье «Литератор» еще один упрек «Юности». Справедливо заметив, что журнал наш «привык постоянно знакомить читателей с молодыми поэтами», «Литератор» с горечью констатирует: «К сожалению, в последних номерах этого журнала мы встречаем почти исключительно имена уже хорошо известных поэтов. Создается впечатление, что, предоставив свой первый номер за этот год молодым, редакция сочла свою задачу выполненной». И через один абзац уже вполне решительное заявление: «В последнее же время создается впечатление, что представление молодых порой приобретает кампанейский характер...»

Ах, как расстроен «Литератор»! Как он подводит порою свою уважаемую газету! Могут заверить впечатление о «Литераторе», что работа с молодыми идет в «Юности» каждый день, и почти в каждом номере они присутствуют. Публикации молодых не ограничиваются первыми номерами. Вспомним дебюты В. Коростылевой и Ю. Фооса во втором номере, Бровтова Бедурова, О. Нарочетовой, Г. Андреевой — в третьем, Уламбага Хожаназарова, Г. Рыбкова — в шестом, Мары Гриззана, А. Шупаева — в седьмом, Желона Мамытова — в восьмом, А. Крайнова, А.Дуры Саидова, В. Полаетава — в девятом, Микаэля Чикатуева — в десятом. Вспомним выступления молодых прозаиков Николая Студеникина, Валентина Черныха, Надежду Коженикову, Ивана Корнилова, Владимира Гоника, комористов М. Гординосника, Сашу Ерошенко, Марину Вишневецкую, Михаила Катюшенко...

Здесь перечислены авторы, опубликованные только до октября. Делать список дальше не нужно, потому что статья «Литератора» вышла в конце ок-

грядя и приводить примеры из следующих номеров журнала было бы некорректно.

Где же тут кампанейщина? Напрасно, конечно «Литератор» вводит в заблуждение читателей.

Как тут в связи с этой статьей не вспомнить пушкинские слова: «мы ленивы и любопытны...» Немного труда требуется для того, чтобы заглянуть в библиографические справочники, а вот поди ж ты... Все эти вещи относятся к мелочам литературного быта, но от них во многом зависит и самый тон разговора. Есть и более серьезные недоумения, возникающие при чтении статей «Литератора».

Например, фраза насчет возраста входящих ныне в литературу людей. Да, среди них есть и такие, которые по возрасту приближаются к маститым или уже превзошли их. Одни начинают в двадцать, другие в тридцать, третьи — в сорок; дело-то не в возрасте. А последние пять-шесть лет — «Литератору» это, наверно, известно — отмечены как раз «тихими деботами» люди зрелых, имеющих немалый жизненный опыт за плечами. Среди начинающих сейчас почти нет двадцатилетних, преобладают все-таки тридцатилетние. На го есть серьезные причины, о которых надо писать специально. На одну из причин указывает Игорь Мотылов в упоминавшейся статье в журнале «Москва»:

«Едва ли дело в замедленном «постарении» пишущих или в недостаточной активности Союза писателей и редакции, слабо привлекающих к сочинению романов юношей и девушек, оканчивающих среднюю школу. Совершенно очевидно, что писатель, не постигший всей сложности современной жизни, не овладевший с высокой мерой богатствами культуры, лишенный многостороннего и осмысленного опыта, вряд ли может претендовать на внимание аудитории, давно перешагнувшей рубеж элементарной грамотности».

Вероятно, поэтому в литературу сегодня наряду с молодыми часто приходят люди, вполне овладевшие своей первой профессией, увидевшие в своем труде высокий смысл причастности к общенародному созданию. Андрей Платонов однажды заметил, что это и есть «единственный способ приобщения к народу посредством труда». В первом номере «Юности» за прошлый год участвовали шофер, врач, машинист экскаватора, слесарь, учитель рисования, инженер, прораб, конструктор... всех не перечислишь. Почему-то «Литератор» увидел в этой информации лишь «эффективную аттестацию». В данном случае я не понял иронию; мне кажется, у иронии этой дамологический оттенок. Жаль, что хотя и редко, но он ее встречается в нашем литературном обиходе.

За десятилетия работы «Литературная газета» собрала вокруг себя маститых, уважаемых авторов, умеющих с любовью и знанием анализировать литературный процесс, заинтересованно и непредвзято писать о прозаиках, поэтах, драматургах. Статьи А. Затонского, Г. Ломидзе, А. Новиченко, В. Озерова, Б. Сучкова, А. Тимофеева, А. Яковлева и еще многих радуют читателей, обогащают методологию критического анализа.

Очень хотелось бы, чтобы на страницах «Литературной газеты» о творчестве молодых больше и чаще выступали не только безымянные «Литераторы», но и опытные, известные критики.

Мне хотелось бы, чтобы о талантливых прозе и поэзии, а пришлось заниматься только подходящей критикой к современной прозе и поэзии, методологией критического анализа, нередко весьма далекой от научного рассматривания литературы. Эти подходы, как было показано, часто бывают загромождены окологатературными соображениями, не имеющими ниче-

го общего с заботой о развитии молодых галантных писателей.

Трудно, наверно, отрешиться от предрассудков вульгарной критики, от заскорузлых пережитков былых литературных баталий, когда одно название журнала рождало у некоторых литераторов глупое раздражение или, наоборот, ощущение благодатной безмятежности. Пришли другие времена, стерты прежние репутации, п смешными выглядят встречающиеся сегодня попытки цепляться за устаревшие стереотипы, оживляя ушедшие в прошлое мифы, как смехом был бы сегодня «звездный мальчик» в возрасте сорока лет.

В литературе нашей идет сейчас сложный процесс кристаллизации более глубокого, чем прежде, представления о жизни, о героическом пути народа-первопроходца. Критика участвует в этом творческом процессе, осознавая все лучше, что происходит в прозе, поэзии, драматургии, в свою очередь, помогая другим литературным отрядам полнее видеть развитие советской жизни.

Критик поверяет литературу жизнью; но он еще и доверяет литературе, доверяет честным, талантливым свидетельствам художника. В. И. Ленин в 90-х годах прошлого века, анализируя очерки «Из деревни» Энгельгардта, писал следующее: «Если ученые доверяют материалу анкет — ответам и отзывам многих хозяев, сплошь и рядом пристрастных, мало сведущих, не выработавших цельного воззрения, не продумавших своих взглядов, — то отчего не доверять наблюдениям, которые целые 11 лет собирал человек замечательной наблюдательности, безусловной искренности, человек, превосходно изучивший то, о чем он говорит».

Молодые талантливые литераторы несут в своих книгах правду о новых человеческих отношениях, о социальных сдвигах, зреющих в недрах общества. Литератору необходимо взаимопонимание современников, ощущение постоянных, прочных связей с народом. Об этом размышляла в свое время Ф. М. Достоевский: «Таланту нужно сочувствие, ему надо, чтоб его понимали...»

Мы умеем быть требовательными, хотя это не означает быть мелочно придирчивыми или подозрительными. К сожалению, нам иногда не хватает сочувствия таланту, понимания природы и назначения литературы.

ЛЕВ КАССИЛЬ: «ВЕРЮ В СИЛУ КНИГИ»

Это интервью журналист Марк Дейч взял у Льва Кассиля незадолго до его смерти. Л. А. Кассиль всегда была абсолютно чужда интонация назидательности, поучительства...

И в этом интервью наши читатели вновь смогут услышать живой, размышляющий голос писателя, для которого, как он говорил, контакт с молодым поколением был тем, ради чего он жил на земле.



В юности я не предполагал, что стану писателем. Я упорно занимался физикой и математикой и видел себя в будущем архитектором или кораблестроителем. Я принадлежал к числу тех несчастных детей, которых все считают способными: чем бы я ни увлекался, учителя говорили, что именно по этой стезе мне надлежит идти. Мне прочили будущее музыканта, живописца... Но пророком оказался только учитель литературы. Прочитав мои классные работы, он сказал мне: «К чему бы вас ни готовили, все равно быть вам литератором».

А решила все встреча с Маяковским. Я давно любил его стихи, ходил на вечера, где он выступал, и, стыдясь собственного нахальства, мечтал сделать в литературе что-нибудь такое, что хоть чуть-чуть приблизило бы меня к великому поэту. Кстати сказать, сам я стихов никогда не писал. Меня влекла проза, документальная проза, и начал я, если не считать нескольких рассказов, о которых сейчас страшно вспомнить, с очерков.

Встреча с Маяковским произошла так.

В университете, где я учился, была создана «живая газета», так называемая «Синяя блуза». В «Синей блузе» каждый из ее членов был и автором, и постановщиком, и исполнителем. И я, конечно, тоже стал одним из «синяблузников». Помогал нам Осип Брик, известный литературовед, друг Маяковского, живший с ним в одной квартире. Прочитав один из

моих репортажей, он как-то сказал мне: «Приходи-те, может быть, я познакомлю вас с Маяковским».

И вот с первыми страницами первой своей книжки «Кондуит» я пришел в Гендриков переулок, ныне переулок Маяковского, и постучался в дверь. Владимир Владимирович встретил меня тепло, не обращая ни малейшего внимания на мое смущение. Вскоре он помог мне напечатать один из моих очерков, а потом и главы из «Кондуита». Маяковский был первым человеком, к которому я шел со своими надеждами и мечтами, и слово его было для меня решающим; Владимир Владимирович сказал мне как-то, что мною заинтересовался журнал «Пионер». Дословно помню его фразу. «Идите туда, классильчик, там хорошие люди работают и интересное дело делают». Тогда-то я и отправился к этим хорошим людям — с тех пор с журналом «Пионер» не расставался. В течение почти сорока лет моя судьба связана с ним, более четверти века я состою членом его редколлегии. Все основные мои вещи прошли через этот журнал.

Если Маяковский был тем человеком, который ввел меня в литературу, то детским писателем я стал благодаря Самуилу Яковлевичу Маршаку. В молодости редко обращаясь внимание на детей и их проблемы, Маяковский потратил немало времени и терпения, чтобы разъяснить мне всю важность работы детского писателя, заставить меня полюбить прекрасные стихи и сказки Самуила Яковлевича. К моменту встречи с Маршаком я был уже «доведен до кондиции», и с тех пор он стал моим наставником по детской литературе. С ним я дружил до последнего дня его жизни...

Многие мои книги вряд ли увидели бы свет, не

будь в моей жизни этих встреч. А материалами для своих книг я обязан газете.

Советская газета — великолепная школа для писателя. Об этом я все время говорю моим питомцам в Литературном институте, которые как-то отмахиваются от газетной работы, видят в ней только бедоту, выполнение срочных редакционных заданий. А ведь газета — это прежде всего средство общения с жизнью. Журналистика позволила мне своими глазами увидеть много из того, чем жила страна. Я проважал и встречал Цюлоковского. Кстати, когда Цюлоковский холодно отославшийся к журналистам, понял, что я знаком с его трудами, то стал показывать мне свои чертёжи, а делал он это очень редко. Потом мы долго переписывались с ним... Я дружил с Отто Юльевичем Шмидтом — эта дружба тоже началась с редакционного задания. Я провёл две недели на аэродроме, где осуществлялся запуск советского стратостата, побившего все мировые рекорды. Спускался в первую шахту Московского метро. В течение девяти лет я был репортёром, очеркистом, фельетонистом «Известий» и в качестве спецактора ездил в Испанию во время гражданской войны. Мне, наверное, не удалось бы написать и трети того, что я написал, если бы я не работал в газете.

Мне не раз доводилось встречаться с коллегами по перу, чьи книги стали классикой детской литературы, но которые тем не менее обижались, когда их называли детскими писателями. Эти слова — «детский писатель» — стали произносить с должным уважением лишь после Октябрьской революции, ибо до 1917 года специально для детей писали лишь третьесортные литераторы. Кстати, еще тогда это положение резко критиковал Корней Иванович Чуковский. В первые же годы Советской власти Горький, Маяковский и Маршак создали принципиально новое явление — большую литературу для маленьких.

Многие века детская литература создавалась путем естественного отбора: дети отбирали из мировой литературы то, что было для них интересно, — Свифта, Дефо, Дюма... Я придерживаюсь одного правила, которое считаю непреложным: если ты что-то хорошо написал для детей, это будет интересно взрослым. Детский писатель может писать обо всем, важно — как писать. Я считаю себя детским писателем в том смысле, который придавал этим словам Белинский, который говорил, что писателем можно стать, а детским писателем нужно родиться...

Мною владеет постоянная тревога: сумею ли сохранить тот духовный контакт с молодым поколением, ради которого живу на свете? Я все время проверяю состояние этих душевных связей — внутреннего, духовного родства между мною и моими читателями, между мною и моими студентами Литературного института. С каждым годом мне все трудней и трудней, ибо я старше, а мои читатели всегда молоды... Я бы хотел как можно дольше сохранить этот контакт: если я его утрачу, то потеряю смысл жизни.

Именно потому, что с каждым годом разница в возрасте между мною и моими читателями увеличивается, все более важное значение для меня приобретает проблема отцов и детей. Конечно, в нашей стране эта проблема носит совсем иной характер, нежели в странах Запада, где молодому поколению с самых своих первых шагов приходится бороться за существование. Я вспоминаю свою поездку в США и беседы с молодыми американцами. Один семнадцатилетний парень на мой вопрос, кем он хочет стать, ответил: «Если эти старики дадут нам выжить, я попробую стать инженером».

Таких непримиримых, антагонистических противоречий в нашей стране нет. Но всегда будут какие-то диалектические противоречия, ибо без этого невозможен прогресс... Конечно, между мной и представителями молодого поколения возникают некоторые различия в оценке явлений. В этих случаях, по-моему, необходимо признавать права молодежи на новое, оберегать право молодости, понимать многое по-иному. При этом, конечно, надо оберегать молодость от ошибок, которые были свойственны и нам, и не только учить молодежь, но и самому учиться у нее. Скажем, свежести восприятия, взыскательности по отношению к правде. Я считаю, что основная моя задача — воспитывать молодежь правдой...

Меня часто спрашивают о том, как я пишу. Стараюсь рассказывать об этом как можно меньше, ибо не уверен, что моя система принесет кому-нибудь пользу.

Когда возникает какой-то замысел, я делаю для себя пометки на отдельных страничках, на клочках бумаги, которые засовываю в карманы и потом часто терю. В начале каждой записи ставлю какой-нибудь условный знак. Когда я задумываю новую книгу, я всегда рисую условный герб, символ этой книги. Потом смотрю в свои записные книжки все написанное под знаком этого нового Зодиака. Затем придумываю название. Этот процесс для меня особенно мучителен. Есть книги, которые я придумал около полугода названия. Например, роман «Чаша гладиатора». Это было 146-е название. «Лица младшего сына» — 48-е. Без названия начинать работать я не могу — оно для меня не только вывеска, но и определяющий стилевой фактор: в духе этого названия я и пишу. Потом я делаю первые наброски, схематически набрасываю сюжет, расписываю мои бумаги на отдельных листах по всей схеме, затем приглашаю стенографистку и надиктовываю все, что у меня есть, в таком нелепом и страшном виде. После этого принимаю переписывать все это от руки. Приглашаю машинистку, диктую еще раз и коренным образом правлю напечатанное. Иногда что-то получается, но большей частью приходится перепечатывать в четвертый раз, в пятый, шестой...

Говорят, писать нужно только тогда, когда приходит вдохновение. Я не разделяю этого мнения. Вдохновение — это, на мой взгляд, состояние, в которое необходимо научиться вводить себя искусственно, путем постоянного тренажа, постоянной мобилизованности. Я знаю, что утром надо встать и писать, и никакие настроения или боли под ложечкой не должны этому помешать. Бывают дни, когда пишется легко, а иногда — трудно, но я заставляю себя браться за перо. Огромная тренировка, которую дала мне работа в газете, помогает писать в любом состоянии, в любой обстановке — лежа, сидя, на ходу... Иначе, если будешь ждать, когда придет вдохновение, можно потратить на это ожидание всю жизнь. Вдохновение приходит, если ты призываешь его всеми силами разума и души.

Не раз мне доводилось слышать и утверждение, будто в наш век радио, кино и телевидения литература утрачивает свою ведущую роль. Не знаю... Я по-прежнему верю в силу книги, верю, что человечество еще внимательнее будет вчитываться в печатную строку. Или никто не может заменить книгу, где все основано на доверии к воображению читателя. А именно это — развитие воображения — одно из необходимых условий, помогающих воспитать эстетическую грамотность — одну из главных черт Человека Будущего.



ТРАГЕДИЯ ВОСЕМНАДЦАТИЛЕТНИХ

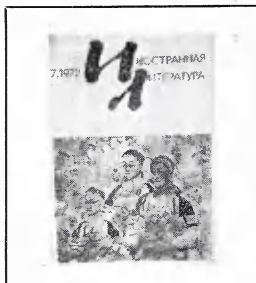
Трое мальчиков, родившихся в Каракасе в один и тот же день — 8 ноября 1948 года — и окрещенных одним и тем же именем — Викторино, никогда не узнают друг друга. Лишь на кладбище восемнадцать лет спустя встретятся их матери, только что сгоревшие сыновей. О недолгой жизни и безвременной гибели молодых сыновей Венесуэлы рассказывает роман выдающегося латиноамериканского прозаика Мигеля Отеро Сильвы «Когда хочется плакать, не плачу»¹.

С первых страниц этот роман захватывает читателя стремительностью действия, выразительностью авторской речи, vibrating в себя многие голоса, широтой эмоционального диапазона — от площадного сарказма до высокой патетики. С психологической бытовкой достоверностью изображается в романе контрастная жизнь венесуэльской столицы во всем ее многоцветье. Но более всего роман привлекает остротой, с которой поставлена здесь одна из самых жгучих современных проблем не одной только Венесуэлы, но и всего западного мира: проблема молодежи, не находящей себе места в обществе, не желающей жить по его законам и бунтующей против него. В романе она представлена тремя восемнадцатилетними юношами по имени Викторино.

С тщательностью исследователя раскрывает писатель внутреннюю, сокровенную жизнь своих героев, воссоздавая социальный и духовный климат, в котором они выросли. С отеческим чувством смотрит автор на своих героев — почти еще детей, едва успевших вступить на путь сознательной жизни. Но это не мешает ему видеть в каждом из них личность, неповторимую личность со своими наклонностями и чувствами, с тем особым душевным миром, благодаря которому читатель навсегда ее запомнит.

¹ Мигель Отеро Сильва. «Когда хочется плакать, не плачу». Пер. с испанского М. Былинниковой. «Иностранная литература» № 7, 1972.

Каждый Викторино бунтует по-своему. Вот Викторино Перес, сын нищей мулатки, продающей за гроши горячие лепешки на улице. В свои восемнадцать лет он уже «преступник общества № 1», успевший совершить не одно угодное преступление. У искалеченного жизнью Викторино повадки волочка. Он мстит обществу стихийно, примитивно, от загнивания,



неутоленной злобы на всех тех, кто впитал его в грязь.

Чего бы, кажется, желать другому Викторино, последний противотокующего капитализма Перальты? Достаточно сказать, что в день восемнадцатилетия он получает в подарок самоневейший и дорогостоящий автомобиль марки «Мазератти»! Но оказывается, что и ему обрыдла жизнь. Он презирает суетное тщеславие окружающих его людей, и свой протест против них, против существующих законов и норм общества он выплескивает в хулиганские выходки. Вместе с друзьями он учиняет разгром и дебош в феешенебельных обитках. Подобного рода дикие сцены, изображаемые на современном языке «хулиганства», стали уже значимым временем во многих странах капиталистического мира. Дошла эта мода и до Венесуэлы. И все же Викторино Перальта не просто распознанный хулиган. Ведь он не лишен ума и даже совести. Но только перед самым концом жизни

обнаруживается эта его человечность. Викторино, мчащемуся с самобуйственной скоростью по горной дороге на новой машине, грозяло неминуемое столкновение с автобусом, полным людей. И он решает спасти людей ценой собственной жизни.

И в гибели от полицейской пули Викторино Переса и в гибели в катастрофе Викторино Перальты закономерность социального характера тесно сплетена со случайностью. Но зато с полной неотвратимостью предстает гибель третьего Викторино, участника ультра-левого террористического движения, члена боевой его единицы.

Этот Викторино — единственный из трех, кто борется с обществом сознательно и с энтузиазмом. Тем горше и трагичнее его конец. Ведь в свои восемнадцать лет он не успел понять обреченности экстремистских методов борьбы и с чистой, горячей душой идет на верную смерть. Впрочем, быть может, в самый последний миг сомнения приходят к нему, но уже поздно. Судьба этого третьего Викторино — Викторино Пардо — не только отражает вполне конкретную венесуэльскую политическую ситуацию 60-х годов, когда в стране получили распространение анархистские, стугубо левацкие, террористические методы борьбы. Благодарный, честный юноша, ставший жертвой политической неопытности и авантюристического угара — это ведь фигура, характерная не для одной лишь Венесуэлы. Сколько было таких вот Викторино в массовых движениях молодежи, прокатившихся в 60-х годах по многим странам западного мира! Поэтому значение романа «Когда хочется плакать, не плачу», с нашей точки зрения, выходит за пределы Венесуэлы.

И в этой-то связи следует понимать смысла гротескно-сатирического пролога. Изображая время римского императора Деоклеяна, прославившегося гонениями на христиан, автор открыто прибегает к аналогиям между гонимой древнеримской империей и современным миром буржуазной цивилизации с ее неизлечимыми недугами. Повествованию сообщается исторический масштаб.

Роману «Когда хочется плакать, не плачу» предпослано посвящение: «Моему сыну Мигелю Эприке Отеро». В этих словах и отцовское чувство, и его предостережение, и его страстная вера в то, что молодежь его родины найдет правильный путь.

В. КУТЕЙЩИКОВА

К 150-летию со дня рождения Шандора Петёфи



ЖИЗНЬ БЕЗ ЗАКАТА

Редко кто из поэтов так пророчески писал о своей судьбе, как Шандор Петёфи!

Между прочим вспоминаю:
Кассием я звялся в Риме,
В Альпах был Вильгельмом Теллем
И Камилло Демуленом
Был в Париже, — и, возможно,
Здесь я тоже кем-то стану!

И стал народным поэтом и народным трибуном
восставшей Венгрии и не только призывал в бой за
свободу соотечественников, но рвался туда сам и
ужасался при мысли, что судьба может занести его
в какую-нибудь сонную заводу:

Ужели не паду звездою
В бою, среди льда и огня?
Ужель бездействие задушит
Иль в спячку загвоздит меня?

И пал звездою, погиб в битве, исчез, породив легенды о том, что удалось ему спастись и что бродит он где-то по родной стране.

Была в этой легенде великая правда, ибо мог умереть человек, который кричал из братской могилы засыпавшему его землей австрийскому солдату: «Я Петёфи, я живой!» — на что раздался ответ: «Ну, так сохнись!» — но не мог стинуть тот бессмертный дух, который он вдохнул в свои строки.

Вновь уезжая в армию после короткой отлучки, он простился с женой стихами:

Едва расстану — и вот уже закат,
Едва пришел — и ухожу назад,
Едва успел тебя поцеловать —
И вот снова прощальные звучат!

«Адресат» этих строк слишком скоро забыла об их авторе. И теперь, как будто в возмездие ей, они

звучат обращением уже не к женщине — к жизни, которой так мало успел насладиться двадцатипятилетний поэт.

Это была его давняя любовь. Уже в ранних стихах она звучит совершенно явственно:

В поле путника примечу —
Я богат...
В чистом поле
Я как в собственном доме.

Уже здесь чувствуется, что и в своем деревенском детстве и в своих голодных скитаниях по стране Петёфи постоянно брал уроки у поэта, воображение которого он провозгласил самым смелым, у народа. С годами ученик становился все более достойным учителя:

Вдали на горизонте
Горит костер пастуший.
Костер ли это, или
Звезда на самом деле,
Сошедшая на землю
Послушать плач свирели?

Не в этой ли школе родилась у Петёфи мысль, что «мерой величия в искусстве... является многогранность», как будто подсказанная широчайшей образной амплитудой созданий фольклора? Тот, кто вала бы на себя смелость точно очертить ее, невольно уподобился бы человеку, осмелившемуся перейти океан вброд.

Поэтому Петёфи, готовый в суровый час извлечь из своего сердца гульки, набатные звуки, «неожиданно» объявляет себя не только солдатом, но и собратом жаворонка, самозабвенно заливающегося над венгерской пуштой — степью, где грохочут битвы:

Сама собой летит из сердца песня;
От радости родясь и от тоски.
Она несется, как летят по ветру
Оборванные с розы лепестки.

«Что правдиво — то естественно», — утверждал поэт, — что естественно — то и хорошо и, по-моему, красиво: вот моя эстетика».

Правдива, естественна, прекрасна вера в мощь человеческого разума:

И дух крылатый мчится к звездам,
И эти звезды
Трепетуют от его полета.
Как пламень свечки!

Правдиво, естественно, прекрасно быть честным и нелицеприятным гражданином своей родины, «Молчать всегда легче, нежели говорить; и кто преуменьшает республику о грозящей ей опасности, не может быть ее врагом. Ее враг тот, кто видит опасность, но молчит», — страстно писал Петёфи, когда над венгерской революцией сгустились тучи.

В своем последнем письме поэт рассказал, как встретился с одним из славнейших генералов революционной армии.

— Сын мой, сын мой! — повторяла старый воин, обвиняя Петёфи.

Так могла бы сказать о поэте вся Венгрия.

Поэт верил:

..Настанет день великих похорон,
И мой найдется прах и собран будет он,
И унесен под траурное поенье
В сопровождение траурных знамен
К могиле братской всех сынов народа,
Поглощенных за ней, всемирная свобода!

Но нет у Петёфи могилы. И, так же как его современники, не верят в эту смерть его потомки.

У него не было заката. Он навсегда остался в зените. Шандор Петёфи пришел в мир, чтобы остаться в нем навеки.

А. ТУРКОВ

Мтвариса Кереселидзе



Здесь какой-то мальчик продавал фиалки.
В солнечной рубашке. далеко от рынка.
Здесь однажды мальчик продавал фиалки.
Влажные фиалки. Полная корзинка.
В солнечной рубашке, по какой тропинке
Он ушел! туманы подошли к окну.
С тысячью фиалок в маленькой корзинке
Вел он за собою раннюю весну.

Перевел с грузинского
Вл. СОКОЛОВ.

Я родилась в июле

Солнце шло золотом по сини,
Был июль настоящим на сосне...
Моему отцу рождение сына
Чудилось в то лето на войне...

«Поздравляю с дочерью...», — писала
Мать ему, не зная наперед,
То письмо сквозь огненные шквалы
До отца дойдет ли — не дойдет...

Праздничного не было застолья,
Гости не стреляли в высоту...
Дуб молчал, пронзен сердечной болью,
Тишина застыла на посту...

Год сорок второй... Навылет ранен...
Год сорок второй — зловец и лих...
Родилась я... Но на поле брани
Сколько пало в этот самый миг!

Радость была залита слезами:
Трое братьев матери моей

Пали смертью храбрых... Их глазами
Я ловила свет июльских дней.

Радостью и памятью — в июле
Я явилась в мир,
Когда была
В облаках луна — не потому ли
Мать меня Мтварисой¹ назвала!

Вновь июль... И новые Мтварисы
Входят в мир. А мать ночной порой,
Глядя на луну в небесной выси,
Вспоминает год сорок второй...

...Свет струился синий, первозданный —
Он, дитя, в подарок не тебе ль!
С колыбельной песней «Иванана»
Матери качают колыбель.

Пусть земля забудет запах гари —
Черный дым не застигает мтварей!

Снова ожидание...

Ждала тебя, как чабаны в горах
Ждут после непогоды прояснения.
То я была луною в облаках,
То темной тучей, то летучей тенью...

«Нет...» — говорили губы мне, но тут
Немедля сердце их опровергало.
Как чабаны отару берегут,
Так нашу близость я оберегала.

Мысль о тебе я трепетно несла,
Как первую фиалку в день погожий...
Не зная ни покоя и ни сна,
На ожиданье я была похожа.

Даря тебе апрель, с небес дождем
Стремительным пришла я к травам ранним —
Их напоить, и разбудить твой дом,
И оживить твой сад и виноградник...

Не пожелала я с собой нести
Ни подозренья, ни свои невзгоды.
Я — верность, ожиданье во плоти,
Весна — я побеждаю непогоду!

Дождь — превратиться я могу в слезу,
Слезую на реснице дрогнуть чистой.
В конце концов сквозь ветер и грозу
Твое дыханье до меня домчится!

И, наконец-то, после всех тревог,
От всяких звуков отключась, сквозь тишь я
Твое дыханье слышу лишь, твой вздох,
Всю радость бытия в себя вместиший.

И вот, когда мы вновь наедине
И слушаешь меня ты — весь вниманье,—
Вновь ожиданье зреет в тишине,
Вновь ожиданье... Снова — ожиданье...

Перевела с грузинского
Е. НИКОЛАЕВСКАЯ.

¹ Мтваре — по-грузински «луна».

Геннадий Лысенко



Листва осенняя редела,
как список роты на войне.
Я видел поле без предела,
я слышал время в тишине.
И оставались в стороне
такие ужасы и страхи,
как гром, как пятна на луне,
и ближе собственной рубахи
ночное небо было мне.



Ночью филин глухо ухал,—
не к добру наверняка,
к злым догадкам, к темным слухам,
так, как лебедь к белым мухам
в сентябре. Ну, а пока
солнце лепит облака
кучевые, как из теста,
и не к месту грустный лад;
незабудки—чья невеста
уронила этот взгляд!
Я смотрю, как смотрят в детстве:
дым колдует над избой
или снова по соседству
чей-то табор кочевой!
Воздух с пухом. В горле сухо.
Синь. Жара. Ни ветерка.
Только песня бьется в ухо,
словно медная серга.



Когда и я из детства выбыл
туда, где должен кто-нибудь
таскать мешки, ворочать глыбы,
лома рихтовочные гнуть,
ровняя искривленный путь,
я не забыл, как пахли шпалы
золотой скитальческих костров
и как к себе я был суров,
когда уменя не хватало!..



Была распутица пора,
плыла щепы, ботва, кора...
И я кружил на утлой лодке
по разгулявшейся воде,
не понимая, в чем и где

мои потери и находки.
Но вышло, что они в одном,
а суть предмета в промежутке
да в том, что после незабудки
цветут и лодка кверху дном
валяется на солнцепеке —
реальная, без подоплеки.

Эдуард Пузырев



Ярмарка

Ярмарка совхозная —
колгота чуть свет.
Жесткими полосьями
разлинован снег.
У машин обтаяно
желтое сенцо,
как лото, расставлены
бочки огурцов.
Облачком обросшие,
виснут голоса.
Черными матрешками —
гири на весах!
— Кому лучок:
полметра стручок.
Хрусткий, сладкий —
только что с грядки!
— Подходите, девочки,
есть чулки-сеточки:
забредайте в них жарней,
как ершистых окуней!
— Не жалейте денег
на хороший веник!
— Молодой человек
приятной наружности,
три метра в окружности,
бери рюкзак, не дыми рассеянно —
станешь стройнее ансамбля Моисеева!
— Ягода дивная,
самая винная.
Раз возьмишь —
семь раз придешь!
В шутолке праздничной —
широко словам.
Снег хрустит подарочно,
будто целлофан.
Все покупки вежливо
кутает сама
по-сибирски снежная
Русская Зима!

Николай Савостин



Свет осени начальной над заливом,
Круг пестрых гор, воды литая гладь,
На новом пирсе сварщик терпеливо
Стремится солнце перещеголять.

Над ним струится дым от электрода,
Вплетаясь в горький хвойный аромат.
И льются искры в голубую воду,
Где тени рыб, насторожась, стоят...

Неизвестные поэты

Пускay навес неприхотливых веток
Иль просто камень осенит покой
Могилы неизвестного поэта,
Где нету даже метки никакой.
Пускay по ней проходят, не заметив...
Когда строка без автора живет,
Мы часто, забывая о поэте,
Спешим сказать: ее сложил народ.
А был в источе человек, не призрак,
Поэт настолько истинный, что сам
Не думал, будет иль не будет признан,
Какой присвоят после смерти сан.
Ах, в том ли дело, кто у нас известней!
Ведь самой высшей мерою права
Частушка ли, поговорка ли, песня,
Что и без славы автора жива.
Все дело в этом беспощадном чуде —
Уйдя, оставить с жизнью связи нить:
Оттуда, так сказать, где все мы будем,
Безвестным оставаясь, говорить.



Звезда упала в синие снега,
Но наверху еще осталось много.
Черны леса. Молчат в снегах стога.
Чернеет одинокая дорога.
Звезда упала...
Где-то города
Своих огней сиянием покрыты.
И только в поле видно, как звезда
Скиталась одинокая с орбиты...

Коротко об авторах этих стихов.

М. КЕРЕСЕЛЯДЗЕ — журналистка. Училась на филфаке Тбилисского госуниверситета. Г. ЛЫСЕНКО, 29 лет, обручин в литейном цехе Дальзавода. Работал в геофизической экспедиции, был библиотечником, грузчиком, столовым, ночегором, клепальщиком. Э. ПУЗЫРЕВ, 1937 г. р., инженер, работает в подмосковном городе Фрязине. Н. САВОСТИН вырос в Забайкалье. Работал наборщиком, служил в армии, сотрудничал в газете «Забайкальский рабочий». Сейчас живет в Молдавии. Н. ДМИТРИЕВУ 19 лет. Родился в селе Архангельском Московской области, сейчас учится на литфаке Орехово-Зуевского пединститута.

Николай Дмитриев



Сухлодала, забелела снегом сторона моя,
Каруселью завертела черный пепел воронья.
Непонятно и тревожно тени синие легли,
Затихает осторожно говорок реки вдали.
Темь. Снежок. Сорочьи сказки, и в кладовке до утра
Нашим рыженьким салазкам снится белая гора.

Дед

Умер дед без болезней и муки,
Помню, теплые лили дожди.
В первый раз успокоились руки
И легли тяжело на груди.
Умер так незаметно и просто,
Что бывало порой невдомек —
Словно выправил несую косу
Или поле оспахал и прилет.
Постояв на кладбищенской сыри,
Вытер слезы, опоминился дом.
Ничего не нарушилось в мире,
Все проходит своим чередом.
В окна смотрит такое же лето
И ромашек веселый разбег —
Незаметно прошел для планеты
Небольшой человеческий век.
Просто липа в саду б не шумела,
В ней не слышались птиц голоса,
Да бед дед войны бы тремелся,
Может, лиших каких полкаса.
Не стоили б хорошо внуки
На пороге большого пути...
Умер дед без болезней и муки,
Словно что-то узрел впереди.



НИНА
ИВАНОВА

ЖИВАЯ ВОДА

*В ноябре миллионы
телезрителей познакомились
с людьми
украинского села Тимановка —
в интересной передаче
молодежной редакции
Центрального телевидения
«От всей души».
Но сколько еще осталось
за кадром!
Идем по следам
наших коллег из молодежной
редакции телевидения,
печатая очерк Н. Ивановой
о Тимановке и ее людях.*

Что там случилось с небом? По какой такой причине оно поизносилося? Трудно сказать. Только пробурывало его именно над Тимановкой. И в ту брешь хлынул дождь. Захлебнулась земля, вспухла, почернели пруды, через край ринулась вода из криниц.

Сеяли в дождь... И убрал в мокрицу... Хлеб взяла неплохой — по 40 центнеров на круг... А ждали большего... Но что поделаешь — взбесилась погода!

Поделиться бы тем дождем с Поволжьем... Но дождь не сложить, не раздать всем поровну...

К октябрю силы у ливня поубавились... Так нет, чтоб совсем перестать, занудел он мелкой изморосью, повис над Винничиной холодной завесой и распустил поля в жидкое месиво, в которое вкленились накрепко свежлоуборочные комбайны...

И вот тогда по-настоящему вспыхнула в большом грузном теле Филиппа Желюка боль. Всю пору летних дождей она жила в нем затаившись. Утром он почувствовал, что самому в город ехать рискованно — в дороге может растряссти, — и тогда уж наверняка сляжешь. И, не зайдя в свой председательский кабинет, а примостившись в бухгалтерии за пустым столом у окна, стал ждать сводок, которые нужно было передать в район, и своего зама — секретаря парторганизации Александра Климентьевича Вовка. Или Сашку, как звал он его.

Дружба их сложилась в ту пору, когда Сашку еще верховодил колхозным комсомолом. А с теми временами не воспоминания, а дела связаны. И только настроился Филипп Алексеевич на раздумья, благо вдруг выпало несколько вольных минут, как появился зам. И еще в прихожей, стряхивая с себя дождевину, стал ругать проклятую осень, когда все будто белены обелось — играют свадьбу за свадьбой, и во всем районе не слышь десяти пар часов — все на подарки разбирали.

— А часы-то зачем! — полюбопытствовал председатель.

— Так хлопцев в армию провожаем... Вы ж сами сказали: проводить по первому классу... Часы подарить... Чтоб где ни служил, а на часы глянет — Тимановку вспомнит... А где их взять, часы-то?..

— Что искать? — обронил председатель. — У меня двадцать штук с весны лежат в сейфе. Тут, Сашко, дело потруднее. Бери мою машину, мчись в город, договори с рабочим классом, чтоб помогли нам свежело поывдергивать. На технику теперь не рассчитывай...

И, сказав это, удивленно замолк, потому что боль внутри притихла и тело перестало быть стеклинным. Можно было не глядеть на барометр — пора дождей кончилась.

...Утром выпал снег. Но земля, хранившая еще тепло и влагу, не приняла снега, и он таял, едва прикоснувшись к ней. Зато дома, школы, памятники, кино-театр, мастерские, заводы — все стало лохматым и неправдоподобно большим. К прозрачному, студеному воздуху примешивался запах слезнувшегося с холодом травы, и оттого дышалось на редкость молодо.

Проснулся Желюк в тот день задолго до рассвета. Проснулся от мыслей, что сегодня произойдет что-то хорошее. Долго лежал, перебирая в памяти дела рождающегося дня, и вдруг вспомнил: телевидение... Сегодня передача об их колхозе.

А вспомнив, уже не мог спать, и тихо, чтобы не разбудить домашних, поднялся и вышел на улицу.

И едва переступил порог, ощущение праздника захлестнуло его, да так сильно и неожиданно, что он остановился. Тимановка — огромная, из конца в конец около четырех километров — лежала перед ним в белом наряде невесты. В мыслях Желюка вписался какой-то посторонний и в то же время знакомый звук. Прислушавшись, ахнул: это ж в тишине пел его родичек. За долгие дожди Желюк уже поинтересовался его голосом. А тот жил и тоненько тенькал в утренней тишине.

...**3**... ной плыл над земным шаром... Зной тек с неба, обрушивался на землю, и она превращалась в прах.

Зной обжигал лицо, руки, тело... А они все шли и шли...

Черная стена смерти двигалась на них неумолимо... А они шли и шли...

Иногда кто-нибудь из солдат забегал вперед и смотрел в лицо политураку. Он не видел драной гимнастерки, обмоток, пыли и грязи на солдате. Одни глаза: а будет... вода?

— Будет, сынок, будет... иди...

Он знал о них все, хотя говорить было некогда. Ему и не надо было ничего спрашивать. Такие же глаза дома, в Тимановке, смотрели на него в самое трудное время коммуну, которую создали двенадцать беднейших семей...

— А будет хлеб?

— Будет, обязательно будет...

Сейчас, на этом марше, в груди кипела, билась злость и одно желание: провести этих ребятнишек (они вчера еще все бегали в школу) через жгучую, страшную степь. Выйти к своим, дать попить солдатам...

...Он шел по степи... И они, выросшие где-то далеко-далеко от его родной Украины, в селах с певучими русскими названиями, в степях Башкирии, в казахских аулах, уже не спрашивали ни о чем. А только иногда забегали вперед и смотрели в лицо: «Вода?»

Ночь была желанной для всех, кроме политурака... Он сидел без сна, и тягучая, густая тьма, плотная и душная, обступала со всех сторон измученных солдат и его. И помимо воли, вопреки здравому смыслу вдруг все начинало тянуть, в темной, густой черноте наступал просвет. И оттуда веяло запахом цветущего сада, настом трав и леса. И по всей Тимановке пели криницы, выбивавшиеся из-под земли звонкими ключами.

И они с Карпо, первым другом, молодые и сильные, шли впереди коммунаров, вгрызаясь в пахучую стену травостоя... А потом мылись на низкорослых лошадаках по окрестностям села: при ревмеке был создан отряд по борьбе с бандитизмом. И первыми вошли в него комсомольцы.

Ночь, ласковая и пахучая, обнимала деревню, и, наклонившись к кринице, можно было пить, пока не начинали мететь зубы и вода не заливалась за пазуху.

Можно было плакать, когда хоронили друзей, убитых кулачем и бандитами. Можно было смеяться от счастья, когда Иван Семанчук разобрался в «форлзоне» — джиповини, чудной машине, и сам, еще два дня назад не имевший представления о тракторе, пошел в поле. А за ним, за бороздой шли коммунары, первыми вступившие в только что созданный кохоз, и шла вся Тимановка.

Ох, какая начиналась жизнь!..

...Чистая отдушина в сальском небе затягивалась мутью... И кто-то из спящих солдат глотал во сне несуществующую воду.

«Буду жив», — дал себе клятву Желюк, — вернусь в Тимановку, напьюсь из всех ключей се... вместе с Карпо...»

И не знал он, что в это же время его друг (с которым уже давнему различия их судьба, потому что Филипп стал председателем колхоза в Тимановке, а Карпо послали в Молдавию возглавить один из райисполкомов) лежал, прижатый к днепровскому берегу с группой солдат. Мимо бежали и падали в воду те, кто уходил от дикого натиска немцев. А они росли в землю... навечно.

...Желюк вывел солдат к своим... Один станковый и 16 ручных пулеметов — вот с чем пришли они под Орджоникидзе.

И когда отоспались и выпили столько воды, что потом и за полдизни не выпить, опять уснули ребята богатырским сном. А политурак отправился в столовую, чтобы узнать, где и как кормить солдат.

Вокруг кипел, бурлил человеческий водоворот. И среди этого водоворота нярыла, исчезала и снова появлялась невыскакая фигурка, которую он, Желюк, узнал бы из тысячи.

«Семанчук!» — почему-то прошептал он, будто ахнул, встретившись с тем самым колхозным механиком, которому все было по плечу.

Посидели, выкурили по сигарке... Прикинули, с чего начинать, когда вернуться. Знали, что враг в Тимановке... О смерти, о войне не говорили. Думали о жизни...

— Сложим, — говорил Иван. — Была б голова за руки... Помощь придет, не одна Тимановка пострадала... Весь народ поможет.

А Желюк добавлял:

— И мы не стары, и сыны выросли... Сложим...

...Вот с той поры, как вернулся председатель домой, а по пути пил, как покаялся тогда в степи, из всех тимановских ключей, и стал звать народ те ключи Желюковыми криницами. И с легкой руки Желюка все, кто возвращался с Великой Отечественной войны, припадали к родным ключам.

От Вапьярки до Тимановки — рукой подать. Если учесть, что дорога превосходная и «Волга» летит по ней, будто на крыльях.

За разговором и не заметил, как въехал в Тимановку... И на крыльце маленького кирпичного домика встретил нас большой, могучий даже в свои нынешние годы человек.

Желюк... Филипп Алексеевич... Герой Социалистического Труда, свыше сорока лет председатель колхоза имени Суворова...

Но почему Суворова? Почему имя русского полководца носит один из лучших винницких колхозов?

...За прудами, разрезавшими Тимановку на неравные части, начинаются огороды и усадьбы колхозников. Весной и осенью, когда перекапывают огороды, находят местные ребятнишки в земле яра и ружья, монеты и подковы суворовских времен. Потому что именно на этом самом месте и был плац, где учил Суворов своих чудом-богатырей... Здесь, в Тимановке, он писал свое знаменитую книгу «Наука побеждать», а дом, где жил полководец, теперь превращен в музей.

Филипп Алексеевич Желюк
в телепередаче «От всей души».

Фото Г. АЛЕКСАНДРОВОЙ.



Но колы уж речь зашла о музеях, то их в Тимановке три.

Суворовский... единственный такой народный музей в стране...

Художественный...

И музей истории села и колхоза...

И едут в те музеи со всей страны... Ибо при всей разности в судьбах, при всем разнообразии и отличии есть в судьбах и людей и сел наших то, что роднит их и делает схожими.

Это Октябрь, вошедший в судьбу всех и каждого, изменивший то, что казалось неизбленным, расчистивший путь талантам и стремлениям, наклонностям и увлечениям.

Это Октябрь, давший человеку больше, чем сила и богатство. Подаривший ему гордость за себя, за землю свою, за свою историю.

В лесу зябнут деревья... Первый снег еще не греет... Деревянная скамеечка и гранитный обелиск — стылые, а в середине криницы, прямо в центр ее, вмерзло крохотное блюдце льда. Длинным деревянным черпаком достаю воду. Прикусываю лдынку.

Пью... не чувствуя холода... И думаю: какая ж она летом, эта чудо-вода?

И вспоминаю Желюка:

«...Пей, пей... От воды той хвори не будет. У нас вообще в Тимановке вода замечательная... Мне недавно сложную операцию делали, так пить после этого нельзя, губы лишь смачивают... Специально привозили водичку из наших тимановских криниц. Смогут той водой губы, вроде к родному роднику попал — и будто сил прибавилось... А в той кринице, к которой едешь, вода особенная...»

Поднимаю глаза на обелиск: «Суворовские колодцы выкопаны российскими солдатами в 1796 году. Восстановил благодарный правнуки в 1949 году».

— Почему восстановил? — спрашиваю Александра Климентьевича.

— Потому что война ни людей, ни криниц не щадит...

Тимановка раскинулась привольно, то стелется ровно, то вдруг взметнется на горки — и глазом не окинешь. Мы идем по селу тихо, степенно, а навстречу нам, откуда-то из недр села, поднимается теплая волна хлебного духа. Да такого аппетитного, что слюна набегает сама собой. И можно ничего не объяснять — и так ясно, что где-то совсем рядом хлебозавод.

— Когда колхоз начал строить хлебозавод, — говорит председатель, — многие были против. И хлеб, мол, погубить не будут — привыкли свой печь. И если даже и будут брать, то все равно хлеба останется тьма-тьмущая. Куда его девать?

— Ну, куда? — повернулся ко мне Желюк. И сам ответил: — Тимановка не в пустыне стоит. Сел вокруг нее — уйма. Значит, есть кому хлеб покупать. Да... остановился председатель. — Но имело ли смысл строить завод для других? И нужно ли было открывать кирпичный завод? Ведь мы не в состоянии использовать сами весь кирпич. Я уж не говорю о том, что мы его продаем колхозникам: Тимановка сегодня на 90% перестроилась, мы с охотой отпускаем его и другим хозяйствам. Опять другим?.. А зачем? Не лучше ли думать только о своем хозяйстве, о своем колхозе? Вот давай и разберемся с тобой в этом...

По дороге в Тимановку из Вапьярки ехала? — обращается он ко мне.

— Ехала...

— Как она тебе, дорога-то?

— Отличная...

— Небось, вояк уже рассказав, что наша молодежь ту дорогу сама построила?

— Рассказал...

— Шли со знаменем... Как на штурм крепости... Но даже не в этом деда. А соль вся в том, что, построив ту дорогу, вложив свои силы и средства, передали мы ее государству к XXII съезду партии.

И опять спросил:

— А деревья фруктовые вдоль дороги видела? Груши... Вот с ними-то поначалу вышла у нас запечка... Ни одно другое плодовое дерево, кроме гру-

ши, не может так расти на всевозможные... Потому что та же яблоня разбрасает свои ветки в разные стороны... не собираешь, а груша остаетсястройной, подобористой... Вот и решили мы посадить вдоль дороги груши... Решить-то решили, да стали нас отговаривать. «Вы что,— говорят советчики,— думали, когда грушу выбирали? Да она через бару лет плодотворно начнет, что тогда делать будете? Вам все зашитку с корнем повывергают...» Приезжал к нам осево, — переправ бару себя Желюк,— увидишь... Посреди дороги, чуть в стороне от нее, в тенечке, курунек стоит... А в курунеке том какой-нибудь даудус-пенсонер сидит. А весь курунь яшники заставлен. В них груши. Едет машина по дороге— остановит деа... Идет человек — и его окликает... Ешьте, люди, на здоровье наши тимановские груши!.. И не было случая, чтобы кто-то по злему умыслу или по дуристости исколечил дерево... Теперь вернемся к тому, с чего начали. Стоит ли делать «для всех»? Мы от промышленных своих предприятий — я имею в виду заводы — получаем сейчас 21% дохода. Но когда наш консервный завод начнет работать на полную мощь, то доход этот будет уже 40%. А колхоз наш тогда, хочешь не хочешь, превратится в аграрно-промышленный комплекс. А вот когда мы от промышленности, работающей на переработке сельскохозяйственной продукции, получим 50% дохода, мы уже станем промышленно-аграрным комбинатом. А что это значит? Да то, что социально-экономическое лицо села изменится. Ведь раньше кто представлял сельскую интеллигенцию? Врачи, учителя, агрономы. А теперь? И инженеры-электрики, и технологи производства, и теплотехники, механики, мастера, лаборанты... И это естественно, если учесть, что в век научно-технического прогресса механизация должна работать в индустрии. Что же получается? А получается, что, закончив крупное строительство — дорогу ли, промышленный объект ли, наладив производство «для всех», — мы не в накладе, а в выигрыше.

Черноклювая птица, сидевшая напротив нас, на соседней скамье, поперхнулась каштаном, который по-ровней заглотнула целиком.

Председатель улыбнулся:

— Вот жадина, все сразу подавай!..

И продолжал:

— Я вчера в наш Дворец культуры зашел. Он у нас как храм. И то ведь, по правде сказать, и к дате святой построен — к 50-летию Октября. Вошел в зал, а через дверь слышно: трень-брень... Ребяточки в музыкальной школе занимаются. Постоял, послушал... А малычонка, выдать, за пианино нетерпеливый сидит. Замахнется, начнет лихо, а потом финить и скис. Учительница ему: «Еще раз, еще...» А он думает: «Не могу!» — говорит. А учительница свое: «Да не думай, что не можешь. Говори себе: смогу. Обязательно смогу!»

Птица раздолбала-таки каштан и теперь с наслаждением клевала, косясь на нас глазами-бусинкой: не отним ли?

— Учить любить труд — самое главное. Но труд должен быть выбран по душе. У нас очень много своих колхозных стипендиатов. И в Киеве... И в Москве... И все потихоньку, а до родных краинь вертается. «...Вот вечером будем глядеть передачу. Она же ведь уже записана на видеокассетфон...» Посмотри тогда Екатерину Никитичну Кржавскую, нашу старейшую учительницу, и я у нее, между прочим, учился. Был у нее такой ученик — Вовк Николай Калинин. Мы с ним вместе малычниками в барской экономике работали. Я — пахарем, он — погонщиком. А теперь он доктор сельскохозяйственных

наук. А все почему? Дорогу выбрал свою. Единственную...

И уж встал Филипп Алексеевич со скамьи, да что-то вспомянул, присел опить.

— ...Мы тут на правлении колхоза решали один вопрос. Музейной работой у нас учитель Новиков Павел Петрович занимается. Одержимый он человек... и счастливый... Так вот, прикинув, сколько Павло денег тратит на одни конверты и бандероли, решили мы ему за музейную работуклад от колхоза положить. Ну, вызвали его. Объяснили о решении. Выслушал он нас и говорит: «Не украсим мы себя этой зарплатой... Разве ж за то, что учишь любить Родину, денежные ссуды положены?»

Темнота подступила незаметно. Мягко обхватила Тимановку, вычернила небо. Глубокое и бездонное, повисло оно над селом, над лесом, над прудами. Даже светлые окна, даже фонари на улицах не вспорили глубокой темени его, а лишь прочертили полоски улиц. И по тем улицам пошел народ. Кто к дому, кто ко Дворцу культуры. кто к кинотеатру...

И в тот предпоследний до телепередачи час попала я в гости... В большой четырехкомнатный дом, где гудела печь и прыгала малюсенькая девчонка, не спавшая в это позднее время по той самой причине, что скоро начнется кино, в котором будет петь мама, а бабуле подарят цветы.

Принесли чайник.

Сели вокруг стола... Агafia Аркадьевна Нагорная станула потуже платок, прикрывший седую голову, и... улыбнулась:

— Помню, пришел Желюк к нам в хату. А она покосилась, угол отвалился. Постояла, помолчала и говорит: «Ничего, Агafia...» Хотел я сначала коровник заложить... Молоко-то и твоим ребятам нужно, да, выдать, дыры латать надо начинать с твоего дома. Завтра пришло строителей... А ты не плачь... И мы с тобой, а не только дети наши, в хорамах жить будем...»

Помолчала, сняла со стула вничку, взгромоздившись на него с ногами, и сказала:

— Во сне мне такой дом не снится... В мечтах такой жизни не видала... А знаете ли вы, когда наша голова себе новый дом построит? Совсем недавно... А то жил все в шевченковской хате под соломою... Все ждал, когда другие достроятся... А сколько бед носил он в себе...

Галя бросила на меня тревожный взгляд. Но мать сказала упрямо:

— Да, чужую беду хранить трудней. Ее нельзя людям показывать, нельзя обмолвиться... Мы вот все ждали отца нашего... и в войну ждали... и после войны ждали... Мы с ним комсомольцами поженились, в коммуны вместе пошли... И жила я, честно вам скажу, скрывать мне теперь нечего, только верой. Даже когда поняла, что ждать напрасно, и тут вера не ушла. Только теперь это уже вера была в жизнь... А в прошлом году вызвал меня к себе Желюк и говорит: «Хочу я, Агafia, снять одну тяжесть с души своей... Прости меня, что не сказала тебе раньше... Да боялся, сломаю тебя внавь. Мук-то твоя погиб в десяти километрах от дома, до сборного пункта не дошла, шлохотки не успел надеть... Попад под воздушный обстрел... Я ведь и могилу его знаю...» — Вот какое сердце у Филиппа...

До правления, где мы решили смотреть передачу, бежали через плотину, мимо хат, мимо садов и вле-

тели в зал, когда на экране появилась эмблема молодежной редакции Центрального телевидения. В эфир шла программа «От всей души».

Странное чувство, когда сидишь среди людей, которые в это самое время на экране плачут, волнуются, вспоминают, рассказывают. Из всех, с кем знакомила передача, мне не удалось встретиться лишь с Ефросиньей Ивановной Нагорянской. Она была в те дни в Киеве. Но оттого, что знала я героев, и стала близки они мне, и могла я рассказать о них гораздо больше (да простят меня создатели программы), чем говорилось о них на экране (опять же не в силу того, что авторы плохо знали героев — они их знали прекрасно,— а в силу специфики передачи) — от всего этого не проходило ощущение ежесекундного открытия величия человеческой души... И каждое обращение к залу доктора Валентины Леонтьевой было обращением и ко мне.

Я смотрю на людей, вижу слезы на глазах, улыбки... Но где-то в душе живет тревога. И она растет, как снежный ком.

— ...Батюшки, нет Ивана Сергеевича... Сейчас ведь о нем...

Наконец, хлопает дверь, и появляется Семанчук. В тулупе, теплой шапке.

Бывший колхозный механик, получив персональную пенсию, не бросил скромных обязанностей сторожа... И пришел сюда прямо с поста.

А в зал уже падают, прямо вызывая к памяти сердца, вопросы ведущей:

Вспомните, друзья, кто в сорок седьмом году построил... Нет, это не то слово... Кто собрал по винтику, по проволочке, по гаечке, вручную первый электродвигжок? Кто дал свет колхозу?

Зал:

— Семанчук!

— Кто восстановил мельницу?

Зал:

— Семанчук!!!

Поднимитесь, Иван Сергеевич, пожалуйста, на сцену!

Я оглядываюсь и вижу, как тяжело приподнимается со стула в своем громадном тулупе Семанчук, забыл, что это не сейчас его зовут на сцену...

Звучат прощальные слова. Кончилась программа, а люди не встают. Будто не верят, что пришло расставание.

Расставание. Но с чем? Или, вернее, с кем? Ведь все они живут и работают рядом. В одном селе, в одном колхозе.

Первым встает Иван Сергеевич: работа... Надо идти...

И у дверей бросает удивленно:

— Вот так дела!.. Будто жизнь свою увидел... со стороны...

Утром Желок принимал ребят, что уходили через два дня в армию. Завтра — провода. Завтра — все официально. И подарки вручат и напутственное слово скажут. Сегодня по-другому. Сегодня голова говорит с сердцем, как говорил бы отец. А мне Дозволено присутствовать при той беседе в качестве лица доверенного.

А пока ждем ребят, Филипп Алексеевич кладет передо мной чистый лист бумаги.

Нужа, пишк...12 шофров... 4 механика-водители... 4 электрика... 1 музыкант... 1 без профессии. А всего 22 человека. 22 парня вернулись из

армии. Но при всем желании колхоз не мог дать им всем работу. А принял всего 16 человек. Ну, те, кто ушел в город, на нас не в обиде, мы им работу подыскали. Так вот... 16 парней — это 16 семей... И корни они свои пустят здесь, в Тимановке... А завтра 12 парней уходят служить... Нужно сказать, что все уходит со специальностью. Наши механизаторские курсы готовят стоящих специалистов. Ну, а поскольку работаем мы не только на себя, то на эти курсы ходят ребята и из соседних сел. Так что и отсюда придут служить парни толковые... И еще одна любопытная сводка. Я тут ради интереса решил разобраться, где, в какой отрасли народ у нас самый молодой. И что же вышло? На консервном заводе средний возраст — 23 года, на кирпичном — 28 лет, в тракторных бригадах — 34 года, в животноводстве — 38 лет. А вывод отсюда один: животноводство нужно ставить на реальных промышленных. И еще, пока не пришли призывники, — уходят в армию ребята золотые. Теперь ведь как? 7 комбайнов в поле. И вся уборка. Помолчал...

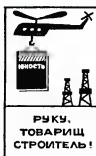
— В сорок восьмом году мы на уборку девятьсот серпов выставляли. А каждый серп человек держит... А обратила ли ты внимание, что каждое комсомольское поколение оставило после себя в Тимановке какую-то вещественную, если можно так сказать, память? ...Кинотеатр «Космос», например, построен в честь 50-летия колхозной комсомольской организации...

В дверь постучали. Вошли ребята. Чудные, стриженные и еще сами не привыкшие к себе, нечужбым. И начался разговор. О доме, о селе, о вчерашней телепередаче, о земле и обо всем, о чем может говорить старый, мудрый человек юпцам, уходящим в жизнь...

Поезд мой отбывает в Москву через полчаса... Нужно еще доехать до Вапнярки, нужно взять билет... И все-таки мы выезжаем на криницу.

— На дорожку,— говорю я. И черпаю ледяную струю. И пока пью, бьет прямо в глаза гранитная строчка: «Восстановили... правнуки...»

Спасибо тебе, криница!.. Спасибо тебе за все... За память, за чистоту, за то, что рождается ты так глубоко в земле!.. Пусть никогда не мутится в тебе чудо-вода... Живи вечно!..



**АЛЕКСЕЙ
ФРОЛОВ**

МОСТ БУДЕТ

Рисунки Л. МАРКОВА.

Неделю гостили в «Юности» лучшие молодые передовики с нашей подшефной комсомольской стройки Тюмень — Сургут: плотник Николай Барзук, техники Галина Сушко и Сергей Соколов, шофер Иван Ерош, слесарь Алексей Исаев, монтажник Анатолий Иванов, отделчица Любовь Федотова, инженер София Качкурова, начальник комсомольско-молодежного позода Николай Дороских. Ребята побывали в театрах и на концертах, познакомились с работой редакции и типографии издательства «Правда». Встретились с молодежью города Жуковского, с руководящими работниками Министерства транспортного строительства СССР, с учениками 249-й школы г. Москвы, которые собирают материалы по истории стройки Тюмень — Сургут. Выступали с рассказом о своей жизни и работе по Центральному телевидению. Программа была очень насыщенной. И все-таки у ребят находилось время для «незапланированных» разговоров и бесед. Сережа Соколов и Анатолий Иванов рассказали нашему корреспонденту о том, как строится мост через Юганскую Обь.

В этом прошлом году я летел вертолетом из Сургута на юг. Прошла Большую Обь. Весело было глядеть, как катера и груженые баржи резали покойную гладь реки. Край обживался. Шла по воде техника, стройматериалы. Пока — по воде. Скоро должна прийти сюда железная дорога. И тогда никакой зависимости от навигации и капризной погоды. Железная дорога, она и есть железная — надежная в любое время года.

За Большой Обью внизу болота и озерки, кружево проток, лесистые взгорки с желтыми песчаными залесянами. Где-то здесь, знал я, уже строят гигантский мостовой переход в тридцать два километра длиной. А вот где? Ни единой живой души не было видно... «Наверное, еще не раскочаились...» — сказал мне летчик и был не прав.

Обо всем этом я вспомнил в октябре, когда в редакцию «Юности» приехали десять лучших ребят с Тюмень — Сургута.

Зашел однажды разговор о мостах через Обь. Я признался: не разглядел работ на Оби.

— Слона-то и не приметил, — сказал Сережа Соколов. — Там у нас земснаряд-«трехсотка» — точно со слона. И пультпровод на целых полтора километра тянется...

— Не иначе, летчик с курса сбился, — сказал Толя Иванов. — Мы уже пять береговых опор поставили и еще русловые... Интересноесь мостом — спрашивай. Расскажем...

Сережа и Толя — земляки, новосибирцы. Сережа небольшого росточка, аккуратные черные усики. Все ему интересно. Бегаёт, щелкает аппаратом.

— А как же? Надо ребятам на трассе Москву показать.

Он техник-«гидрик». Работает на земснаряде. На стройке полтора года.

Толя — монтажник, мостостроитель. Года на два старше Сережи и на стройке около четырех лет. По-



Анатолий Иванов, монтажник мостоотряда № 15.

тому, может, и степенней и не так многословен. Толя — секретарь комсомольской организации мостотряда-15.

И Сережа и Толя первый раз в жизни дают интервью. И, что гораздо важнее, оба они на Оби деботруют как мостостроители.

— Сразу только разницу учти, — сказала Толя. — У них, «гидриков», работа летняя. Для мостовиков, чем суровее зима, тем лучше. Мы весной чертыкаемся, они весне радуются...

Сережа сказал:

— Послушай ба я, как бы зачертыкались, если бы не памыли вам песочку. Без нас на трассе шагу не сделаемь. Болота...

— Это верно. Мы по поселку на Юганской Оби в туфельках ходим. Кругом песок. Правда, огородники-люители на «гидриков» в обиде: на песках ничего не растет...

— Тут уж нужно выбирать: или огорода, или дорожка с мостом... А почему у нас летняя работа — это яснее ясного. Земснаряд, он вроде бы и к земле и к флоту имеет отношение. Допустим, наши гидрогеологи подводный песчаный карьер. Мы тут как тут. Качаем песочек с водой — пульшу — и по трубам на место назначения. Вода стекает, уходит в почву, песок остается. И лежит что твой цемент... А зимой все подо льдом. Куда сушенься?.. Однажды прихватило морозом трубу. В октябре тоже дело было. Так я полтора километра пульшовода кувалдой простукал, пока нашел ледяную пробку...

— Вот-вот, а у нас самая тогда пора начинается, — сказала Толя. — Мост ведь на опорах стоит, а он через Юганскую Обь, в километр длинной, тяжелеющий. Из специальной легированной стали будет сделан, в расчете на сибирские морозы... В общем-то и летом мы не загораем. а горячка основная зимой. Вбили мы сваи в дно реки, теперь надо опоры наращивать. Опора — дело нешуточное. Двадцать шесть метров высотой. Делается вот как. Схватили реку хорошим льдом — бурим прорубь и заготовленный фундамент, как глухим забором, огораживаем металлическим шпунтом. Из коробки воду долонь — и пошел наращивать бетоном... Весной с русла надо уходить — того и гляди машина с бетоном под лед уйдет. Да и большая вода на Оби — зрелище не для слабонервных, на шесть метров иногда поднимается. Пока не сошла, вроде и работы нашей не видно...

— Да, пока пролеты не поставите, получается не особо зрелищно. У нас, знаете, самая красота, когда намыиваем гору песку. Однажды за сезон почти в два миллиона кубометров сделали куличик. Возможно представить? Я сидел все лето на земснаряде, не до экскурсий было. А однажды дай, думаю, посмотрю. Пошел. Стоит гигант, за полчаса не обойдешь. Высоту мерить — кепка свалится. И, представь, на самой верхотуре — лось. Рог — как две еловые ветки... Как он туда забрался, ума не приложу. Рассматривал, наверное, с нашей горки тайгу. Недало только этой горке стоять. Развезут песочек по трассе... Интересно получается: у нас вначале красота, у них в конце.

— Красота и нам нелегко дастся. Шестьдесят метров пролета — это почти пять тысяч тонн стали. Ни один крап такую машину не поднимет. Что делаем? Режем пролет на шесть частей. А потом монтаж. Висишь на пятидвистиметровой высоте, клепаешь или еще что, а чайки за своих нас принимают — перед самым носом ширк, ширк... Но до всего этого надо дожить. Еще ни одной тонны металла к нам не пришло. Задерживает воронежский завод...

Сережа сказал:

— У нас свои проблемы. Техника-то — бульдозеры, тракторы — в песке копаются. А это все равно,



Сергей Соколов, техник-«гидрик» из СВ-469.

что в движок наждаку насыпать, — изнашивается техника быстро. Жаль. А ведь, наверное, думают люди над этой проблемой. Как считаешь? В копеечку обходятся машины...

— Тут и самим механизаторам надо поглядывать, — сказала Толя. — Кончилась работа, протри, вымой доступные части.

— А недостатные?

— Про недостатные и речи нет... Делай все возможное. Вот у нас в поселке сейчас стоит клуб. Каркасно-засыпной. Тепло, светло. Все спрашивают: чем засыпали, торфом? Нет, шлаком. Другие шлак из котельной выбрасывают, а мы собрали за год, и теперь есть в поселке теплый клуб. Это и значит «делать возможное».

— А мы делали и невозможное. Сгорел однажды у снаряда электродвигатель. Большая вода ушла, а этот двигатель — такая махина, что воздухом не перебросишь. Думали, думали — придумали. Поставили движок на платформу, и по руслу протоки — воды там не осталось, грязь одна — потащили платформу трактор-буложник. Сам он шел по берегу, как бурлаки в прежние времена... Так что мы вас, мостовиков, не подвели...

— Дорога — общая забота. Не вы нас, а все мы себя не подвели, — сказал Толя.

— Небось, когда мост будет, и не вспомнишь Сергей-«гидрика»?

— Вспоминаю, кого забыли. Так что мне и вспоминать не придется.

Мост будет.



Я + Я = СЕМЬЯ

Мы сходили в гости к очень молодым молодым: у них только что кончился медовый месяц, да прошло всего-навсего недели две-три натуральной семейной жизни. Мы задавали им вопросы о разных сторонах их нового бытия, о проблемах, с которыми они успели столкнуться, став семьей. Из их ответов, записанных на магнитофон, получился этот рассказ. Не придумано ни слова.

Во всем виноваты макароны.

ОН. Как раз вчера вспоминали, как познакомились... Это было в пионерском лагере. Я был вожатым, она — пионерка...

ОНА. Ну, не совсем пионерка. На правах помогающей. Мне же было тогда уже 17 лет, сейчас — 19, это было два года назад.

ОН. Помню, я в тот лагерь ехать совершенно не хотел...

ОНА. И я туда ехать как раз совершенно не хотела. Представляетесь?..

ОН. Все началось с нее. Ей понравились мои глаза почему-то.

ОНА. Просто мне никак тогда макароны в горло не лезли. Дело в столовой было.

ОН. Первые дня три-четыре смотрели друг на друга... Тут же у нее косметика началась чрезмерная. До того, как я приехал туда, косметика была забыта где-то в чемодане... между кедами. А потом было кино, «Над Тиссой», мы оказались на одной скамейке... И сказки — еще одно, чем я завоевывал Валентину.

ОНА. Он на ночь пионерам сказки рассказывал. Ну и мне приходилось тоже слушать.

ОН. А утром все у нее спрашивали: чем кончилось? Обычно пионеры под сказку засыпали, она одна оставалась.

ОНА. Да, сказки бесконечные... Придумывал такое!..

ОН. Ну, а потом сказки перешли в быль.

КАК
МЫ СТАЛИ
ЖЕНИХОМ
И
НЕВЕСТОЙ

ОНА. На следующий же день после приезда из лагеря я ему позвонила: он мне дал в лагере телефон. Быстро отпала какая-то неловкость, а сначала немного было... Мне было очень интересно с ним встречаться. Когда я шла, я думала, о чем сегодня мы будем говорить. Так все и прислушивалась к нему, что он скажет...

ОН. ЧТОБЫ ПОНРАВИТЬСЯ ДЕВУШКЕ, НАДО БЫТЬ САМИМ СОБОЙ. И ВСЕ¹.

ОНА. Среди ребят мало найдешь людей, которые не то чтобы какую-то формальную заботу проявляют, а по-настоящему заботятся. Летом мы иногда ездили в Серебряный бор купаться. И вот я могла с собой ничего не брать, кроме купальника: будет и еда, и транзистор, и на чем лежать, и на чем плавать... В общем, он буквально заранее знал, куда я должна ступить... Это было для меня настолько дико и необычно!

ОН. Первое время я так порядок наводил дома!.. Когда она приходила, я все вверх дном — пылесосил, протирав... Моя сестра посмеивалась: «Ох, ох, смотрите на него, Валентину свою ждете!..» Ну, я терпел, потому что надо было... человек приходит, неудобно. А потом, когда мы уже близко познакомились, я думаю: «А теперь кого удивлять-то буду?»

¹ Крупный шрифт — это не ошибка наборщика. Так надо. Зачем? Пока секрет...

Оформление Льва МОРОЗА.



ОНА. У меня такой характер, я прямо с третьего или со второго дня ему сказала: «Тебе не нравится то-то и то-то — ну и не надо, я же не собираюсь перед тобой на задних лапках ходить. Вообще, я считаю, что в человеческих отношениях именно так должно быть. Особенно если ты действительно думаешь, что вот с этим человеком, может быть, тебе придется всю жизнь прожить». КАКОЙ СМЫСЛ ДРУГ ДРУГУ ДУРИТЬ ГОЛОВУ, ЧТОБЫ ПОТОМ ЧЕРЕЗ ПОЛГОДА УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ВЫ СОВЕРШЕННО РАЗНЫЕ ЛЮДИ? Я много читала об этих «электронных свахах». Вообще, я за это. Человеческому нужно именно как можно больше сообщить о другом. А то лет в 17—18 очень много места уделяется первому впечатлению, все построено на эмоциональности, сумбурно... Иногда девочка, допустим, вспылывавшая или там обидчивая, а парень говорит: «Господи, да я ее несколько месяцев знал, а и не подозревал даже, что она так может!» Но у нас-то по-другому было.

ОН. Встречались мы под кодовым названием «библиотека».

ОНА. Мама была против. Мне нужно было сдавать экзамены. Минута свободная — я уже не думаю ни о каких подругах, ни о чем... и мы встречаемся. И потом вдруг... И одна дочка... ВООБЩЕ НАСКОЛЬКО Я СЕЙЧАС ЗНАЮ И ВИЖУ, У ПОДРУГ ТО ЖЕ САМОЕ — ВСЕ МАМА! «Какие у него цели, я знаю! Это ты, глупенькая, ничего не знаешь». А «глупенькая»-то уже знала...

ОН. Да, все было секретно сначала. Борьба с внешними силами... Это нас еще больше сплотило.

ОНА. Много времени отнимали всякие гуляния, свидания, провожания... Я уж даже не помню, как у нас встал вопрос о том, чтобы расписываться...

ОН. Провожать мне надоело!.. Да мама сама уже спрашивала: ну, когда ты расписываться будешь? Сначала все шло нормально: она в кассу вступила, деньги на свадьбу заняла... Ну, а потом началось... все расстроилось.

ОНА [после паузы]. Он упрекнул раз-другой свою маму, что она делает для сестры больше, чем для него. А мама, к сожалению, высказалась так: «Сереза таким не была». Значит, вроде это я повлияла. В общем, перед нашим отъездом на юг он пошел в загс и пролил наше заявление до второго сентября.

ОН. Я решил: юг для нас будет вроде как экзамен. Потому что мы вместе еще не жили. ЕСЛИ МЫ СМОЖЕМ ВМЕСТЕ ЖИТЬ, ЗНАЧИТ, НИ РОДИТЕЛИ, НИКТО УЖЕ НИЧЕГО НЕ СДЕЛАЕТ. Приедем и распишемся. Так и получилось.

ОНА. Я говорю: «Мам, дай мне паспорт. Она говорит: «Зачем тебе?» Я ей: «Ну, просто нужно. Сегодня, говорю, или завтра...» Она говорит: «Он делал тебе предложение?» Я говорю: «Ну, в общем-то, да».

ОН. Мы всё думали: ЗАЧЕМ СВАДЬБУ? ТАК БЫ! РАСПИСАТЬСЯ — И ВСЕ. Или уж собраться с самыми близкими друзьями, в кафе.

ОНА. Я сказала об этом своей маме, а у нее глаза четырехугольные: «Да вы что, сироты, что ли? А родители-то!»



ОН. Ну, вот и началось — родители, родственники... Хотелось, чтобы побыстрее день этот — свадьба — прошел. Больница эта...

ОНА. Вот свадебный костюм, например, у нас был проблемой...

ОН. НУ НЕУЖЕЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНО НА СВАДЬБУ ИДТИ В ЧЕРНОМ КОСТЮМЕ? Шить специально...

ОНА. Нет, все-таки что ни говори, а свадьба ведь один раз бывает... По крайней мере первая. Ведь хочется, чтобы было красиво, чтобы день этот запомнился... Что в загсе говорили, я совершенно не слышала. Очень волновалась.

«МЫ — СЕМЬЯ»

ОН. Неделию я не знал, куда деваться — пока не привик к их дому. Прихожу раз, звоню, звоню в дверь — мне не открывают. У тебя на кухне все кипит, варится, вода льется — совершенно звонка не слышит. Я их слышу, как они там разговаривают, и звоню, и звоню — минут пятнадцать звонил. Ну, думаю, ехать, что ль, обратно домой?

ОНА. Раньше мама мне: «Ах ты, моя маленькая!» А теперь: «Ах ты, м-м-м...» — и все. Я теперь для нее большая.

ОН. Теща у меня ничего... веселая.

ОНА. Когда жила дома одна, не было такой ответственности. Потому что знаешь: ты что-нибудь не сделаешь — кто-то сделает. А теперь — если мы, например, сегодня не купим, значит, завтра будем голодными.

ОН. Но все-таки ЛУЧШЕ ЖИТЬ ОТДЕЛЬНО ОТ РОДИТЕЛЕЙ! И от хороших и от плохих. Даже если хорошие родители хотя чего-то хорошего, получается все наоборот.

ОНА. Как-то в воскресенье мы встали в десять на-

сов. А бабушка приходит, выяснила, что мы еще не завтракали, и мне заявляет: «А Людмила (это тут у нас в квартире еще есть молодожены), наверное, мужа своего уже покормила. Она о нем очень волнуется!» Ну, Сережка схитрить решил: «Бабушка, ты еще спала, а мы уже позавтракали!» Потому что мы-то с ним все решим, для нас тут никаких проблем нет, а вот для них... Начинаются проблемы.

ОН. Я считаю, финансами должна распоряжаться жена. Я ей все отдаю. Только теперь стал понимать, что деньги — это вода. А раньше думал: куда мать деньги деваает?

ОНА. Все-таки никак еще не могу войти в роль, не получается... Никогда не можем все рассчитать. Но у меня уже распланировано, что вот Сереже удобней по магазинам пройти, а мне удобней готовить...

ОН. Я ей разрешил после тщательной проверки. Она пересаливает иногда... Или недоварит что-нибудь. Я пробую в основном, дегустирую.

ОНА. Яичницу ему по-особенному как-то там надо, не очень пережаривать... Стираю иногда, конечно.

ОН [в сторону]. Смотря что опять же. Если чистое, то можно. Насчет рубашек она схитрила — дарила мне все такие рубашки, которые легко стирать.

ОНА. Когда нужно что-нибудь серьезное купить, мы с Анатолием идем вместе. Конечно, не в таком смысле, что я надену то, что ему нравится, — ну, по крайней мере то, не против чего он.

ОН. На работе у нас девочки, и я вот сравниваю ее и их — ну совершенно плюс и минус. Прямо люди другого века. Они мне говорят: «Сережа, ты устарел уже со своими взглядами. Женился человек!» Я уже не отношусь к самой современной молодежи.

ОНА. Специальности у нас с ним совершенно разные. Но вы знаете, очень интересно: если сейчас этот шкаф открыть, то здесь все мои медицинские книги. Так вот, он их лучше знает, чем я. А я — не так. То, что меня не интересует, то меня не интересует.

ОН. В общем-то, в наших отношениях почти ничего не изменилось. По крайней мере цветы еще приносятся в дом. Мы еще и до свадьбы чувствовали по отношению друг к другу какую-то ответственность. У каждого были моральные обязательства.

ОНА. Нет, разница все-таки есть... У нас разговор об этом возник еще давно. Когда мы первый раз заговорили о женитьбе, я ему сказала: «Сергей, я уже была замужем¹, и я знаю, что это такое. Бывает, знаешь человека одним, а в жизни получается совсем по-другому. И я решила: что мне не нужно никаких оформлений; я считаю, что могу сойтись с человеком и жить с ним нормальной семейной жизнью, вообще не расписываясь. Вот когда это действительно будет необходимо, а необходимость эта только одна — ребенок... В общем-то, это и делается из-за него... И если я по-настоящему буду убеждена, что я в состоянии всю жизнь жить с человеком, — только тогда я выйду замуж. Это я ему сказала через месяц или два после знакомства. Но потом... Однажды я сутки дежурила, а он был два дня свободен. И он мне говорит, что Гена, его друг, со своей женой Верой уезжает на лыжах. «Я бы хотел с ними поехать, ты не обидишься?» Я говорю: «Сереж, а Генка бы уехал, вот когда Вера так же дежурирует?» И что, вы думаете, он мне заявляет?... Зная все мои взгляды, все мои рассуждения!.. Говорит: «Ну так она ж его жена». А я говорю: «Так какая же разница? Что меняется от того, что

¹ «Ого! — скажет, возможно, читатель. — Не рано ли иметь уже такой опыт?» Подождите, не удивляйтесь. Довольно скоро все выяснится.



ОНА ЕГО ЖЕНА? Мы же любим друг друга. И они любят друг друга». Короче, я поняла, что даже если б мы с ним, не расписываясь, жили, где-то подсознательно у него бы работало: «Все равно она мне не жена». А вот если уж женился, то все, тут уже какая-то зависимость или там еще что-то. Существуют условности. И первое, где они проявляются, это в семье. Если мы, молодые, например, живем вместе, а не расписаны, то что скажут его родители, а что мои... Потом — общественное мнение, что скажут со стороны... те же соседи, которые будут с нами жить, и так далее.

ОН. Раньше мы встречались с друзьями. Сейчас уже времени нету.

ОНА. Приезжали, допустим, к нам мои друзья. А потом мы идем к его друзьям. НО ЧТОБЫ ЕГО ДРУЗЬЯ И МОИ ДРУЗЬЯ — ТАКОГО ВООБЩЕ НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ. Собирается наша группа, и не берут своих мужей и жен, потому что своя компания. Бывает, скажешь фразу — посторонний не поймет, а только у своих она вызывает и смех и определенную реакцию. Так что у нас так: я хожу в общежитие, Виктор¹ тоже иногда с друзьями встречается — и никаких конфликтов.

ОН. Но даже если что-нибудь и случится... все, по моему, можно простить и понять. Потому что ИЗМЕНА — ЭТО ЕЩЕ НЕ КОНЕЦ СЕМЬЕ. Всегда можно исправить, любое положение... [После паузы]. Я сейчас хожу и смотрю на афиши — так хочется сходить в театр. Раньше бы взял да сходил, а теперь — семейный бюджет... Мне, конечно, не очень много заниматься надо, у меня учеба-то заочная. А ей труднее — все-таки третий курс медицинского. Так что в основном при тебе сижу, дорогая, чтобы ты занималась только.

ОНА. Ну и сходил бы сам куда-нибудь...

ОН. А один я никуда не пойду. Куда я один пойду?

ОНА. У меня были всегда такие подруги, что мы понимали взгляды: пройдет человек, мы посмотрим друг на друга и одновременно или засмеемся, или скажем: вот это да! Вот сейчас у нас с ним получается то же самое. Мы едем в троллейбусе, я что-то такое заметила — уже слезу: посмотрит он, заметит? Заметит. И потом сразу поворачивается ко мне, а я уже жду, и мы с ним встречаемся взглядами, и знаем, почему.

ОН. Мне все мои женатые ребята советовали: «Не женись, что ты делаешь».

ОНА. Ну, говори, говори, а я слушаю.

ОН. Так я же все-таки по-своему сделал, чего ты? [В нашу сторону.] Нет, из-за чего бы мы с ней могли расстаться, у нас такого нет... по-моему...

ОНА. Есть немножечко... Упрямство твоё.

ОН. Ну, без этого было бы даже неинтересно. Упрямство-то не ослиное... если б ослиное — другое дело...

ОНА. Он вообще такой... крикливый, вспыльчивый. Ну, так... бестолковый.



ОН. Еще бы не вспыльчивый, если есть за что? А у нее это называется... Как это называется, Вая?

ОНА. Что?

ОН. Ну, как у твоего дедушки...

ОНА. Самодурство?

ОН. Вот! Я если и ругаюсь, то за дело, а она — самодурство. Не знаю, что она там называет самодурством... [Садится в стороне.]

ОНА [нам]. Самодурство — это когда он делает все наоборот. Вот сегодня я говорю: «Ты пол сразу не натирай, сначала подмети». Ничего не сказал, потом тишина... Знаете, как с маленькими детьми — молчит, значит, чем-то занят. Так и есть, взял щетку и не подматывает, начинает натирают!

Он [из своего угла]. Правильно, это ты у себя дома сначала подметала, а потом натирала. [Нам.] Все время, понимаете, дает «ЦУ!» Что у меня, своей головы на плачах нет?!

ОНА. Видно, что нет!

ОН [нам]. Вот я сегодня при ней начал чистить картошку. Я привыл — поставил стул к раковине, сижу и чищу. А она: «Где ты чистишь картошку? Надо стоить на столе и на бумажке или на газете!» Вот не было ее — и все было у меня начисто, порядок... Что же, с каждым замечанием считаться?! А если это совсем уж просто консенс?

ОНА. То, что ты можешь целый день у телевизора сидеть, — это консенс?! У «КВН» старенького, с линзой, в который ничего не видно...

— У тебя тоже есть свои слабости.

ОНА. Нету!

ОН. Есть! Я же не обращаю внимания на твои недостатки, и ты на мои глаза закрыв.

ОНА. Не закрою! [Нам.] Я все собираюсь этот телевизор сломать, только не знаю, как это делается. Ну, спортивную программу — я еще понимаю. А сн и мультфильмы всякие смотрит, которые уже смотрел десять раз, и вообще все фильмы, пионерские там...

ОН. Это потому, что воспоминание о пионерском лагере. Где мы познакомились... Ты уже и этого не понимаешь?

ОНА [после паузы]. Характеры у нас в каком-то смысле несовместимые... Он горячий, и я горячая. Очень трудно!... Особенно в тот момент, когда мы оба взрываемся, — не дай бог, такое будет часто. Тогда — все. Вот, например, человек на что-то обижен. Просто промолчать, постараться забыть. Но в том-то и дело, даже если забыл, что-то подсозна-

¹ Недоумеваете, читатель?.. Она что же, действительно не совсем твердо познана, как его зовут?.. Сережа? Толя? Витя?

тельное всегда остается. Через некоторое время будет еще что-то, еще... А в голову-то все насплывает... В какой-то момент происходит взрыв, тут моментально вспоминается все! Значит, надо все высказывать сразу, а не копить. Чтобы не говорить потом о какой-то психологической несовместимости. Все-таки недаром ведь мы еще до женитбы сближались. И духовно и так... В ФИЗИЧЕСКУЮ НЕСОВМЕСТИМОСТЬ Я, КСТАТИ, ТОЖЕ НЕ ВЕРЮ. Это я как медик могу сказать. Бывает, люди друг друга любили, поженились, а через полгода разведутся и говорят, что у них физическая несовместимость. Помоему, эта такая ерунда! Может быть, через три года они бы убедились, какие у них могут быть прекрасные отношения!.. Вообще, я сколько слышала — у всех свои ситуации, все очень сложно... Люди, помоему, стали сейчас очень требовательными. И не всегда к себе, чаще к окружающим. А в основном все так из-за того, что лет пятьдесят назад при той же самой ситуации жили бы, наверно, и терпели. А сейчас терпеть не будут.

ОНА. Иногда меня спрашивают: «Ну как? Нормально у вас? Все хорошо?» А я даже боюсь отвечать — когда говорю: «Хорошо», то думаю: «Ой, вдруг с завтрашнего дня что-нибудь начнется...» Будущее у нас сейчас неопределенно. Куда, например, попадем после распределения?!. Как жить станем?.. С первого дня начинаешь колотиться — нужно купить то, нужно приобрести это, нужно сделать так, чтобы было как-то и уютно и хорошо, мало того, уже думаем о квартире... И вот начинаешь все это перебирать, а потом останавлишься... Ведь мне в медицинском институте каждый день

ЧТО
БУДЕТ!...

ЭПИЛОГ

Читатель обратил, безусловно, внимание на некоторые странности в жизни наших героев (тем более, что мы сами на них упорно намекали своими сносками): девятнадцатилетняя девушка успела второй раз выйти замуж, студент-заочник ходит на работу и все-таки ни с того ни с сего думает о распределении. И, главное, жена называет мужа не всегда одним и тем же именем!..

Нет, мы не запугали нас в дебрях нашей фантазии. Мы действительно не придумали ни слова. А фокус в том, что в диалоге «ОНА — ОН» участвует не одна, а пять разных пар — пять молодых жен и пять молодых мужей. Общее у них одно: они расписались в Свердловском загсе города Москвы второго сентября прошлого года.

Собираясь к ним в гости, мы раздумывали: «Полтора месяца после свадьбы... А вдруг кто-нибудь уже развелся!» Нам повезло: никто не развелся. И мы познакомились, поговорили с каждой парой, а потом выбрали самое важное и соединили в один диалог. Получился как бы пьеса из жизни с двумя действующими лицами, которых на самом деле десять. Кое-что о действующих лицах.

Елена К., 18 лет, Виктор К., 26 лет. Студенты-второкурсники. Их семейный бюджет — это две стипендии плюс некоторая помощь родителей. Муж

приходится иметь дело с трупами, посмотришь — вот лежит, в общем-то, предмет. Этот человек прожил жизнь — наверно, для чего-то, для чего-то. И вот я думаю: для кого, скажем, я сейчас старею? Не будем говорить в больших масштабах — мол, для человечества... Конкретно для кого?.. Ведь пройдет сколько-то там лет, и меня не будет... Кто-то вместо меня должен же остаться! Как говорят старики, потомство, то да се... Но все это очень сложно, потому что у нас совершенно нет времени. И если сейчас будет ребенок, то у меня вообще безвыходное положение. Я же студентка, надо брать академический, потом снова включаться. Муж С другой стороны, меня уже возраст поджимает². Именно по-медицински... КОГДА ЖЕ ЛУЧШЕ ВСЕГО РОЖАТЬ? Сейчас женщина в двадцать пять считается старородящей, а раньше и вовсе в двадцать три. Но опять же заранее нельзя говорить. Может, и на этот год я рожу. Кто знает...

ОН (давно вернулся и стоит в дверях). А если будет, так будет, — не отказываемся. Трудно придется, конечно. Все-таки ребенок, человек. Главное — не баловать. Мы уже сейчас разделили сферы влияния: Валя обеспечивает одежду, красивую-симпатичную, а я — игрушки и книжки.

ОНА. Я свое уже присмотрела в магазине...

ОН. Я тоже. Игрушки — кубики в основном. Я всю жизнь играл в кубики, и мои дети будут играть в кубики.

ОНА. А если они не захотят? [Нам.] Вот полюбуемся, разве этот человек может быть отцом!..

ОН. Ты лучше на себя как на мать посмотри.

ОНА. МАТЬ ИЗ ЖЕНЩИНЫ ВСЕГДА ПОЛУЧАЕТСЯ. А ВОТ ОТЕЦ ИЗ МУЖЧИНЫ — ЭТО КАК КОГДА...

ОН. Ты хочешь сказать, что я не готов к ребенку?

ОНА. Я хочу сказать — мы...

придерживается точки зрения, что С МИЛЫМ РАЙ И В ШАЛАШЕ. Живут с бабушкой («Нам здесь лучше, нам тут и готовят...»).

Виктор опекает Алену, он считает, что МУЖЧИНА ДОЛЖЕН БЫТЬ СТАРШЕ ЖЕНЩИНЫ ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ ЛЕТ НА ПЯТЬ. Алена изучает журналистику — учится в МГИМО, — и Виктор, когда мы уходили, записал наши телефоны: такое профессиональное знакомство Алене в будущем не повредит. Правда, он замечает, что и у Алены после второго сентября появились материнские нотки...

Познакомились молодые в пионерском лагере. «До этого мне никогда не делали предложения, даже знакомых таких не было...»

Любовь К., 20 лет, и Сергей К., 25 лет. До него ей предлагали руку и сердце трижды. Но безуспешно. А тут все началось с того, что он, заместитель комсорга цеха их завода, «пришел ее в комсомол агитировать».

«Она не захотела, я обиделся. Потом все-таки вступила в комсомол». (Оказалось, и не только в комсомол...)

Это единственная пара из пяти, нашедшая друг друга на работе. Вернее, он ее нашел. А уж потом Любе подруга открыла глаза: «Ты ему очень нравишься, и все такое прочее, давайте мы вас позна-

¹ Какое может быть распределение?! Он ведь работает уеи!.. И здесь тоже не удивляйтесь. Теперь уже совсем скоро все встанет на свои места...

² «Так ей же девятнадцать!» — снова удивится читатель. Терпение, терпение...

комим». А вообще с самого-то начала оба и вовсе ходили по одному цеху, в котором работают, и не замечали друг друга.

Он работает токарем, она — контролером. Из всех пяти пар заработок у них получается на двоих самый высокий: около трехсот рублей. Рождение ребенка запланировано у молодых на ближайшее будущее. Живут с ее матерью и братом. Теща не скрывает своих симпатий. «Эх, зятя! — сбегала она его, когда мы пришли. — Дай бог, сын был бы такой!» У молодой типичная для всех пяти пар комната: метров в десять, и они считают, что ДАЯ МОЛОДОЙ СЕМЬИ ЭТОГО МАЛО.

Татьяна Г., 25 лет, и Сергей А., 24 года. Она учится на третьем курсе медицинского, на дневном отделении, он — сдающий отдела снабжения одного из институтов. Семья совершенно самостоятельная, ее бюджет — чуть больше двухсот рублей. По мнению супругов, САМОЕ ГЛАВНОЕ — КРЕПКО СТОЯТЬ НА НОГАХ, НЕ ЗАВИСЕТЬ ОТ РОДИТЕЛЕЙ, и поэтому Татьяна подрабатывает, раз в неделю дежуря в лаборатории по пересадке органов и тканей. Отношения у невестки со свекровью до сих пор натянутые. Не получилось, естественно, родственных отношений и у обеих мам. Тут еще и сестра Сергея, которой с самого начала не нравился намечавшийся брак: «Он совсем еще ребенок... А она уже опытная женщина».

У Татьяны свой жених. Она не считает, что жена должна быть непременно младше мужа: «Даже если мужчина будет лет на пятнадцать старше, все равно в семье для жены он ребенок, и за ним так же нужно ухаживать, как за ребенком, служить ему, ЖЕНЩИНА ГДЕ-ТО ВНУТРИ РАБЫНЯ!.. Но для того, чтобы быть рабыней, сохраняя чувство собственного достоинства, нужно найти настоящего хозяина, которому можно где-то внутри подчиниться. А ЕСЛИ ЭТО НЕ, ТОТ ЧЕЛОВЕК, КОТОРОМУ МОЖЕШЬ И ХОЧЕШЬ ПОДЧИНИТЬСЯ, ТО ЛУЧШЕ ДАЖЕ НЕ СВЯЗЫВАТЬСЯ!».

Познакомились два года назад в кафе «Синяя птица», на выпускном вечере медицинского училища. Когда он накануне спрашивал у своих подруг: «Будет там с кем-нибудь познакомиться?» — они размышляли так: «С Татьяной?.. Нет, Татьяна ему не подойдет».

«...Она вообще не обратила на меня внимания. Нужен был максимум усилий, приложить все свое умение...»

«Я от скуки дала телефон. Первое время ужасно не хотела встречаться... А через полгода стало ясно, что мы просто не можем друг без друга быть. Но сразу не могли расписаться. Бабушка даже говорила: «Татьяна, только после третьего курса». Мы так и хотели. А потом поняли, что ждать не можем».

Елена П., 19 лет, и Виктор П., 20 лет. В семье — ребенок, дочка Лены, и на вопрос, встретила ли их семья с какими-либо трудностями, жена сразу отвечает: «Конечно. Потому что Наташа помнит того отца. А теперь она даже лучше, чем ко мне, относится к Вите... Все папа да папа...» У молодых решено уже и о своем собственном. «Вот Наташа в первый класс пойдет, тогда и заведем — слова Виктора. Он работает поваром и одновременно рабком, она — там же бухгалтером (Муж ужасно ревнивый, захотел, чтобы работали вместе). В семье получается 170 рублей. Семья самостоятельная и истинно равноправная. «Он стирает, я готовлю, или я стираю, он готовит... ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ НА МУЖСКИЕ И ЖЕНСКИЕ НЕ ДЕЛЯТСЯ».

Громко сказано? Но тут уж ничего не поделаешь — приводим точно, как получились на магнитофонной пленке.

Виктор и Елена познакомились в междугородном автобусе. На второй же день решили пожениться («Любовь с первого взгляда», — говорит Виктор). У них самое непродолжительное знакомство: День, когда оно произошло — 8 июня (супруги помнят). Очень современно, конечно. («Все было поставлено на колеса»).

«Три раза в загс ходили: сначала забыли свидетельство дочки, потом было закрыто».

«Первый раз у меня сердце екнуло, второй раз — у нее».

Мама Лены в ответ на новость сказала: «Я это уже слышала от соседки. Всегда все узнаю последней...»

Анатолий Р., 22 года, и Валентина Р., 20 лет. Живут в общежитии. Он — постовый милиционер, она — штукатур. Валя приехала из Рязанской области, Толя — из Калинин. В их комнате — две казенные койки, за занавеской — кухня. Стол, стул, тумбочка и лампа. Родители далеко, помощи ждать не откуда. Они сами обеспечивают свой семейный бюджет: он зарабатывает 110, она, бывает, и 130.

Познакомились они здесь же, в общежитии. Он пришел в гости с другом. Целый год встречались. «Я ей сначала врал: и что я женатый, и что у меня дочка... А как же: не испытаться — далеко не уйдешь. Потом сказал, что развелся: она говорит, что если женатый, то я семью, мою, разбивать не буду, так что давай-ка...»

«Мама говорит: «Ну как же так, всего двадцать лет тебе...» Но мое слово сказано».

«Думаю, предложение сделаю, согласится — согласится, не согласится — лет пять еще потяну... Девочек много, думаю, серьезно до свадьбы ни с кем не встречался. Так посмотришь — не то что-то... Не мой фасон был».

Разговор наш с молодыми был дружеский. Мы приходили, садились радком, даже пили с ними чай, они вспоминали, мы обсуждали разные моменты семейного житья-бытья. Нас никто от этой темы не отаживал — видимо, было все еще приятно обо всем об этом еще раз поговорить.

Молодожены обычно оказывались вечером дома — при исполнении домашних обязанностей или занимались. Алену и Виктора мы, правда, в первый вечер не застали: они были на спектакле Райкина.

Возможно, познакомились с некоторыми проблемами наших молодоженов, вы скажете: «Им бы наши заботы!..» А кто-то, наоборот, заключит: «Да ну, чего там рассуждать, женился — живи». Да, может быть, у вас все не так, и вы не похожи ни на одну из пяти пар. Но тогда нам еще интересное узнать: а как у вас? Более того. Вы, наверное, обратили внимание еще на одну странность нашего повествования: фразы, набранные крупным шрифтом. Нет, в разговоре молодожены их никак не выделяли: голос не повышали, руками не размахивали. Это мы их подчеркнули, поскольку думаем, что по поводу этих суждений у вас уже наверняка появились свое, особое мнение, и хотя бы с одним из них вы не согласны, ваш личный опыт содержит совершенно иные примеры. Так что милости просим — прилагаем всех принять участие в разговоре о молодой семье. Молодых и не очень, женатых и холостых, ставших или неувзвуч, разведенных и тех, кто еще только об этом подумывает. Всем, наверное, есть что сказать на эту тему. Ведь в этом деле каждый понимает лучше другого.

Алла БОССАРТ,
Николай БУЛГАКОВ

Ритмичный шум машин наполняет огромное помещение цеха. Двигаются ленты транспортера; металлические рычаги, похожие на клешни краба, захватывают детали и передают ее для обработки к очередному станку; удар прессы, визг играющего в металла фрезы — и деталь двигается дальше. В цехе почти не видно людей. Лишь в центре, за пультом на специальном возвышении, восседает человек, которому подчинена эта армия умных машин. Это дежурный инженер-оператор. Стоит ему поднять голову, как его взору откроется величественная панорама цеха. Но его голова наклонена вниз, глаза внимательно и напряженно следят за показаниями многочисленных приборов, расположенных на пульте, а руки, как у виртуоза-пианиста, непрерывно движутся по сложнейшей клавиатуре кнопок, тумблеров и переключателей. Весь он напряжен до предела. И так всю смену!

Я сравнила его руки с руками виртуоза-пианиста, но это сравнение лишнее. А по существу?

Стоит пианисту ошибиться и ударить не ту клавишу, как раздастся фальшивый звук. Конечно, это неприятно, но порой лишь тренируемый, тонкий слух может заметить это. Но если наш инженер по ошибке или чисто случайно нажмет не ту кнопку, тяжелые последствия его ошибки не замедлят сказаться: послушная человеку техника «взбунтуется» или выйдет из строя. В итоге брак продукции или даже авария в цехе.

Подобная ситуация сегодня может возникнуть на любом предприятии, в любой отрасли производства.

В чем же тут дело? А в том, что человеку прежде всего необходимо определенное время, чтобы воспринять даже простейший сигнал (например, отклонение стрелки прибора в ту или иную сторону) и должным образом среагировать на него. Исследования специалистов показали, что время, затрачиваемое человеком на анализ такого сигнала, колеблется в пределах 0,25—0,8 секунды. А на принятие решения, опять-таки простейшего (например, после обнаружения отклонения стрелки прибора нажать на ту или иную кнопку), он затрачивает 0,15—0,3 секунды. Если же ситуация требует от оператора более быстрой реакции (что бывает довольно часто), то он уже работает на пределе своих психических и физических возможностей, а это



**ЛАРИСА
СИДОРЕНКО**

Научный работник.
23 года.



Рисунки
В. ВИСЕНГАЛНЕВА.



ведет к неустойчивости, к дезорганизации его работы.

Особенности человеческого организма следует учитывать конструкторам при проектировании техники, с которой должен будет взаимодействовать человек в процессе своего труда.

Однако на практике пока еще слабо и рядом техника самого различного назначения не учитывает возможностей и способностей человека. Создаются технические системы, в которых перед человеком ставятся практически невыполнимые требования. Иногда приходится вести наблюдение за целью, которая почти не видна, понимать речь при заглушающем шуме, сопровождать цель по трем измерениям с помощью двух рук, решать в уме сложные дифференциальные уравнения, воспринимать огромное количество информации. И при всем этом порою принимать жизненно важные решения за очень короткое время без всякой возможности повторной попытки.

Непрерывно развивающаяся на наших глазах производственная техника заставляет процессы постоянно усложняться, скорость работы самых различных приборов, аппаратов и технических устройств возрастает, а человек, с точки зрения его возможностей и способностей, остается почти таким же, каким он был не только вчера, но и много веков назад. Человек не может воспринимать инфра- и ультразвук; он не располагает органами восприятия магнитных, электрических и многих других физических полей и величин; он не видит предметы, находящиеся слишком далеко или слишком близко от глаз. Если предметы, расположенные в поле его зрения, начнут мелькать (возникать и пропадать) со скоростью более пяти раз в секунду, он перестает их различать. Восприняв всю информацию, необходимую для осуществления процесса управления, он далеко не всегда может правильно ее оценить, проанализировать и на основе этого принять нужное решение. Но даже если решение принято правильно, это еще не означает, что оно будет вовремя и точно выполнено: ведь его надо довести до исполнительных механизмов или приборов, или подчиненных людей, а эта задача выполняется с помощью исполнительных органов человека, принимающего решение, то есть руками, языком, возможностями которых тоже ограничены.

Ученые, конструкторы и инженеры-эксплуатационники стали сетовать на то, что-де у человека «слишком мало рук, слишком мало ног и всего одна голова».

Как же быть? Как ликвидировать это с каждым годом все более развивающееся несоответствие между возможностями современной техники и ограниченными возможностями и способностями человека, управляющего этой техникой?

Первый и весьма сенсационный выход из такого затруднительного положения подсказала кибернетика — наука об управлении и связях в живых организмах, машинах и обществе. Возникнув в конце сороковых годов, кибернетика начала свое победное шествие по научно-исследовательским лабораториям всех наиболее развитых стран мира. Теоретические и практические результаты ее исследований очень быстро стали внедряться в науку, технику, производство.

Именно эти высокoeffективные результаты позволяли некоторым кибернетикам высказывать и потом довольно долгое время отстаивать мысль о том, что возможно и необходимо создать машины для управления машинами и производственными процессами и полностью исключить человека из этих процессов. Появилось множество статей, монографий, научно-фантастических романов и кинофильмов, в которых на все лады и с самых различных позиций трактовалась проблема замены человека машинной в самых разнообразных областях человеческой деятельности.

Однако довольно скоро стало ясно, что, по крайней мере в течение ближайших пятидесяти лет, ста, а может быть, и гораздо большего числа лет, решить эту проблему не удастся. Исследования ученых и инженеров показали, что существует очень широкий класс научных, технических и практических задач, решение которых просто невозможно передать машине.

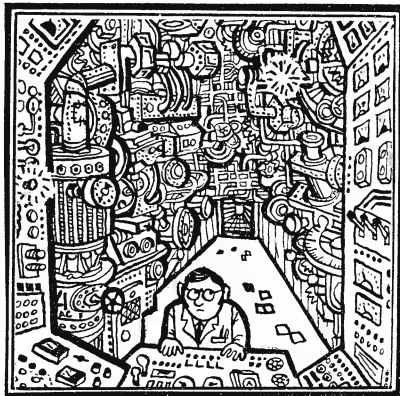
Ну, попробуйте, например, представить себе машину, собирающую грибы, когда порой и опытный грибник нет-нет да и прихватит «поганку»; или машину, оценивающую художественные произведения; или, например, машину, управляющую каким-либо городом или государством? Даже самые «ахилесы» писатели-фантасты не воображают такого. А в реальной жизни оказалось, что есть множество процессов, автоматизация управления которыми вообще не представляется возможной. Те замечательные «умные машины», которые уже сегодня обеспечивают автоматическое управление сложнейшими технологическими процессами на производстве, регулируют движение транспорта на улицах, делают переводы с одного языка на другой, ставят диагноз различных заболеваний и выполняют множество других весьма полезных и ранее свойственных только человеку функций, — эти машины, оказывается, требуют не только тщательного ухода, «человеческого» участия, но и участия в л е н и я с о т о р о н ы ч е л о в е к а!

Кибернетика, создавая свои технические средства, не только не решила проблемы «человек—машина», но еще более усложнила и расширила ее. Вместе с тем она поставила перед антропологическими науками¹ проблему более глубокого и всестороннего изучения человека как участника автоматизированных систем управления.

Эта проблема оказалась настолько сложной и многогранной, что потребовалось создание специальной

науки для ее успешного решения. Такой наукой явилась инженерная психология.

О некоторых проблемах этой науки, которыми я занимаюсь, мне хочется рассказать читателям «Юности».



Инженерная психология в современном ее понимании — это наука, изучающая процессы взаимодействия между человеком и техникой в системах «человек — машина» с целью повышения их эффективности. Она возникла лишь около двадцати лет назад и сегодня завоевала признание во многих странах мира — настолько велик оказался эффект от внедрения результатов ее исследований в практику. Достаточно сказать, что только в США, например, в каждой более или менее крупной фирме имеется по крайней мере одна лаборатория инженерной психологии, насчитывающая от 20 до 220 сотрудников. Инженерные психологи работают над созданием систем, в которых совместно функционируют и техника и человек. Чтобы эта работа оказалась успешной, исследователям необходимо решить две взаимосвязанные задачи: приспособить технику к человеку и человека — к технике. По этим-то двум направлениям и ведутся инженерно-психологические исследования.

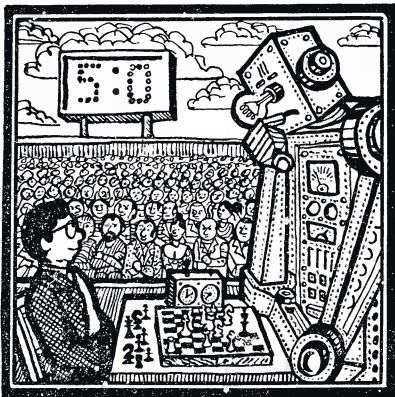
В первом случае важно учесть все возможные характеристики человека при проектировании, испытаниях и эксплуатации техники; во втором же случае надо разработать методы отбора людей для работы с конкретной техникой, продумать пути ускоренного обучения и тренировок таких людей, а затем провести самый отбор и соответствующее обучение и тренировки.

Ведь результат использования любой технической системы зависит не только от того, насколько хороша эта техника. Прекрасные машины и технические системы могут оказаться мертвыми грузами металла, если их не «оживит» эксплуатирующий их человек. А бывает и наоборот: исправная, казалась бы, техника вдруг выходит из строя или ее производительность падает, потому что обслуживающий эту

¹ То есть, перед всем комплексом наук, с различных сторон изучающих человека.

технику человек сам работает плохо, или, как говорят, неэффективно.

В инженерной психологии под эффективностью деятельности человека понимается его способность решать поставленную перед ним задачу.



дачу своевременно, безошибочно, надежно, с минимальными затратами сил, средств, энергии и материалов.

Эта эффективность зависит от многих факторов. Самой безукоризненно работающей техникой управляет человек — сложнейшее, размышляющее существо со своими желаниями, требованиями, взглядами, радостями и тревогами, со своими знаниями и со своей оценкой всего происходящего. Когда это существо взаимодействует с техникой, возникает великое множество обстоятельств, которые влияют на работу всей системы «человек — машина». Совокупность обстоятельств и причин, так или иначе связанных с наличием человека в этой системе и влияющих на ее эффективность, и называется **человеческим фактором**.

Стало быть, для повышения эффективности всей системы «человек — машина» в целом следует всесторонне, полно учитывать человеческий фактор. Учитывать при разработке, испытаниях, эксплуатации самой различной техники. Учитывать и при отборе, обучении и тренировке специалистов, эксплуатирующих эту технику.

И тут я слышу вполне правомерный вопрос читателей: а как же учитывать человеческий фактор? Ведь даже неспециалисту ясно, что возможности и способности у людей порой весьма сильно отличаются. Один обладает абсолютным музыкальным слухом, другому, как говорят, «с детства медведь на ухо наступил». Один отлично решает математические задачи, другой еще со школьной скамьи не в ладах с математикой и именно по этой причине после окончания школы поступает в гуманитарный вуз. Один долго раскачивается, другой энергично берется за любое дело, но быстро устает... Словом, возможности и способности людей весьма различны.

Как же выявлять их?

Как определять те физиологические и психологи-

ческие требования, которые нужно предъявлять человеку при отборе для выполнения той или иной работы?

Как осуществлять этот отбор?

Как затем наиболее эффективно обучать человека избранной специальности?

Какие требования, в свою очередь, выдвигает человек перед техникой?

Как наилучшим образом подгонять, приспосабливать технику к человеку с тем, чтобы ему было удобно работать, чтобы его возможности и способности использовались наилучшим образом и в полной мере?

Скажу прямо: ответы на эти вопросы непросты. Их изучение составляет важнейшую сторону инженерной психологии.

Проведенное кибернетиками еще несколько лет назад сравнительное изучение свойств человека и кибернетической машины показало, что весьма значительное число задач, успешно решаемых человеком, по крайней мере сегодня просто не под силу даже самым совершенным машинам. Мозг человека гораздо надежней любой машины: он более компактен и потребляет значительно меньше энергии.

Одно время среди кибернетиков пользовался успехом шуточный рассказ о том, как некий научный руководитель поставил перед своими сотрудниками задачу создать кибернетическую машину — надежную, компактную, самонастраивающуюся, способную решать широкий круг логических задач, потребляющую незначительную энергию, обладающую высоким коэффициентом полезного действия и так далее и тому подобное. Один из сотрудников заявил, что такая машина уже давно создана. На вопрос: «Что же это за машина?» — последовал лаконичный ответ: «Это человек!»

Шутка шуток, но, по каким бы характеристикам ни сравнивать способности и возможности человека и машины, ясно одно: какие-то задачи лучше решает машина, а какие-то — человек. А раз так, то было бы логично и правильно те задачи, которые лучше решает человек, возложить на человека, а те, которые лучше решает машина, возложить на машину. То есть произвести рациональное распределение обязанностей между человеком и машиной. Это, в свою очередь, позволило бы определять для каждого конкретного случая рациональный (оптимальный) уровень автоматизации, то есть ответить на вопрос, что и до какой степени нужно автоматизировать.

Если инженерная психология сможет найти ответы на вопросы, о которых я рассказываю, будет решена главная ее задача — как можно лучше «состыковать» человека с техникой. Иными словами, осуществить оптимальное взаимодействие между человеком и техникой в системе «человек — машина». А в основе такого взаимодействия лежит тщательный инженерно-психологический анализ и последующий синтез трудовой деятельности человека.

Спешу сразу же заверить читателей, что за этой на первый взгляд несколько наукообразной фразой кроются конкретные практические дела исследователей. Ведь в любом деле, прежде чем дать сколько-нибудь обоснованные, полезные, практические советы или рекомендации, необходимо тщательно изучить, проанализировать все то, относительно чего эти советы будут даваться. Ну, а каким образом надо анализировать? Оказывается, здесь тоже существуют определенные правила, без соблюдения которых вы будете похожи на ученика, страстно желающего решить арифметическую задачу, но никак не могущего по-

ставить вопросы, на которые он должен ответить, чтобы заоплаченная задача была решена.

Так вот, прежде всего надо определить, ради чего анализируется тот или иной процесс — в данном случае трудовая деятельность человека, то есть необходимо четко сформулировать задачу анализа. Затем исследователь репает, в какой логической и временной последовательности он будет проводить свою работу: что должно быть изучено в первую очередь, а что может немного и подождать — словом, составляется программа анализа. Далее, исследователь должен выбрать соответствующие приемы и методы изучения, а также необходимые приборы и аппаратуру, с помощью которых он сможет применить выбранные методики.

Вот теперь, «во всеоружии», исследователь, в том числе и инженерный психолог, может начинать анализировать любой из изучаемых им процессов, а в нашем примере — трудовую деятельность человека, иля, как говорят инженерные психологи, оператора.

А что же представляет собой синтез деятельности человека-оператора? Исходя из результатов проведенного анализа, здесь необходимо пройти ряд этапов.

Первым из них является профессиональный отбор. Некоторые читатели уже, наверное, сами прошли такой отбор.

Для чего же он нужен?

Попробуйте как-нибудь пройти в парке, где отдыхают бабушки-пенсииперки, и вы, наверно, услышите:

— Посмотрите на нашего сорванца: ведь никто его и не учил, а какие он приемники сам собирает!

— Да... а вот моя внучка словно родилась учительницей: ребята ее любят, все ее объяснения слушают с открытыми ртами, и все-то она так понятно объясняет.

Такие разговоры не редкость в каждой семье. Бывает, правда, и наоборот:

— Сколько тебя учить можно, все время руки как не свои?

А этот самый Петя или Васка с «не своими» руками в каком-нибудь другом деле может творить такие чудеса, что диву даешься — так и хочется воскликнуть: «А ведь рукою у него золотые!» Одна моя знакомая жаловалась на своего сынышка-классника, что кто ничего не хочет учить. И, уж совсем отчаявшись, говорила с досадой:

— Вот только лошади его интересуют и, представляете же, стоят как вкопанные, когда он с ними возится. Все время на это убивает!

Пример этот я привела, чтобы еще раз подчеркнуть старую истину: зачастую мы и сами не знаем, чем нам лучше заниматься.

Вот для того, чтобы не оправдывалось крыловское: «Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник», — и проводится профессиональный отбор. Этот отбор в инженерной психологии помогает найти людей, по своим психологическим, физиологическим и антропометрическим характеристикам наиболее приспособленных самой природой эксплуатировать ту или иную технику или репать другие производственные задачи. Для этих целей в инженерной психологии есть много специальных методик, которые и позволяют выявлять у человека наличие качеств, необходимых ему для решения поставленной перед ним задачи.

Профессиональный отбор проводится на основе определенных испытаний — тестов. Если этот отбор сделан правильно, люди, признанные годными к тому или иному виду трудовой деятельности, будут совершать меньше ошибок, чем те, кто попал на эту работу случайно. Да и после, в процессе обучения, а затем и работы процент отсева непригодных будет меньше. Мне незначит объяснить, почему это происходит. Каждый из нас на собственном опыте знает, что выполняется быстрее и качественнее то дело, которое получается, приносит удовлетворение, как говорят, спорится. А ведь это важнейшее условие высокой эффективности всякого труда. Это условие сохраняет силу в деятельности системы «человек — машина».

Достоинства профессионального отбора очевидны, но вряд ли многие знают, что он в то же время дает возможность оценить и работу конструкторов.

Дело в том, что если при проектировании техники конструкторы, не связав ее качеств, предусмотрели как можно больше элементов для упрощения и облегчения работы операторов, то и требования, которые эта техника предъявляет к операторам, не будут очень высокими и сложными. А это, в свою очередь, означает, что большее число людей сможет с нею работать.

После профессионального отбора надо обучить отобранных людей обращаться сверяемой им техникой.

Здесь, в зависимости от специфики их деятельности, инженерному психологу надо решить, какими методами и как обучить новичков, чтобы обучение было не только качественным, но и не слишком затратным. Ведь может получиться и так, что, скажем, за два года операторы отлично освоили технику, а научно-технический прогресс уже поставил на повестку дня вопрос о разработке и внедрении новой техники; следовательно, столь продолжительное обучение просто никому не годится. И поэтому задача профессионально-технического обучения волнует инженерных психологов, и они вносят свой вклад и в ее решение.

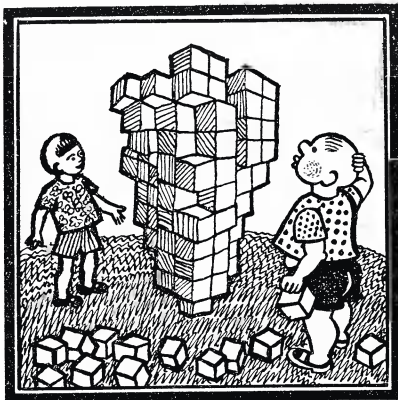
Однако знать хорошо свою специальность — это еще не означает хорошо использовать свои знания на практике. Помимо знаний, нужны еще и определенные практические навыки, опыт. А как понимать этот опыт?

Часто считают, что чем дольше проработал человек с какой-либо техникой, тем, следовательно, больше и его опыт в этой области. Это не совсем верно: ведь на самом-то деле опыт не только появляется с течением времени, но и в значительной мере зависит от тех конкретных ситуаций, в которых может оказываться человек в процессе работы с техникой.

Представьте себе, к примеру, такую картину. Два малыша в один и тот же промежуток времени строят пирамидку из кубиков. Но одному малышу никто и ничто не мешает складывать эту пирамидку, в то время как: пирамидку второго вдруг разрушил ветер. Этот второй тем не менее не унывает: он старается расположить свою пирамидку так, чтобы никакой ветер не смог ее разрушить. В следующий раз, когда этим малышам снова предложат построить пирамидку, второй из них сначала примет все необходимые меры предосторожности, а затем начнет работать, тем же как первый будет безмятежно повторять то, что делал в прошлый раз. Вне сомнений, у второго малыша опыт строительства пирамидок больше, чем у первого.

Это, конечно, очень упрощенный пример, но в основном он отражает сущность формирования опыта.

Вернемся теперь к человеку-оператору. Чтобы сформировать опыт оператора в обращении с техникой,



необходимо полнее учесть все возможные ситуации его деятельности и на основе этого создать такие методики, которые позволили бы как можно лучше осуществлять тренировку оператора, формировать его опыт.

Можно ли создать такие методики? Можно, и в настоящее время инженерные психологи с успехом создают их для самых различных специалистов.

Однако, как бы мы ни отбирали людей, как бы успешно ни обучали и тренировали их, все равно их возможности остаются ограниченными. А нельзя ли с помощью современной науки расширить эти возможности?

Инженерная психология занимается и такими исследованиями.

Так, например, известно, что через кожу информация поступает в мозг человека вдвое быстрее, чем через глаза или уши; более того: как показывают эксперименты, через кожу человек может воспринимать в два раза больше информации, чем через глаза и уши, вместе взятые. Инженерная психология разрабатывает пути и методы подачи информации оператору и через этот канал.

Известно также, что при использовании биотоков, продуцируемых организмом человека, можно управлять любой, сколь угодно сложной технической системой. При таком управлении на выполнение производственных операций человек практически не затрачивает физических усилий, и сами операции управления осуществляются в полтора раза быстрее, чем при обычном управлении.

Заключительным этапом синтеза деятельности операторов является формирование коллектива операторов. Эта задача больше принадлежит социальной психологии, но и инженерного психолога она волнует ничуть не меньше.

Инженерная психология за двадцать лет своего существования накопила уже довольно солидный опыт и располагает богатым арсеналом рекомендаций, позволяющих проектировать и создавать такие системы, в которых по сравнению с обычными авталанчними системами человеку удобнее работать; он значительно медленнее устает, делает меньше оши-

бок, быстрее находит и устраняет неисправности, с гораздо большим эффектом может проявить свои «чисто человеческие» возможности и способности. Важное обстоятельство: если «человеческий фактор» учитывается с самого начала разработки технического задания на систему, то в подавляющем большинстве случаев реализация рекомендаций инженерной психологии не приводит к сколь-либо существенным материальным затратам и к затяжке сроков проектирования системы в целом.

Кроме перечисленных выше задач, инженерная психология, изучая факторы, влияющие на эффективность деятельности человека, позволяет решать и проблему научной организации труда операторов.

Инженерная психология в последние годы все решительнее заявляет о себе, все настойчивее привлекает внимание многих ученых и, как всякая молодая область знаний, вызывает многочисленные жаркие споры по многим вопросам, начиная с самого названия «инженерная психология» и кончая предметом, методами исследований, законами и т. п., то есть всем тем, что позволяет любой области знаний выделиться в отдельную науку.

Таков приблизительно круг вопросов и задач, решаемых инженерной психологией. Перед ней еще много трудностей, много проблем, которые ждут своих исследователей.

Несомненно одно: инженерной психологии на современном этапе развития науки и техники принадлежит большая роль, и достижения этой сравнительно молодой отрасли знаний способствуют неуклонному научно-техническому прогрессу, строительству нашего светлого будущего.

Уже сегодня, а тем более в недалеком завтра число человеческих профессий, так или иначе связанных с инженерной психологией, с каждым днем растет и будет расти. Ибо чем больше технически оснащенный становится труд, чем с большим числом самых различных по своему назначению технических устройств соприкасается человек в своей практической деятельности, тем большее влияние на ее эффективность оказывают результаты исследований инженерной психологии.

Вот почему мне захотелось познакомить своих сверстников с этой интереснейшей наукой.

Пусть они знают, что такая наука существует и что для многих из них она может стать основным делом их жизни, работой, приносящей удовлетворение и радость.



Хочу стать артисткой!

В первом номере 1973 года мы хотим открыть новую рубрику, где будут печататься наиболее типичные письма из тех, что приходят в редакцию «Юности». Мы будем помещать в журнале и фрагменты факсимиле писем. Поэтому заранее оговариваемся: мы не несем ответственности за грамматические ошибки, за погрешности стиля. В конце концов дело здесь не столько в запятой, не поставленной в нужном месте, сколько в том, чтобы письмо было интересным, искренним и возбудило ваши отклики, дорогие читатели.

Эти отклики тоже будут печататься в журнале. Итак, сегодня мы предлагаем вашему вниманию первое письмо.

Оно очень типично. По подсчетам нашего отдела писем, из ста девушек, пишущих в редакцию, пять-шесть хотят стать учительницами литературы, семь-восемь — журналистками, одна-две — писательницами, археологами, летчицами, геологами, не меньше десятка — бортировщицами, очень немногие хотят быть врачами, три девушки мечтают стать «полярными радистками».

Все же остальные считают, что они рождены для сцены и экрана, хотят стать актрисами и только актрисами и твердо убеждены, что в этом их призвание. Давайте будем считать, что письмо Лики В. получила редакция «Юности», а лично вы, дорогой читатель.

Что бы вы ей ответили? Права ли она, считая, что талант — дело наследное? Если вы с этим согласны или не согласны, попробуйте доказать. Лике В. свою точку зрения. Лика В. ждет ответа!

Здравствуй, дорогая редакция! Вам пишет ученица 10-го класса. В этом году я кончаю школу.

Кем быть?

Этот вопрос решает каждый выпускник, в том числе и я. Как всегда, первые советы дают родственники. Один советует идти в медицинский, другой — в дипломатический, но, как часто бывает, мое желание не совпадает с их. Еще с шести лет я мечтала стать артисткой кино. Когда я была во втором классе, я часто просила маму позвонить в студию, чтобы узнать, не требуется ли им актер. Сейчас об этом, конечно, смешно вспоминать. Но вот я кончаю десятый класс и по-прежнему хочу пойти по пути киноартистов. Дома меня отговаривают, считают, быть артистом может талантливый человек. Конечно, с этим согласна. Но тут возникает другой вопрос. У нас в Советском Союзе сотни замечательных артистов, и неужели все они с малых лет были талантливыми? Неужели никто из них не стал хорошим артистом благодаря работе над собой? По-моему, если иметь небольшую склонность к искусству, ее можно довести до больших высот, если долго и усердно работать, иметь большое желание. Я считаю так, испытывая на своем опыте. В девятом классе я увлекалась волейболом. Посещала спортивную школу. Пошла заниматься я поздно, многие девочки занимались уже четвертый год, потому я играла хуже всех. Но не прошло и года, а я опередила всех подруг. Недавно участвовала в городских соревнованиях. Что это, талант? Нет. Это огромное желание и упорная работа. Порою после окончания тренировки я оставалась в зале одна. Занималась по пять, а то и шесть часов в день, и вот результат — третий взрослый разряд. Я это пишу к тому, что не обязательно родиться талантом; можно им стать. Может быть, я ошибаюсь. Вот я пишу вам, надеясь на ваш совет. Мне становится страшно при мысли, что меня могут не принять в институт. Я не представляю себя кем-нибудь другим, не артистом.

Вы извините, что я обращаюсь к вам, но больше мне не с кем посоветоваться. Я не решилась написать вам, но любовь к кино сильнее моей робости. Вы представляете, как для меня важен ваш ответ. И я буду надеяться увидеть его на страницах ближайшего номера. Извините за нетерпение.

С уважением к вам
Лика В.

г. Тбилиси.

Вы представляете как мне важно
ваш ответ! И я буду надеяться
увидеть его на страницах ближайшего номера.
Извините за нетерпение.
с уважением к Вам Лика В.
г. Тбилиси.

Р. С. Уже когда верстался номер, в редакцию поступил материал «А хотела стать востоковедом...» Мы прочитали его и решили, что судьба узбекской школьницы Дилорам Камбаровой добавит пищи для ваших размышлений над письмом Лики В.

Итак, повторяю еще раз, — ждем ваших писем.



Дилором Камбарова: «А хотела стать востоковедом...»

Как ты стала киноактрисой, Дилором, Диял Камбарова, школьница из Ташкента? Как тебя нашел режиссер Али Хамраев, почему именно тебя предпочел, перебрав чуть ли не всех молодых профессиональных узбекских актрис? Что это, случай, везение? Почему именно ты сыграла в картине «Без страха» маленькую Кумри, прямую, смелую, устремленную к одному — «быть свободной и равноправной», Кумри, которая первой в кишлаке сбросила паранджу и заплатила за это жизнью? А потом, в новой картине того же Хамраева, перевоплотилась в Айгул — натуру страстную, решительную, молодую женщину, которая, презрев все традиции Востока, сама приходит к любимому и говорит ему о своей любви! Как ты с такой неистовой страстью и нежностью произносишь: «Ведь у тебя нет жены. Я бесстыжая, я знаю, но мне все равно»? Ты, не испытывавшая еще взрослого чувства? Как же все это началось, как решилась твоя судьба, а, Диял?

— В прошлом году я поехала летом в пионерский лагерь, в горы. Первый раз поехала в лагерь. Что-то сначала не получалось с пугливой, я даже плакала. Ну, конечно, я и не могла предполагать, что там меня ждет. Однажды мы после ужина стояли на линейке, собирались на лагерьный костер. Девочки говорили, что приехало телевидение, будет наш костер

снимать. Нам надоело стоять, мы стали баловаться, смеяться. Смотрю — появляются двое знакомых мужчин. Разговаривают с нашей вожатой Светланой. Я даже подумала, что один — иностранец. Очень он был странно одет: белые джинсы, сомбреро, темные очки. Мы с ним встретились взглядами. Я чуть смутилась. Но тут же про это забыла. Как только они ушли.

— Это и был я,— говорит режиссер Али Хамраев. Сейчас он без очков, в обыкновенном костюме и даже без сомбреро.

— Да, это был Али Ирташалиевич. Но это я узнала только потом. Когда Светлана вызвала меня к себе. Я даже испугалась: что это я натворила? А оказалось, что со мной хотел познакомиться кинорежиссер. Он стал меня о разном расспрашивать — как я учусь, кто мои родители. А потом: не хочу ли я сниматься в кино?

— И что ты отвечала? — спрашиваю.

— Она сказала: «Не знаю», — отвечает за нее Али Хамраев.— А на мой вопрос: «Придешь завтра к нам на съемки?» — ответила: «Не знаю, если разрешит воспитательница».

— Да просто я не приняла это разговор всерьез. Но назавтра приехал ассистент режиссера и вместе с Ларисой Федоровной — это наша воспитательница — повез меня на съемки. Приехали мы в кишлак, и я очень удивилась: неужели у нас в Узбекистане еще есть такие старинные костюмы? Оказалось, это декорация.

— Али, что для тебя, режиссера, определило выбор? Почему ты остановился на Дияле?

— Как тебе объяснить? Когда я пришел в лагерь и взглянул на линейку, то сразу обратил внимание на Дияло. Мне показалось, что у нее есть свой образ, что ли. Необычная внешность. Рост. Пластика. Грация. Бросилась в глаза ее эмоциональность. Меня как ударило: вот она, Кумри. Она сможет играть. Хотя, должен тебе сказать, раньше я не такой видел свою героиню. Более кишлачной, неброской. И когда Дияла пришла на площадку, мне надо было быстро и точно определить: ошибся я или эта девочка — находка? Пришлось применить радикальный метод: оплустить. Я скомадовал: «Одень ее, быстро! Платье, паранджу, сапожки!» В трех словах рассказал ей о фильме, объяснил ее роль. «Диял,— сказал я ей,— а

сейчас представь себе самое страшное, что у тебя было в жизни, самое обидное! Ты должна заплакать, по-настоящему заплакать! Начали! Мотор!» И у Диля по щекам побежали слезы! Она зарыдала, и как!

— Что же ты вспоминала, Дияля?

— Как мы поссорились с братом.

— А что ты почувствовала, когда впервые встала перед камерой?

— Мне было очень страшно. Рядом ведь известные актеры! И я сказала себе: либо я сыграю хорошо, либо... такого случая больше не будет.

— Дияля ничего не боится. Это стало ясно, как только она встала перед камерой. Она мгновенно схватывает задачу, тотчас входит в образ, в предлагаемые обстоятельства. Она актриса первого дубля. Народный артист Хамза Умаров, ее партнер по «Седьмой пуле», он играет предводителя басмачей — курбаши Хайрулла, не переставал удивляться: «Как это у нее выходит? Только что дурачилась, команда — и она уже Айгуль! Я, опытный актер, собираюсь перед эпизодом полчаска, а эта девочка... Откуда это у нее?» А Чокморов, по фильму — начальник милиции Максумов, которого любит Айгуль, мне говорил: «Послушай, с ней страшно сниматься, она так ревет, когда на меня аркан набрасывают, что мне кажется, будто я и вправду сейчас погибну...»

— Откуда же это у тебя, Дияля? — спрашиваю.

— Не знаю. Мне кажется, что я — это не я, а Кумри. Или Айгуль. И я чувствую то, что чувствовали бы в это время они...

— Кого из киноактеров ты больше всех любишь?

— Чурсину и Алена Делона.

— Ну, а из тех, с кем тебе уже приходилось работать?

— Суйменкула Чокморова. Он очень хороший человек.

— Скажи, а какими тебе представлялись киноактеры раньше, до того, как сама попала в кино?

— Мне казалось, что они какие-то особенные люди. Неподхожие на других. Одеваются не как все, живут не как все. Легко и красиво. Много путешествуют, все их знают. У них слава.

— А теперь?

— Слава — это потом. А всегда — работа.

— Она может сниматься, — говорит Хамраев, — двадцать четыре часа в сутки, не есть, не пить, не спать. Даже когда Дияля не занята в эпизоде, она все равно на площадке. Наблюдает. А надо — будет мыть посуду, таскать вам с кухни картошку, делать все, что скажут.

— Так, Дияля?

— Да ничего особенного...

— Как ничего особенного?! Ты расскажи, как тебя били, когда это нужно было по ходу действия, как испуганный конь взносил тебя на вершину горы. Расскажи, как ты брала уроки верховой езды у чемпионки республики Славы Агамова — ты, которая раньше и подойти-то боялась к коню! Упас с Агара, ты вывихнула ногу и с большой ногой продолжала съемки. А эпизод, когда Хайрулла прыг на тебе платве и ты оказываешься полуобнаженной? По ходу действия это было необходимо. Главарь басмачей Хайрулла силой принуждает Айгуль бежать с ним за кордон. Он преполнен злости и ревности — только что Айгуль пыталась, угрожая ему револьвером, освободить командира Максумова, Хайрулла стремится унизить Айгуль. Дияля поначалу натренировалась сниматься в разодранном платве.

— Я стеснялась.

— И молодец, что стеснялась! — восклицает Хамраев. — А потом мы убрали всех лишних людей с площадки, прогнали любопытных мальчишек с крыш

кишлака, загордели Дило щитами, и она сделала три дубля. Отлично сделала.

— Дияля, вот ты сказала, что Чокморов тебе симпатичен, ну а если бы твоей героине пришлось по фильму влюбиться в актера, который тебе как человек был бы неприятен?

— Когда я перед камерой, я так вхожу в роль, что для меня все крупно становится настоящей жизнью, и актеры уже не актеры, а те, кого они изображают.

— Дияля так плотно входит в образ, что потом с трудом возвращается к действительности. Например, она долго лежала убитой в «Без страха» — у нее были связаны руки, она валялась на земле... Нам пришлось буквально «оживлять» ее...

— Мне было жутко, я подумала: а вдруг я и вправду умерла!..

— Пойми, — говорит мне Хамраев, — девочка, которая никогда не участвовала даже в самодеятельности, вдруг стала киноактрисой. За полчаса!

— Как, Дияля, ты даже в школьном драмкружке не играла?

— Нет.

— Чем же ты увлекалась до того дня, когда в наш пионерлагерь пришел человек в сомбреро?

— Я хотела стать востоковедом.

— А как относишься в школе к тому, что ты стала

играть в кино?

— По-разному. Многие радуются. Моя лучшая подруга, Таня Авраменко, ходила со мной во Дворец искусств, на премьеру. Но есть, правда, в классе одна девочка, которая раньше меня совсем не замечала (я же раньше ничем не выделялась), а теперь: «Дияля, Дияля...» А я не люблю актрис!

— Ну, а дома как относишься к твоей кинокарьере?

— Брат — он уже студент — не принимает всерьез. Бабушка — против, все время доказывает маме, что она должна мне запретить сниматься, что меня испортят в кино. Но это же чепуха! Мама приезжала в Акташ, в лагерь, когда я начинала сниматься в «Без страха», ей все показали, она удивлялась и радовалась за меня. Но все-таки ей не хочется, чтобы я стала взрослой актрисой.

— У Дили и мама и папа — врачи. И дедушка был очень известным в Маргилане, старом узбекском городе, народным лекарем. Даже лечил генерал-губернатора Туркестана Куропаткина. Так что медицина — у них семейная профессия.

— Нет, мама не говорит, чтобы я обязательно стала врачом. Но только не киноактрисой. А вот папа — он целиком на моей стороне.

— Главное пока для нас, — говорит Хамраев, — окончить школу. Дияля сейчас в девятом классе, ей еще почти два года учиться. Но, признаюсь, я собираюсь занять Дило и в следующей своей работе. Вместе с другим другом и постоянным сценаристом Одиляша Агиневым мы хотим сделать фильм «Я тебя не забыл», посвященный памяти моего отца, актера, погибшего на войне. Там будет прекрасная роль для Дили.

— Отрицательная? — вдруг спрашивает Дияля.

— Ей хочется сыграть отрицательную героиню. Перевоплотиться. Придется подумать и над такой ролью.

— Последний вопрос, Дияля: твое самое заветное желание?

— Она хотела бы сняться в одном фильме с Аленой Делоном, — смеется Хамраев.

— Я хочу, чтобы мне скорее исполнилось семнадцать лет, — тихо говорит Дияля.

— Но тебе еще нет шестнадцати?

— А на будущий год будет семнадцать.

Беседу вел Вл. ИШИМОВ.



Е. РУБИН

ИСТОРИЯ СО СЧАСТЛИВЫМ КОНЦОМ

Оправной точкой этих заметок послужила серия прошлогодних сентябрьских матчей между хоккеистами СССР и Канады.

Нап, да и вообще европейский любительский хоккей дебютировал во встречах с сильнейшими профессионалами. Игры эти дали обильную пищу для размышлений о настоящем и будущем хоккея — размышлений и радостных и не очень. Но для меня эти игры, помимо всего прочего, по-новому открыли и осветили людей, которых я знал долгие годы и за которыми всегда внимательно наблюдал.

Матчи с канадцами открыли всему спортивному миру хоккеиста Александра Якушева. Сегодня в Канаде это имя произносится так же уважительно, как, скажем, имя Фила Эспозито. Но эти матчи открыли Якушева и нам самим, хотя он вроде бы и трехкратный чемпион мира, и олимпийский чемпион, и заслуженный мастер спорта. Но мог ли кто-нибудь предсказать, что во всех четырех московских матчах канадское жюри назовет именно Якушева лучшим игроком? Или что именно он станет самым результативным из наших падающих? Это он, тот самый Якушев, главным пороком в игре которого всегда считалась «излишняя мягковатость», невзбавов к силовой борьбе, стремление уйти от столкновений — не-

достаток тех самых качеств, которые выше всего котируются у канадцев и в борьбе с канадцами? Тот самый Якушев, чье имя совсем недавно один наш весьма уважаемый знаток хоккея употребил в таком контексте: «Пит Махович и ростом и техникой напоминает нашего Сашу Якушева, но, конечно, классом Махович несравненно выше»!

Хоккей не бег, не плавание и не поднимание тяжестей, секундомер и весы не выявят в этой игре сильнейшего. Точные приборы здесь заменяет человеческий глаз, а личное впечатление всегда субъективно — у каждого знаменитого игрока есть свои сторонники и противники. Но призы за лучшую игру в четырех матчах подряд и самая высокая результативность среди всех участников встреч — критерий объективный.

В сентябре 1972 года Александр Якушев стал хоккеистом высшего мирового класса, встав в один ряд с Филом Эспозито, Бобби Орром, Валерием Харламовым. И факт этот — факт появления новой звезды — поражает потому, что в сентябре 1972 года Якушеву было почти 26 лет. Вспомните биографию всех наших выдающихся хоккеистов — от Александра и Старшинова до Харламова, Мальцева и Третьяка, и вы убедитесь, что случаи с Якушевым исключительный. (Я умышленно не упоминаю по-

коление Боброва и Сологубова: они пришли в хоккей взрослыми, сложившимися людьми.)

Между тем, как о звезде восходящей, о Якушеве я знаю уже лет десять. Помнится, я впервые услышал это имя из уст Александра Новокрещенова — того самого тренера, под руководством которого в 1962 году «Спартак» впервые стал чемпионом страны. Мы встретились тогда с Новокрещеновым на игре юношеских команд, и он показал мне на длиннющего парня, худого и бледного:

— Погляди за ним... Сашка Якушев... Талантище...

Он и в самом деле был сразу заметен на поле не только благодаря росту. Он и в переносном смысле был на голову выше всех. Он легко обводил своих маленьких партнеров (хоть был, кажется, самым младшим на площадке) и покрывал расстояние от ворот до ворот в несколько шагов.

Снова я увидел его через пару лет, в Риге, на юношеском первенстве СССР. Спартаковец привез туда Александр Маркович Ерусованский. На каком-то матче мы стояли рядом и любовались игрой Якушева — удивительно зрелой и мощной для 17-летнего мальчишки.

— Когда спартаковские мастера «аут» в Сергеев бор готовиться к матчам, — сказал мне



Александр Якушев в игре с канадцами.

Ерусалимский, — обязательно берут его с собой. Чтобы пообедать липкий раз. Парень по какой вымахал, а семья, знаете, малообеспеченная...

Дальше все произошло очень быстро. Якушева приняли в команду мастеров, вскоре он занял прочное место в основном составе «Спартака», в 20 лет участвовал в первенстве мира и возвратился в Москву с золотой медалью...

Но на том, первом для него чемпионате мира, в Вене, Якушев появился на площадке считанное число раз, а все решающие матчи провел на скамейке запасных. Я встретил его спустя несколько дней в Москве, в Шереметьевском аэропорту, когда сборная возвратилась из Вены. Он единственный в команде не улыбался, избегал фоторепортеров, старался спрятаться в задние ряды. Он был расстроен: его встречали, как героя, а он не чувствовал себя героем.

На следующий чемпионат, в Гренобль — а это был одновременно чемпионат мира, Европы и Олимпийские игры — Якушев не поехал. Его не взяли. За ним начала потихоньку утверждаться репутация: талантлив, но не хватает ха-

рактера, ищет «легкую» игру, побаивается «жестких» противников, избегает столкновений, слишком бережет себя. «А такие нам не нужны. Нам нужны бойцы и задницы. Но мы от тебя не отказываемся. Будем пробовать. Старайся, готовься, еще не все потеряно» — тогда было в моде такое мнение.

Он старался, готовился, его пробовали. И, отправляясь на очередное первенство мира, то и дело оставляли дома.

Знаете ли вы, что это значит — утвердиться в сборной команде страны по хоккею? Участник этой команды — почти наверняка и чемпион мира и олимпийский чемпион, и его всюду знают в лицо, и милиционеры на улице отдают ему честь, и почести сыплются на него, словно из рога изобилия... И как только он переступил порог этой команды, в сознании его уже роятся неясные мысли о «скрижалях истории» и «благородной памяти потомства». Был случай, что игрок, попав в сборную, раскрывался сразу, с первых матчей. Но это нетипично. Обычно даже у самых талантливых первые шаги были робки и сбивчивы. Обычно даже самым

талантливым надо было освоиться сначала в новом климате, чтобы проявить те возможности, которые отпущила им природа.

Да и вообще талант — понятие обширное. Это и умение самоутвердиться тоже. И далеко не всякий, наделенный пылкими достоинствами, обладает этим очень важным умением. Наверное, такому нужно помочь. Не для него только, но для пользы общего дела. Но как помочь? Тоже, вероятно, каждому по-своему. Думаю все же, что наиболее универсальное средство — доверие и терпение.

Якушева брала и пробоваали. И он всегда знал, что его берут для того, чтобы попробовать. Были хоккеисты — большинство, — которых повезут на первенство мира наверняка, а были — несколько — «на пробу», три-четыре на одно место. Первые могли в товарищеских матчах позволить себе сыграть плохо. Для других каждая ошибка, любой промах были чреваты крушением надежд. Нет, их не изгоняли совсем. Их отправляли в запас, с тем чтобы при случае попробовать еще разок.

Даже в шестидесят девятом году, когда Якушев забросил на

чемпионате СССР пятьдесят шайб, на чемпионат мира он попал запасным. Он выходил в форме сборной страны на очередную пробу, сковавшийся стрессом ошибиться. А если и не допускал очевидных ошибок, то, помня о них, двигался по полю, как по канату, играл строго, в лучшем случае на тронку.

А его сверстники и те, кто помоложе, спокойные и уверенные в себе, выглядели с смелыми, и азартными, к умеющим рисковать. И они уезжали в Гренобль, в Женеву, уезжали за славою и золотыми медалями, а Якушев оставался дома, надеясь на очередную пробу и в тайниках души потеряв веру в успех.

И постепенно он стал терять «свою игру» и дома. Исчезла была результативность. Публика начала забывать прежнего Якушева — солиста, умеющего и любящего взять игру на себя, совершить единоличнымходом по всему полю, обводя противников, моряя пространство от ворот до ворот своими сажеными шагами. Он привык думать не об игре, а о необходимости избежать ошибки, и старался играть попросту. И переставал быть самим собой. Проблемы внешней игры появились у него в прошлом сезоне, в Саншоро и Праге, а взрыв произошедший в Канаде и в Москве, во время сентябрьских матчей, когда мы увидели Якушева прежнего — вместе с тем преобразившего — сильного, уверенного в себе, отважного мужчину, тонкого, яркого, стремительного игрока. И мы знаем, почему наступило это преобразование. Так сложилась обстановка в нашей сборной команде, что Якушеву не надо было больше думать о месте в основном составе, можно было забыть о существовании скамьи запасных.

Однако не стеснил ли я краски, не усложнил ли искусственно ситуацию, связав это запоздалое возмужание хоккеиста с проблемой доверия к нему тренеров?

Но вот ведь какое совпадение: среди тех, кто лучше всех проявил себя в матчах с канадцами, кто — для многих — вдруг — раскрывшись полностью, сверкнув новыми гранями своего дарования, оказались еще два игрока — Юрий Ляпкин и Владимир Шадрин. Разные они люди, разная во многом у них спортивная судьба. Но есть одна родственная черта. Хоккеисты известные, подающие надежды. Давно, они тоже ходили до прошлого сезона в вечных запасных, их тоже постоянно испытывали в сборной, перед ними тоже

неизменно стоял этот вопрос: быть или не быть в сборной?

Пожалуй, Ляпкину — сверстнику Якушеву — пора уже было разувериться в себе окончательно. Его не взяли в сборную даже в сезоне 1970 года, когда на чемпионате страны он был самым результативным из защитников, не взяли, хотя именно в том сезоне всех особенно тревожила слабая результативность обороны сборной. Его взяли на чемпионат мира 1971 года, взяли опять-таки седьмым, запасным, защитником и поставили дважды — против самой слабой команды — против ФРГ. И обе раза он играл слабо. Диагноз был суровый: «Мягкий, медлительный, бесхарактерный, ненадежный защитник». Потом его еще привлекали к тренировкам сборной и к участию в нескольких турнирах, но скорее так, для формы и чтобы создать основному игроку видимость конкуренции.

А он и не мог хорошо сыграть в матчах с ФРГ, да и вообще на том первенстве мира. Он вырос из сложился как игрок в воспресекской команде «Химик», где у него были особые функции на площадке. Тренер «Химика», стремясь использовать природные качества Ляпкина — техничность, хороший бросок, склонность к импровизации, разрешил ему многое, в какой-то момент бросить свой пост на выманив на себя противника ложным движением, пройти самостоятельно к чужим воротам, прятаться в четвертого нападающего, обстрелять таким образом игру, посеять панику в рядах соперников. Это отход от канонов игры в обороне, и в этом всегда есть риск. Но именно в этом было особенно силе Ляпкина, в этом проявлялась его индивидуальность. И этим он приносил самую большую пользу «Химику».

Испытумый лишает себя права на ошибку — слишком опасны ее последствия, а значит, не рискует. В сборной Ляпкин должен был играть, «как все». И потерялся, стал незаметен. Распрекрасность и легкость, давшие его игру в составе «Химика» красивой и яркой, привлекавшие к нему внимание не только публики, но и тренеров сборной, уступили место скованности. В сборной он превратился в робкого, а следовательно, и заурядного хоккеиста.

Не стану напоминать, как сложилась судьба Шадрина. Скажу лишь, что в сборной он не появлялся, но исчезал в течение четырех лет, начиная с 1969 года, но и появлялся, до прошлого сезона прочного места в составе не имел.

А во время матчей с канадцами он уже был не просто в числе основных, но и знал: на него возлагается особая миссия, его считают одним из самых надежных. На поле он появлялся, пожалуй, чаще всех — и вместе со своими партнерами по тройке и почти всякий раз, когда сборной СССР предстояло играть в меньшинстве.

На матчах с канадцами мы увидели хитрого, неожиданныго, опасного Ляпкина, беззаветного, мужественного, несгибаемого Шадрина. И еще: все трое, включая и Якушева, играли весело, с азартом, издмались вверх клоуны при радостях, случали ими о лед при неудачах, обнимались и ликовали вместе со всеми и чувствовали себя в сборной, как дома, как в своей команде. Прежде я за ними ничего подобного не наблюдал: и в часы торжеств и при поражениях они всегда оставались в тени, словно стесняясь появиться на авансцене («Куда нам, статистам...»).

Думаю, что все три эти хоккеиста могли и должны были бы гораздо раньше сказать свое слово в нашем хоккее. Но их дебют как игроков мирового класса пусть с изрядным опозданием, все же состоялся. Они оказались как бы в роли героев спектакля со счастливой развязкой. И к этой счастливой развязке их привели тренеры сборной Всеволод Бобров и Борис Кузнецов. А были ведь в истории нашего хоккея мастера, так и не дождавшиеся этой счастливой развязки. Убежден, что такие игроки, как Игорь Чистовский и Вячеслав Жидков из горьковского «Торпедо», Валерий Фоменок и Валерий Кузьмин из «Спартак», Виктор Цылаков и Валентин Козин из «Локомотива», Анатолий Мотовилов из «Динамо» — да и не только они — могли бы стать вровень с самыми знаменитыми и почтаемыми у нас мастерами, получили бы полную меру почестей и награды, полностью обнаружили бы свой незаурядный талант, положили же без остатка на алтарь сборной, если бы в свое время по отношению к ним было проявлено достаточно доверия и терпения. Я все еще надеюсь, что не сказал своего последнего слова в большом хоккее и Александр Мартынов.

На те, сентябрьские, матчи приехало множество канадских журналистов. Они изрядно получили нас, советских своих коллег, требуя все снова и снова сведений о Валерии Харламове, Владимире Гретьке, Вячеславе Анисине. Они не устали удивляться:

«Неужели эти хоккеисты так молоды? Когда и как успели они возмужать и закалиться? Откуда это уверенное мастерство?»

Верно, можно позавидовать этим ребятам, их счастливой хоккейной судьбе. Так же, как и судьбе Владимира Лутченко, Александра Малцева, Геннадия Цыганкова. Что там говорить, каждый из них обязан прежде всего себе — своему таланту, своему характеру. Но ведь в них и поверили сразу. И простили им естественную робость первых шагов. И никто никогда не поставил под сомнение их талантливость.

Самый молодой из них по стажу игры в сборной Анисин. Да и лет ему немного — 21. Его возможности, его ампула, его «потолок» — все это вещи, далеко не очевидные. Очевидна лишь его яркая одаренность: он быстр, сообразителен, смел, умеет принимать неожиданные решения, имеет собственный почерк. И она, эта одаренность, послужила для него пропуском в сборную, пропуском не разовым, не временным, а постоянным. Он ничем не проявил себя на прошлогоднем чемпионате мира в Праге, но ему все равно доверили играть в большинстве матчей

с канадцами. И приятно было видеть, как от матча к матчу он играет все лучше.

Начинается новый хоккейный сезон, и в печати мелькают новые имена, набранные пока что самым мелким шрифтом: Капустин, Голиков, Никитушкин, Лобанов, Астафьев, Попов, Волченков... Придет ли к ним всеобщая известность? Дадут ли они хоккею все, что заложена в них природа? Прежде всего это зависит от них самих. Но и не от них только.

И в заключение — слово героя очерка.

Слово Александру ЯКУШЕВУ



— Доволен ли я жизнью? Считаю ли, что она удалась?

Никогда над этим не задумывался. Жизнь только начинается, все еще впереди: выбор профессии (я только недавно институт закончил), работа, я и женат только полтора года. Слово, даже для первых итогов пора еще не пришла...

А с другой стороны, уже четверть века прожил. Большинство людей к этому возрасту уже определяют в жизни, знают свое будущее, твердо стоят на ногах. У нас, спортсменов, все как бы сдвигается. Лет на десять. Все откладывается до тех пор, пока не уйдешь из спорта. Он поглощает слишком много сил, времени, мыслей. На другое почти ничего и не остается.

Но я не жалею, что потерял молодость спорту. Пусть мы отстали от сверстников в жизненном опы-

те: в какой-то мере спорт для нас вроде стеклянной колпака — об организации быта, о расписании жизни думаю за нас тренеры. Зато в других очень важных вещах спортсмен обгоняет остальных. В игре сразу проявляются сильные и слабые стороны твоего характера, в игре раскрываешься весь. И сам себя узнаешь, постигаешь, что ты за человек, на что способен. И закаляешься. Характер твердеет. У одних раньше, у других позже, но происходит это обязательно.

У меня, пожалуй, позже. До сих пор мне не хватало уверенности в себе, крепости духа. Я это чувствовал, меня это мучило, но поделать с собой ничего не мог. Потому и как игрок сформировался с опозданием. Потому так долго ходил в подающих надежды. Многие думали уже, что никогда эти надежды и не оправдаю: так, мол, пустоцвет.

Теперь меня все больше хвалят. Пишут обо мне много, фотографии свои вижу в газетах, даже иностранных. Это приятно. И слава, конечно, греет. Но главное — что выработал, значит, характер. Сумел.

Я давно подумывал о том, чтобы после института попробовать поступить в аспирантуру по своей специальности — я инженер окончил. Но все сомневался: справлюсь ли? Теперь верю, что осилю. Сумел же преодолеть себя в хоккее, значит, на что-то способен.

Слово Владимиру ШАДРИНУ



— Если говорить открыто, я не люблю, когда мое имя появляется в печати. Не люблю давать интервью, не люблю, когда обо мне пишут, пусть даже хвалят.

Почему — так сразу и не объяснишь. Вроде, всегда и все правильно, все о тебе. Но читаешь и испытываешь неловкость: все обязательно чуть-чуть приподнято и чуть-чуть раздушено в розовые тона.

И я сам внутренне розовею от этих похвал и от того, каким я выгляжу хорошим, и как мне все просто дается, и как у меня все в жизни правильно.

Впервые обо мне написали как о хоккеисте — молодом и подающем надежды — и тут же присвоили, что вот-де успеваешь и играешь, даже в «Спартаке» принят, и одновременно специальную математическую школу с медалью окончили, что теперь открыт ему путь и в спорт и

в физику. А я в МФФИ и документы подавать не стал, хотя очень в этот институт стремился. Понял: не хватит у меня сил тянуть две такие ляжки. Пошел в Педагогический имени Губкина. Как-никак немного полегло.

Оставал брал академические отпуски, но кое-как, с грехом пополам, до четвертого курса добрался. А недавно чуть не бросил. Совсем уже собрался взять документы и отгнети их в Инфизкульт. Еще отговорили. Да и то не уверен, что окончательно. Жизнь у нас трудная, и чем старше становишься, тем все труднее. Старые заботы не уходят: разведки, соревнования, учеба, вся эта суматошная и напряженная жизнь остается — семья, дети. Это и радость и обязанность. Все требует времени.

И в спорте все дается трудно. Каждый шаг, каждая ступенька. Идешь оперед — сразу останавливается. И не знаешь, почему. И думаешь, как быть дальше.

Когда-то хоккей закончился. Тогда выбор отказывать будет уже нельзя. Кем я стану? Инженером или тренером? Эта мысль тоже не дает покоя. Не мальчишка ведь уже — 24 года...

Слово Юрию Ляпкину



— Далеких планов на будущее я не строю. Пока обдумать хотелось бы как можно дальше играть в

хоккей. Надеюсь, что так оно и будет. Я ведь не из ранних. Я и в команду мастеров поздно попал — в двадцать лет. Так что еще не скоро наиграюсь.

Вся моя личная жизнь — это семья и хоккей. Когда надоело уезжать из дому, рвануть куда-то к жене, к детям, в Балашиху. Я и сам из Балашихи, и жена моя там выросла, и живем мы там до сих пор. А вернулся из очередной поездки, отдохну, так сказать, у домашнего очага — и снова тянет в команду, к ребятам, к конькам и клюшке.

В общем-то других увлечений, кроме хоккея, у меня нет. Учусь, конечно, читаю пожеланию, в кино и театр ходим — правда, редко... Словом, как все.

Думаю, что хоккей мне никогда не надоест. Закончу играть, попробую тренировать мальчишек. Дома, в Балашихе. Надеюсь, получится. Я детей люблю. Жаль, не сумею дочь свою, Прочку, тренировать — девочки в хоккей не играют...

Слово Вячеславу Анисину



— Я сам этого уж и не помню, но мать говорит, что, когда совсем маленький был, засыпал, обнявшись с клюшкой. Наверно, так и было. У меня и отец — бывший хоккеист. Играл в хоккей с мячом в ВВС. И мать — хоккейная болельщица, всю жизнь за ЦСКА болеет. Отец, понятно, тоже. Он подполковник, 34 года в армии.

Он и привел меня в ЦСКА. Правда, до этого я сам два раза туда ходил. Сперва принял, но я перервал одной тренировкой коньки забыл наточить, и меня отправили домой. Сказали, насосем. Другой раз, следующей осенью, опять пришел. Думаю, хоть на коньках покатаюсь. Не взяли. Мест, сказали, нет. И уж с третьего захода, когда с отцом пришел, взяли окончательно. Я уже большой тогда был — двенадцать лет.

С тех пор, кажется, не было дня без хоккея. Школа — хоккей. Коникульты — хоккей. Институт — хоккей... Да нет, тут, пожалуй, наоборот: хоккей — институт. Попал в команду мастеров, потом в сборную и в институте второй год на первом курсе сижу. Еще четыре экзамена за первый курс осталось сдать.

Вот так, полжизни прошло в ЦСКА и болел всегда за них, а играл в другой команде — «Крылья Советов». Ничего не попишешь теперь, так получилось. Да я и не жалую. В ЦСКА, может, еще на скамейке запасных бы сидел: там один корифей, а здесь играю и в сборную попал. Я потому и ушел из ЦСКА — играть очень хотелось. Не могу на скамейке сидеть, терпения не хватает.

А почему в «Крылья Советов» пошел? Вообще-то меня в «Спартак» приглашали, когда Борис Майоров там старшим тренером был. Я согласился. Прихожу в «Спартак», а мне говорят: «С сегодняшнего дня Майоров не работает». Ну, я и ушел. И сразу — в «Крылья Советов». Там мои друзья — Саша Водунов и Юра Лебедев, — с которыми в ЦСКА в одной тройке в молодежной команде играли.

Теперь для меня хоккей, видно, на всю жизнь. Пока не тужу. Игроки постарше говорят, что иногда надоест играть, хочется бросить все, забыть про коньки и шайбу. У этого пока не испытал. Для меня это — самое интересное занятие. Пока. А там видно будет.

СЛАВИК ТАКОЙ ЗАСТЕНЧИВЫЙ...



Мастер спорта **ЮРИЙ ЛЕМЕШЕВ** рассказывает о своем брате — олимпийском чемпионе:

— В семье у нас, значит, так получилось. Когда Славик в шестом или в седьмом классе учился, он мне говорит: «Я ужасно хочу заниматься боксом». И у нас дома зашел такой разговор с мамой. Она говорит: «У меня три сына. Один умный, а два боксера...» Это она, значит, имела в виду меня и Женю, старшего брата. Короче, не разрешила Славке. А он мне ночью шепотом: «Юра, ну уговори мать. Ну, чего ей стоит?.. Пусть она мне разрешит...» Да. Не любили мать с отцом бокс. Не любили до финального боя Славы с финном в Мюнхене. На Олимпиаде... Отец уже после, когда посмотрел бой по телевизору и Славик приехал домой с «золотом», сказал ему: «Знаешь, ты очень, очень мне понравился... Как спортсмен. Все дерутся, машутся, а ты, скажу откры-

венно, — тюк! — культурно, интеллигентно. Пришел, увидел, победил. Руку тебе поднял...»

А тогда поговорил я с мамой о Славике, и мама поставила условие: «Поступишь в МИИТ — Слава будет заниматься боксом. А не поступишь — никакого разговора...» Ну, я, конечно, старался и за себя, ужасно хотел поступить в институт и, второе, конечно, хотел Славке пробить дорогу...

Я поступил в институт. Приезжаю в деревню. У нас в деревне Парыкино, Егорьевского района, сто двадцать шесть километров от Москвы, есть дом, сад, ну вроде дачи... Хорошо там: рыбалка, охота, свежий воздух... Да. А перед этим ну, как в деревню приехать, я уже себе портфель студенческий ку-

На снимке: Вячеслав Лемешев в финальном олимпийском бою с финном Виртаненом.

пил. Как-никак в МИИТ прошел!.. В общем, иду это я с портфелем по деревне, а отец уже издаleка сообразил, в чем дело, стоит и руки греет, поджидает. А я первое слово: «Мам, видишь? — и на портфель показываю. — Поступил, мам... Славка будет боксом заниматься!» Мама так посмотрела на портфель и говорит грустно: «Черт с вами! Пусть и он занимается». «Ага», — думаю...

Привел я Славика к Льву Марковичу Сегаловичу в секцию. Он у нас тренер семейный, традиционный: Женю, старшего брата, до мастера спорта довел и меня мастером спорта сделал. И говорю ему: «Вот, у нас еще один в семье подоспел. Третий. Слав...» Сегалович погладел и говорит: «Ну, хорошо. Пусть ходит...» И Славик стал тренироваться...

Кстати, я фотографировал тогда. Увлекался. И у меня есть фотокарточка... Когда Славик только что пришел в зал бокса. Надел мои трусы. У меня были трусы с эмблемой сборной Москвы. И Славик в этих трусах проводил свой первый в жизни бой. А я фотографировал... И вышло так, что первый бой, который он выиграл, сму Лена Шейнкман руку поднимал, у меня... не получился... Не уалась съемка. Получилось как-то все сдвинуту, там ничего понять нельзя. Но зато после боя, когда Славик только сошел с ринга, я его щекал! И у нас дома есть эта фотокарточка. Славик стоит такой маленький, длинные ручки, в этих трусах моих до колен... Обсмейся можно на эту фотокарточку!.. Да. А есть фотография, когда Славик юниорское первенство Европы выиграл. Там у него лицо мужественное.

А вообще Славик такой скромный, застенчивый. Он бы вам сам и я-че-го не рассказал, Честное слово! Так что я за него лучше.

Знаете, в прошлом году он получил на Кубе приз лучшего боксера. Там он с Монтея встречался. На этот бой Славика вообще не хотели ставить. Мол, юный еще, а Монтея — джун!.. Но поставили его, думая, если чуть что — полотеде на ринг... Славик говорил потом, что, когда Монтея начал, он будто под такт попал... Как тот начал лупить... Но Славик немного освоился, врезал ему, того и унесли с ринга... Монтея этот с американцем Джонсоном в Мюнхене, на Олимпиаде, в четвертьфинале встречался. Джонсон его выбил, Славик рассказывал дома, что он больше всего боялся боя с Джонсоном.

Помните, Джонсон приезжал к нам в позапрошлом году? Ну, когда американские боксеры приезжали, Джонсон обыграл и Рискаева и Климанова, а в Ереване против него поставили Славика. Победил Джонсон. Хотя там мнения судей разошлись... Потом был банкет, и Джонсон на том банкете поступил не так, как на Олимпиаде в Мюнхене, когда он вышел получать бронзовую медаль. Помните? Джонсон стоял на третьей ступеньке, держа правую руку в кармане. Стоял вызывающе, некрассиво. Славик говорил: ему казалось, что Джонсон может ударить его... А в Ереване, на том банкете, Джонсон снял с себя медаль чемпиона Панамериканских игр и надел ее Славе. Она у нас дома висит. В семейной коллекции...

Так вот сейчас на Олимпиаде Славик больше всего боялся боя с Джонсоном. Я, говорит, бью его, а он не падает... Помню домашнюю, какая-то! А удары у Славы страшнейшие. Джонсон увал только от такого удара, от которого вообще невозможно устоять. Остальные удары, страшнейшие удары Славы, Джонсон держал — и все... Славик говорил еще, что боялся потом по глазам Джонсона, что тот боится его. Не было бояли на ринге Джонсона. Не было! Он теперь сам боялся Славу...

Ну, а в финале все было великолепно! Правда? И финиш... Как он вел себя после боя, а? Сам руку поднял Славе. Вот это спортсмен!

Слава мне говорила: «Жаако, конечно. Ужасно жалко мне было это финна в финале». Вот... Но вообще это надо понимать так. Первое чувство — это чувство победы. Ведь ты же победил. А второе чувство — жаако. Жаако видеть человека, который увал перед тобой, а ты ему даже помочь не можешь. Боксерские правила не разрешают. Ты должен в этот момент в прочтвоеожном угу быть... Я сам все это понял не сразу. Однажды у нас была матчевая встреча боксеров Москвы и РСФСР. И я свой первый бой выиграл нокаутом. Прибежал в раздевалку, еще мальчишка был, и радуюсь. А у нас был тяжеловес такой, Юра Рыгунов. Он говорит: «Чего ты радуешься? Человеку-то плохо...» И мне как-то стало стыдно и неудобно за эту свою телячью радость.

Помните фильм «Рокко и его братья»? Видели? Так там все братья были боксерами, а младший Рокко стал самым знаменитым, самым сильным. Может быть, и у нас так получится... Постепенно. Началось со старшего, с Жени. Он ведь был и чемпионом Москвы и чемпионом Московской области. Чемпионом Вооруженных Сил. Призером первенства страны. Потом я... У меня, конечно, такого успеха, как у Славы, не было. Хотя я тоже был чемпионом Москвы, тоже бывал призером первенства Союза... А вот Славик наш — да!.. У него это с детства. Славик еще в пеленках лежал, а Женя перед зеркалом кулаками размахивал, бой с тенью делал. Славик это видел, но не осознавал, конечно, что это такое. А где-то глубоко-глубоко у него все это откладывалось. Постепенно. У нас в семейном конвейере перерыва не было. Как непрерывное течение! Понимаете?... Старший брат, Женя, — агрессивный боксер был. Нокаутир! Половину боев заканчивал покаятам. Он страшно сильно бил... Я текнхяр был. А Слава накопала все это. И агрессивность Жени и мою технику. Воедино все это сани, суммировал и преподнес!..

И еще... Это очень-очень интересно. Знаете, ведь наш Женя, старший брат, был самым первым мастером спорта, которого воспитал Лев Маркович Сегалович. А вот первым, самым первым заслуженным мастером спорта у него, как у тренера, стал Славик.

Короткий комментарий заслуженного тренера РСФСР Л. М. СЕГАЛОВИЧА: — Это верно, что Слава выбрал в себя и агрессивность старшего брата и «хитрость» среднего. И стал по праву лучшим из Лемешевых.

И ум, и рост, и длина рук — у него все есть для классного боксера. Прежде он иногда «садил» на ноги и тем самым уменьшал свой рост. Но высокий боксер должен быть высоким и работать не в ближнем бою, а на дистанции. В Мюнхене Слава работал классно. Видели, как он держал своих противников на дистанции? Он все делал правильно: на восемьдесят процентов работал левой рукой, а завершающий удар — сильный и, главное, всегда неожиданный — наносил правой.

Славе сейчас только двадцать лет, и он еще долго будет на ринге. Он не любит получать удары и получает их в последнее время все реже. Я, безусловно, считаю, что он может повторить олимпийский рекорд Бориса Лагутина, а то и Ласло Паппа, который — помните? — побеждал на Олимпийских играх трижды.



АЛЕКСАНДР
РОШАЛЬ

ПУТЬ КАРПОВА

Чемпион мира по шахматам сегодня — Роберт Фишер, а целых четверть века до этого высший шахматный титул принадлежал только советским шахматистам. Что будет дальше? Называются имена ряда молодых зарубочных гроссмейстеров, много говорят о наших, прежде всего о Карпове. Мне же видится сначала еще один матч, где Фишеру будет противостоять гроссмейстер сремного поколения — возможно, опять Спасский или, скажем, Петросян. Мне возразят: не интересно — оба проиграли американцу, а дальше время и вовсе начнет работать на Фишера, который моложе и только входит в пору шахматного расцвета. Однако вспомните, например, соперничество Тала и Ботвинника. Рижанин громко было провозглашен гением (собрав при этом отнюдь не меньше голосов, нежели нынешний чемпион мира), но убедительно победил влотноду десядешего к 50-летию рубежу Ботвинника, но... еще более убедительно проиграл ему второй матч.

И все-таки любителям шахмат хочется заглянуть подальше, а что до тренеров, то им это жизненно необходимо. А потому ищутся новые и вспоминаются старые способы обнаружения выдающихся дарований, поскольку стало очевидным, что без редкостного таланта на большой шахматной высоте дышать становится все труднее.

Недавно был проведен первый Всесоюзный турнир дворцов пионеров — как серия конкурсивных сеансов с часами при участии выдающихся советских гроссмейстеров, в свое время получивших в этих дворцах путевки в большие шахматы. Свои команды возглавляли В. Смыслов, Б. Спасский, Т. Петросян, М. Тал, Д. Бронштейн и А. Карпов. Знаменитые капитаны дали на шести досках сеансы для каждой из пяти соперничавших с ними команд. Единичи и половинки, набранные ребятами, складывались с очками «ix» гроссмейстера, и сумма определяла место команды в турнире. Главный приз ЦК ВЛКСМ достался москвичам, за ними встали ленинградцы, рижане... В конкурсе капитанов лучшим оказался Тал.

В турнире участвовали лишь шесть команд. И кто скажет, на каком месте мог бы оказаться, например, Архангельский Дворец пионеров (капитан — гроссмейстер Р. Холмов, в составе — 15-летний чемпион города среди взрослых Саша Иванов) или Львовский Дворец пионеров во главе с гроссмейстером Л. Штейнмом? Ведь Львов за последнее время дал нам чемпиону страны среди женщин М. Шуль, перспективных молодых мастеров О. Романюшина, А. Беляяского, претендующего, кстати сказать, на участие в юношеском первенстве мира.

Героями турнира стали москвич Сережа Пеккер (3 очка в пяти встречах с гроссмейстерами), киевлянин Володя Соколов (у него приз «Комсомольской правды»), смелаякшис «заместитель Карпова по Челябинску» Сеня Двойрис, заманивший Спасского в хитроумнейшую ловушку... А бесспорно сильнейшим среди ребят 16-летия ленинградец Саша Коцев, самый молодой сейчас в стране мастер спорта, са-

грал менее ярко — сделал с гроссмейстерами лишь четыре ничьи при одном поражении. Однако незадолго до этого Саша победил кое-кого из гроссмейстеров: один на один в полуфинале первенства СССР и едва не стал финалистом главного турнира страны. Важнейшим итогом турнира мне представляется не выявление неведомых дарований — их уже открыли, раз ребята прибыли в Москву в составе делегаций крупнейших городов, — а в закреплении этих школьников за шахматами. Сама встреча за доской лицом к лицу с прославленными гроссмейстерами, пристальное внимание общественности, прессы рожают в ребятах здоровое спортивное честолюбие, желание быть шахматистами. Для нас важнее всего, куда пойдут эти ребята, какие дороги выберут они и приведут ли их эти дороги в большие шахматы.

Поговорите с юными шахматистами, и вы узнаете, что многих смущает тот путь, который избрал Фишер, чтобы стать чемпионом мира. Путь Фишера — самоотреченное покаяние шахматам, отказ от всех других интересов. Громадный талант и выдающиеся волевые качества сделали американца чемпионом. Но перед глазами и другие истории: например, ереванца Рафика Ваганяна, ставшего гроссмейстером в девятинадцать лет. Он все поставил на карту, его интересовало продолжение только вверх по шахматной лестнице, а сегодня он в туннеле, из которого мучительно ищет выхода. Пока же с каждым новым соревнованием играет все хуже и хуже...

Путь Фишера смутил моего ученика Сережу Макарычева, которому еще покойный гроссмейстер Симагин предсказал блестящее будущее. Один из наиболее юных мастеров успел уже стать студентом МГУ, увлекся учебой, «потерял» годы участия шахматами. Нет, я не осуждаю Сергея за «совместительство» с математическим уклоном, и все же болезненно жалко, что шахматы геряют его. Юному шахматисту, мечтающему достичь спортивных высот, но не желающему замкнуться только в шахматах, я рискну предложить путь Анатолия Карпова.

Человек соизмеримого с талевским дарования, Карпов в жизни и даже в подходе к игре — анти-Таль. Практичный и рассудительный, он всегда точно знает, чего хочет, не разрываясь на части и не сжигает себя на шахматном огне. Оставаясь одним из лучших студентов Ленинградского университета, человеком широких интересов, он все чаще побеждает в крупных соревнованиях. Главнее для него шахматы и еще раз шахматы. Талант его неоспорим: в 20 лет выдвинувшись в число лучших в мире может только крупное дарование. А характер! На Всемирной олимпиаде в Югославии на одном из собраний советской команды Карпов неожиданно для мастытских коллег выразил неудовольствие тем, что в сборной недостаточно тщательно анализируются отложенные партии. Бывалые гроссмейстеры переагналились: из молодых, мол, да ранний. Пусть-ка докажет, что умеет лучше. На крупнейшем международном турнире в американском городе Сан-Антонио Карпов, как и другие участники, выступал, естественно, без тренеров, обычно берущих на себя заметную долю труда по анализу неоконченных партий. Таких партий у Анатолия скапливалось немало. И кто же? Карпов поделал победу в турнире с Петросяном и Портишом.

Но, спрашивается, ждет ли Карпова в конце избранного им пути корона чемпионна мира? Я бы очень хотел, чтобы было так. Но если даже Карпов не будет самым первым на планете, его не постигнет трагедия. А что бы сталося с Фишером, не выиграв он эту корону?



ВСЕ НАЧАЛОСЬ С ЛОШАДИ



Только в цирке, где случаются всякие чудеса, могла случиться такая история. А все началось действительно с лошади.

Однажды знаменитый Карандаш приехал в Тимирязевскую академию, чтобы посмотреть на Лаптя. До цирка дошел слух, что в академии появилась очень смешная лошадь — непомерно длинная и раздутая как дирижабль. И вот три второкурницы, которые ухаживали за этой лошадью по имени Лапоть, ввели клоуна в конюшню.

— Прекрасный Лапоть, — высоким голосом сказал Карандаш. — Научите лошадь давать ногу и разным там пустякам и привозите ее в цирк. Мы придем машину.



В то утро, когда студентки привели Лаптя на Цветной бульвар, все, кто был в цирке, сбегались посмотреть на смешную лошадь. Лаптя вывели на манеж, Карандаш крикнул: «Будем репетировать», — и сразу ушел за кулисы. Он уже поняла свою ошибку, поняла, что эту лошадь вряд ли следует показывать в цирке: она будет вызывать скорее жалость, чем смех.

— Ма-аа, хотите посмотреть мою гардеробную? — сказала Карандаш студенткам, которые привели Лаптя.

— Конечно, — дружно ответили девочки.

Карандаш привела их в гардеробную № 10, где обычно гримируют клоуны, но вдруг вспомнила, что его ждут какие-то дела и, познакомив студенток со своим учеником Юрой, исчез.

Ученик Юра был молодым парнем, длинным и тощим. Он жутко застенчивая, оставшись в обществе трех молодых девушек, и вдруг неожиданно для самого себя стал рассказывать невероятную историю о дрессировщике, который безбоязненно клял голову в пасть старому льву, но однажды какой-то негодяй посылал голову дрессировщика табаком и в решающий момент лев мхнул, закрыв при этом пасть... Так же решительно Юра враг, что Карандаш — его ближайший друг и они работают с ним на равных... Провожая девушек, Юра пригласил их на представление.

Но на следующий день в проходной стояла только Таня. Юра обрадовался, что нужно проводить одну, а не троих, и потащил Таню через цирковой двор, в обход. Ведь в ту пору Юра еще никто не знал и он был невинноугодлив даже для циркового вахтера. Он посадил Таню рядом с проектором и убежал. В антракте он подошел к Тане переодетый — на нем были грязно-бурые плажак и мятые брюки.

— А что вы будете делать? — спросила Таня.

— Сейчас увидите, — ответила Юра и сел на приставный стул.

Началось второе отделение. Прошло несколько номеров, и на манеж вышел Карандаш. Когда он предложил желающим из публики прокатиться на дикой лошади, Юра встал и пошел по проходу ввин.

— Я хочу прокатиться! — закричал он.

Ему прицепили лонжу, и он стал безуспешно пытаться оседать строптивую лошадь. Публика хохотала, и Таня тоже было очень весело. После каждой попытки

«неудачливого зрителя» инспектор манежа останавливал лошадь, чтобы она не врезалась в лонжу, тянувшуюся за перелегившим через барьер Юрой. Но что-то вдруг произошло или инспектор заглядевшись, но только лошадь на всем скаку ударила по натянутой лонже передними ногами. Потеряв равновесие, Юра упал лошади под ноги. Запутавшись в лонже, он начал биться. Вскочив со своего места, Таня увидела, как Карандаш бросился под лошадь и отступил лонжу. Юра лежал на спине.

Таня побежала за кулисы, пыталась что-то выяснить, но ей лишь говорили: «Не мешай, девочка, не до тебя...» Она заплакала и пошла домой. Было обидно, что все получилось так по-дурацки. «Какой ни есть Лапоть», — думала Таня, — но если бы взяли Лаптя, он никогда бы не ударил Юру...»

Юра тем временем лежал в приземном покое.

— Кто же вас так? — спрашивал врач.

— Лошадь, — отвечал Юра.

— Так купите ей килограмм сахара, когда увидите: ударя она вас чуть повыше — и мы бы с вами ни беседовали, — мрачно заключил врач.

На следующий день Таня позвонила по телефону, который ей оставил Юра. Подошла Юрина мама Лидия Ивановна и, выяснив, кто говорит, сказала, что Юра у «Скандовского», и просила передать Тане, если она будет звонить, что очень хотел бы ее видеть.

И Таня пошла в тот день в больницу. Она стала ходить в больницу все чаще и чаще, и в Юриной палате, как только появлялась девушка в белой шапочке, больные уже говорили:

— Смотри-ка, Юра, опять твой профессор пришел.

На Новый год Таня принесла в больницу пакет с печеньем. Она сама сделала это печенье, а из остатка теста испекла здоровую булку. Когда Юра съел все печенье и увидел булку, он сказал своему соседу:

— Смотри-ка, моя-то мне булка на дно положила.

Ему почему-то было очень приятно, что на дне пакета оказалась булка.

В марте Юра выписался. Надо было ехать на гастроли в Баку, чтобы опять играть роль «неудачливого зрителя». Накануне отъезда он увиделся с Таней и сказал:

— Ты будешь сдавать сессию, а я уеду на три месяца. Если за это время ничего не изменится, приеду и поженимся.

Но не успел Юра появиться в

Бакинском цирке, как ему закричали:

— Никулин, получи телеграмму!

Надо сказать, что в цирке любую телеграмму распечатывают. И если в ней сообщается что-то трагическое, то ее дают артисту только после представления. В дирекции женщина протянула Юре телеграмму и посмотрела на него со скрытым неодобрением:

— Вот, пожалуйста...

Юра развернул телеграмму и прочитал: «Сдала дендрологию отлично Таня».

Юра возвратился в Москву. И вскоре на работе у Таниной мамы, Марии Петровны, раздался телефонный звонок.

— Ма, ты знаешь, откуда я говорю?

— Из ЗАГСа, — спокойно ответила Мария Петровна.

— А откуда ты знаешь? — разочарованно спросила Таня.

— Да так уж, знаю.

Вечером Юра пришел делать официальное предложение. Разговор проходил за чашкой чая в одном из арбатских переулков. Как тут выяснилось, прежде чем делать предложение, Юра советовался с контролером станции метро — «Кропоткинской». Проводил Таню, он возвращался домой. Было поздно, и на контроле стоял лишь один пожилой мужчина, с которым Юра встречался так часто, что стал доверяться.

— Ну что, жениться мне или нет? — спросила Юра без предисловий.

— Если любишь — женись, — ответил контролер и надорвал билет.

Прошло двадцать лет. Сейчас Никулины вместе гримируются в гардеробной № 10 после очередного спектакля. Они часто вспоминают клоунаду «Маленький Пьер», где Таня, Юра и Михаил Шуйдин впервые работали вместе. Юрий Никулин стал популярным артистом цирка и кино. За ним бегают дети и повторяют: «А нам все равно».

Лаптя вернули в Тимирязевскую академию, и вскоре у него родился сын — такой же растянувшийся дирижабль.

Нет только того контролера в метро. На его месте стоит автомат. Он мигает огоньками, сухо щекает, и с ним нельзя поговорить.



Л. КАРАХАН,
студент факультета
журналистики МГУ



Нина Б-на, г. Архангельск.

Уважаемая товарищ Галкина! На школьном балу мы решили выбрать «королеву красоты». Только решили выбирать ее не по внешним признакам, а совсем по другим. На наш взгляд, «королевой красоты» достойны стать только те, кто отлично учится, выполняет поручения, имеет отличные показатели в сборе металлолома и т. д. По этому вопросу у нас возник спор. Помогите его разрешить.

ОТВЕТ:

Уважаемый товарищ Б-на! В своем споре вы на правильном пути. Только ту, которую вы выберете, не стоит называть «королевой красоты». Назовите ее, например, «королевой отличной ученицы». Или «королевой поручений». Можно назвать «королевой металлолома» и т. д.

Людмила В-ва, г. Казань.
Уважаемая Галка Галкина!

1973 год для меня будет знаменательным. Я решила в этом году выйти замуж за парня, с которым училась в школе. Но люди говорят о неустойчивости браков между одноклассниками. Что по этому поводу думает наука?

ОТВЕТ:

Уважаемая Людмила В-ва!

Ты все перепутала. Не рекомендуются браки между теми, кто ходит в один детский сад. А одноклассники — пожалуйста!

Юра С-к, г. Севастополь.

Галкина!

Мой брат переписывается с любимой девушкой. Я тоже в нее влюбился и то же хочу с ней пере-

писываться.. Кстати, как в этом случае пишется «тоже»? Вместе или отдельно?

ОТВЕТ:

Чего ж тут думать? Вместе любите, вместе и пишете.

Лена П-на, г. Ворошиловград.

Миленка Галочка! Недавно я научилась плакать настоящими слезами по заказу. Как ты считаешь, примут меня в этом году в театральный?

ОТВЕТ:

Миленка Леночка! Если приемной комиссии удастся заставить тебя заплакать настоящими слезами, не расстраивайся: есть много интересных институтов, кроме театрального.

Николай С-н, г. Смоленск.
Дорогая Галка!

Я написал много древнерусских стихов, песен, былин. По-моему, получается неплохо. Но меня никто не печатает и не знает. Кто мне делать?

ОТВЕТ:

Слушай, Коля, может, ты и есть неизвестный автор «Слова о полку Игореве». А тебя-то все ищут!..

Олег Г-ов, г. Харьков.

Галочка! В новом году я кончу школу и мне придется выбрать профессию. Какую мне предпочесть выбрать, если мне не нравится никакая? Говорят, надо заниматься тем, что любишь, а я люблю только колбасу. Что ж, мне теперь в пищевой идти?..

ОТВЕТ:

Не обязательно. Если ты любишь докторскую колбасу, то можешь поступать и в медицинский.

И вновь я села за ответы на ваши письма. Не на все, конечно, а только на те, которые меня интересуют. Вы узнаете, что наш журнал получает тысячи писем. В большинстве своем это серьезные письма, на которые отвечают серьезные сотрудники редакции. Но часто приходится писать, которые просто невозможно читать без смеха... Тогда их передают мне, Галке Галкиной...

**Б. БРИКЕР,
А. ВИШНЕВСКИЙ**

Авторы — студенты
Черновицкого
университета. Им по 18 лет.

ДЕЛО ПРИНЦИПА

В кабинет директора входит молодой человек:
— Простите, вам требуются экономисты?
— Ваша фамилия? — спросил директор.
— Иванов.
— Иванов?
— Да.
— Извините, не можем вас принять.
— Почему? — с недоумением спрашивает молодой человек.
— Дело в том, что моя фамилия тоже Иванов.
— Ну и что?
— Как что! Пойдут разговоры... Семейственность мне припишут. Неужели вы не понимаете? Тут дело принципа.
— Но мы с вами не родственники!
— Этого никому не докажешь.
— Почему же не докажешь? У меня документы. Вот смотрите... Я из Тамбова. Мой отец Павел Иванович Иванов...
— Паулуша! Брат! — вскакивает вдруг директор. — Вот он где — в Тамбове! Почему не пишет, шельмец!
Молодой человек несколько теряется.



Рисунок О. КОКИНА.

— Я ничего не понимаю...
— Племянш! Дорогой! Поцелуй своего двоюродного дядю!
Родственники целуются. Директор утирает испрошенную слезу.
— А как насчет оформления? — робко спрашивает молодой человек.
— О чем разговор! Что я, родному племяннику не помогу?!
— Но ведь семейственность...
— Вздор! Кто узнает?.. А может, ты мой однофамилец!.. Ты лучше скажи, как там мамка поживает, Машуныкка наша?
— Мама ничего, здорова... Только ее не Маша зовут.
— То есть как не Маша?
— Она Татьяна Николаевна Иванова.
— Таня, значит. Не Маша... Директор одергивает на себе костюм. — Простите, молодой человек, произошла ошибка... Мы с вами просто однофамильцы.
— Так я могу идти в отдел кадров?
— Нет, — говорит директор, — однофамильяца я принять на работу не могу... Разговоры пойдут. Неужели вы не понимаете?..

г. Черновцы.

НЕВЕСТА

— Ты для меня выпрыгнешь с пятого этажа? — спросила меня невеста.
— Выпрыгну.
Поехал и выпрыгнул.
— А ковы на скаку остановишь? Поехал в деревню и остановил.
— А хулиганов в милицию доставишь?
Разыскал нескольких хулиганов. Доставил.
— Ну, теперь выйдешь за меня замуж? — спросила я.
— Нет, — вздохнула невеста, — больно уж ты услужливый. За Горохова выйду. Я для него с десятого этажа прыгала.

РАЗГОВОР

— Я хочу с вами в эту экспедицию поехать, — сказал мне приятель. — Поговори обо мне. Я поговорил.
А его все равно приняли.



НЕ ХУЖЕ, ЧЕМ У ДРУГИХ

— У Крыловых есть филский гарнитур, — завистливо сказала мне жена.
Я достал нам гарнитур.
— У Крыловых есть цветной телевизор.
Я купил нам телевизор.
— Крылова стала вдовой. Я умер.

ЕЩЕ ОДНА НЕВЕСТА

— Больно уж ты низенький, — сказала мне невеста. Я стал изо всех сил расти. Рос, рос, рос... А она пришла и сказала, что выходит замуж за другого... Кому я теперь такой дылда нужен?

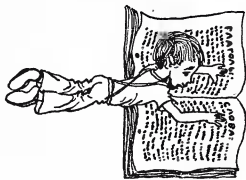
ДРУЗЬЯ

— Дай третку взаймы, — просил Глебов Огурцов.
«Сколькох друзей я стал получать, — закрутила Огурцов. — Они мне се не отдаст и перестанет со мной здороваться».
— Не дам, — решительно сказала Огурцов.
«Все равно бы он мне не поверил, если бы я сказал ему правду — что у меня нет трешки», — невесело подумал Огурцов.
Больше они не здоровались.

ЛЕВ КОРСУНСКИЙ

на КОСОЙ линейке

Рисунки Е. МУХАНОВОЙ.



(Из ребячьих писем
в Дом детской книги)

«Я эту книгу читала захватывающе».

«Из книги «Рыбы дорожки» я узнал очень много рыбных хитростей, которые буду применять летом в ка-
кикулы».

«Я бы сказала, что он неунывающий, любознательный образ».

«Из этой книги я узнал столько слов и разных глаго-
лов, что даже в голове не уместается».



«По сочинению я получила три, мне учитель сказал, что я не умею выражать мысли книг».

«Вы просили отгзы о книге, я вам его отгзываю».

«Моя любимая профессия — стать капитаном или летчи-
ком».

«Некоторые сценки из рас-
сказов мы готовим, красивые
слова учим наизусть, другие
будем пересказывать».



«Моему старшему коту
шесть лет. Он понимает, что
я ему говорю, и старается сам
объяснить что-нибудь мне».

«Эта книга находится в
среднем возрасте, а я еще в
младшем».

«Он шел, боря жажду и
зсерей, и он дошел».

«Дорогая редакция, у меня
есть к вам неперутомитель-
ная просьба».

«Прошу вас, перепишите
меня с девочкой».

«Их повести и сейчас не
сходят с рук читателей».

«Если у вас есть писатель
этой книжки, то пришлите
мне его».

«На этом я буду оканчивая
письмо. Извините за нехоро-
шее содержание».

«Простите за мой почерк и
грамотность».

«Мне всего лет 10—11».



«Ваша уважаемая покупа-
тельница Манана Шенгелия».

«Ваш будущий знакомый
Володя Семенов».

«Я написала все, что было
у меня на душе, а на душе
25 человек нашей группы».

«С приветом к вам Карпов
Виктор, мечтатель стать арти-
стом».

«Вы спрашиваете, как жи-
вет мой еж. Он живет плохо,
он умер».

Материал подготовила редактор
отдела писем Дома детской
книги

ТАТЬЯНА ЕФРЕМОВА

ЮРИЙ ЦИШЕВСКИЙ

КАМЕНЬ БУДОРАЖИТ ВООБРАЖЕНИЕ

О одном из старинных переулков Москвы шел молодой человек. Одной рукой он прижимал к себе маленького сынишку, а другой еле удерживал здоровенный гранитный камень. Поиски обломков гранита, вывороченных бульдозером из фундамента какого-нибудь обветшалого особняка, обреченного на спуск—далеко не праздное занятие Анатолия Чернова, выпускника скульптурного факультета Суриковского института. Они нужны ему как материал для будущих работ.

С юношеских лет Анатолий мечтал овладеть искусством ваятеля. Еще задолго до поступления в институт, работая на заводе «Криворожсталь», он все свободное время отдавал созданию скульптурной композиции фонтана в заводском парке. А став студентом, решил овладеть мастерством чеканки по металлу.

Чтобы научиться этому сложному искусству у настоящих мастеров, он ездил в Грузию и Армению (две его работы, выполненные в чеканке, были напечатаны в № 11 нашего журнала за прошлый год). Сокурсники Анатолия всегда поражались его трудолюбию. Рассказывают, что он редко расставался с молотком и до поздней ночи беспрерывно стучал по металлу или камню, уединившись где-нибудь в укромном месте. Чтобы никому не мешать, молодой скульптор уходил в лес и там наедине с природой создавал свои произведения.

Все свои работы, представленные «На стендах «Юности», Чернов создаст, еще будучи студентом.

В отдельных произведениях мы распознаем попытку воздать должное бессмертному творению Тутмоса — портрету прекраснейшей Нефертити; в скульптурных портретах, в их внешней трактовке узнаются приемы мастеров античного мира. Но мне кажется, что греха в этом нет, каждый начинающий скульптор, перед тем как выйти на самостоятельную дорогу, осваивает наследие прошлого.

Среди других композиции отметим скульптурную группу «Прощание». Две фигуры, мужская и женская, высеченные из белого мрамора, поставлены на фоне черного обугленного дерева. Эта группа — напоминание о суровых днях минувшей войны.

Талантливо выполнен и портрет Н. К. Крупской. Он сделан в гипсе и предназначен для последующей отливки в бронзе.

Записи в каталоге отзывов посетителей выставки свидетельствуют о том, что талант молодого скульптора волнует зрителя.



А. ЧЕРНОВ.

Вечность (гранит)

На обсуждение работ Чернова собрались его друзья, скульпторы старшего и младшего поколений. Некоторые выступавшие пожурили молодого коллегу за то, что наряду с отличными вещами из-под его резца иногда выходят легковесные работы, в которых отсутствует глубокое образное решение, указывая, что автор подчас сбивается на проторенные пути.

Мне кажется, что выставка и ее обсуждение принесли пользу Анатолию Чернову. Студенческие годы у него позади, а впереди—большая творческая жизнь. Сегодня его мечты еще скрыты в глыбах серого камня, сваленного в небольшом подвале со сводчатым потолком в тихом арбатском переулке, где помещается мастерская скульптора.

Пожелаем же нашему дебютанту дерзать, овладевать сокровенными тайнами гранита и мрамора.

В НОМЕРЕ

ПРОЗА

Евгений БОРИСОВ. Чудачка. Повесть . . . 5
Юрий ГЕЙКО. На колоде. Рассказ . . . 46
Вячеслав ШЕРШЕВ. Старый Баглей. Рассказ . . . 50

ПОЭЗИЯ

Игорь КУВШИНОВ. Две новеллы про детей . . . 57
Сергей ЛУЦКИЙ. Ясная жизнь. Новелла . . . 61
Валерий ГУРИНОВИЧ. «Моя трудовая карьера...» Баллада о снах. Тундра . . . 2
Виктор КОРКИЯ. Память. «Не будь словами поражен...». «Что случится и что не случится...» . . . 2
Сэм СИМКИН. Степь. Исцеление . . . 3
Василий РЫКОВ. Кузнецы. Высота . . . 4
Владимир ЕВПАТОВ. «Не суму — какие есть заслуги...» . . . 4
Гулухсор САФИЕВА. Не ошибусь. Перевел таджикского Ст. Куняев. Родина. Сестре Мастоне. Перевел Ал. Рохович . . . 44
Дим ДАМИНОВ. «К моей деревне ехать долго...». «Так, что это было?». «Увиди невидимой тропой...» . . . 45
Елена ТИХМЕНЕВА. «Мне бы очи синие...». «Была гроза...». «Понуро и зло безбрежность...» . . . 56
Маис ДАХИЕ. «Шумят ветра...». Дворцовая площадь. Вот так я сваривал металла. Памяти Нади Ручевой. В апреле . . . 59
Рина САНИНА. «Молчанье вечного огня...». «Горести мои переживая...» . . . 59
Владимир КОЧЕТОВ. «В лиловой осиновой чаще...». В подмосковной роще. «Охрани меня, улача...». «Люблю бродить...» . . . 60
Мглариса КЕРЕСЕЛИДЖЕ. «Здесь каной-то грузинского В. Соколов. Я родилась в июле. Снова онидание...» Перевела Е. Николаевская . . . 74
Геннадий ЛЫСЕНКО. «Листва осенняя редела». «Ночью филин глухо ухал». «Когда и я из детства выбыл». «Была распутица пора» . . . 75
Эдуард ПУЗЫРЕВ. Ярмарка . . . 76
Николай САВОСТИН. «Свет осени начальной над заливом...». Незвестные поэты. «Звезда упала в синие снега...» . . . 76
Николай ДМИТРИЕВ. «Схолодала, забелела...». Дед . . . 76
Вл. ВОРОНОВ. Таланту нужно сочувствие... . . . 65
Лев КАССИЛЬ. «Верю в силу книги» . . . 70
В. КУТЕЙНИКОВА. Трагедия восемнадцатилетних . . . 72
А. ТУРКОВ. Жизнь без заката. (К 150-летию со дня рождения Шандора Петёфи) . . . 73
Нина ИВАНОВА. Живая вода . . . 77
Алексей ФРОЛОВ. Мост будет . . . 82
Я — я — семья . . . 84
Лариса СИДОРЕНКО. Инженерная психология — что это такое? . . . 90
Лика В. Хочу стать артисткой . . . 93
Дилором КАМБАРОВА: «А хотела стать востоковедом...». Беседу вел Вл. Ишимов . . . 96
Е. РУБИН. История со счастливым концом . . . 98
Славян такой застенчивый... . . . 103
Александр РОШАЛЬ. Путь Карпова . . . 105
Л. КАРАХАН. Все началось с лошади . . . 106
Канов вопрос — таков ответ . . . 108
Б. БРИКЕР, А. ВИШНЕВСКИЙ. Дело принципа . . . 109
Лев КОРСУНХИН. Миниатюры . . . 109
Татьяна ЕФРЕМОВА. На косой линейке . . . 110
Юрий ЦИШЕВСКИЙ. Камень будоражит воображение . . . 111

Главный редактор
Б. Н. ПОЛЕВОЙ

Редакционная коллегия:

2 А. Г. АЛЕКСИН,
3 В. И. АМИЛИНСКИЙ,
4 В. И. ВОРОНОВ
(зам. главного редактора)
4 В. Н. ГОРЯЕВ,
44 А. Д. ДЕМЕНТЬЕВ
(зам. главного редактора),
45 Л. А. ЖЕЛЕЗНОВ
(отв. секретари),
56 К. Ш. КУЛИЕВ,
59 Г. А. МЕДЫНСКИЙ,
59 В. Ф. ОГНЕВ,
59 С. Н. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ,
60 М. П. ПРИЛЕЖАЕВА.

ДНЕВНИК КРИТИКА

ЧИТАЯ ЖУРНАЛЫ

ПУБЛИЦИСТИКА

НАУКА И ТЕХНИКА

ПИСЬМО ЯНВАРЯ

ДЕБЮТЫ

СПОРТ

ШАХМАТЫ ЗАМЕТКИ И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ ЗЕЛЕНый ПОРТФЕЛЬ

НА СТЕНДАХ «ЮНОСТИ»

75 Художественный редактор
Ю. А. Цишевский.

76 Технический редактор
Л. К. Зябкина.

70 На 1—4-й стр. обложки
рисунок Е. СОКОЛОВОЙ
и А. МАКСИМОВА.

77 Адрес редакции:
Москва, 103006
82 (Для телеграмм: Москва. 6).
84 Улица Горького, № 32/1.
90 Фупониси
не возвращаются.

96 Сдано в набор 4/XI—1972 г.
98 А 12470.
103 Подп. к печ. 19/XII—1972 г.
105 Формат 84×108¹/₁₆.
Объем 12,18 усл. печ. л.
17,62 учетно-изд. л.
Тираж 2 100 000 экз.
108 Изд. № 11. Заказ № 3740.
109 Ордена Ленина
и ордена Октябрьской
109 Революции
типография газеты «Правда»
имени В. И. Ленина.
110 125865, Москва, А-47, ГСП,
ул. «Правды», 24.



В. ПОПОВ.

Морозец (акварель).